

INSPIRIA

BALEHTAÏH

INVADET YJMOF

INSPIRIA

Annotation

Какова судьба женщин в мире, который принадлежит мужчинам? И насколько тяжело поднять голову и начать наконец бороться за справедливость? Об этом роман Элизабет Уэтмор «Валентайн» – роман невероятной силы, мощный и праведно яростный.

Америка, 70-е годы. Нефтяной бум пронесется по Техасу, подобно торнадо, обещая мужчинам невиданные доселе богатства. Женщинам он сулит лишь отупевших от неожиданной прибыли и беспробудного пьянства мужчин.

Утром после Дня святого Валентина четырнадцатилетняя Глория Рамирес появляется на пороге фермы Мэри Роз – избитая, напуганная, умоляющая о помощи. Весть о том, что ее изнасиловал белый нефтяник быстро разносится по маленькому городку, но мало кто верит словам Глории.

«Захватывающий дебют... "Валентайн" – это история о том, как женщины – особенно женщины без образования и денег – выживают в мире мужской жестокости. Это история их жизни в захолустном нефтяном городке в середине 1970-х, которую Уэтмор, кажется, знает настолько глубоко, что становится больно... Тщательно продуманный и эмоционально захватывающий роман». – Washington Post

«Памятник своего рода милосердию и истинной твердости духа». – Entertainment Weekly

«Яростный и сложный, "Валентайн" – это роман моральной актуальности и захватывающей дух прозы. Это само определение потрясающего дебюта». – Энн Патчетт

«Мне не верится, что Элизабет Уэтмор начинающая писательница. Как у нее получилось ворваться на сцену с такой мощью и мастерством? "Валентайн" блестящий, острый, напряженный и разрушительный. Уэтмор вырвала жестокий, грандиозный Западный Техас из рук мужчин и передала слово девочкам и женщинам, тем, кто всегда страдал, выживал и все равно оставлял свой след в этом враждебном мире. Эти невероятно живые и незабываемые женские персонажи навсегда останутся со мной». – Элизабет Гилберт

«Уэтмор вырвала жестокий, грандиозный антураж Техаса из рук мужчин и передала слово девочкам и женщинам, тем, кто всегда страдал, но выживал и все равно оставлял свой след в этом враждебном мире. Эти невероятно живые и незабываемые женские персонажи навсегда останутся со мной». – Элизабет Гилберт

- [Элизабет Уэтмор](#)

-
-
-
-
- [Глория](#)
- [Мэри Роз](#)
- [Корина](#)
- [Дебра Энн](#)
- [Джинни](#)
- [Мэри Роз](#)
- [Глори](#)
- [Сюзанна](#)
- [Корина](#)
- [Дебра Энн](#)
- [Мэри Роз](#)
- [Дебра Энн](#)
- [Корина](#)
- [Карла](#)
- [Глори](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

- [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
-

Элизабет Уэтмор

Валентайн

Elizabeth Wetmore

VALENTINE

Copyright © 2020 by Elizabeth Wetmore

Cover design © Jo Walker

Перевод с английского Виктора Голышева

© Голышев В., перевод на русский язык, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *



*Посвящение:
Хорхе*

*Я часто говорил: я пыль; или: я ветер.
И в молодости это принимал. Но все не так
на самом деле.
Я пыли вдоволь повидал, с ветром
не раз встречался
И понял, что я лишь легкий вдох,
необходимый,
Чтобы продержаться столько, сколько
требуется
сердечное желание,
И что даже это не удастся.*

Ларри Ливис

Глория

Занимается воскресное утро над нефтеносным участком, несколько минут до зари; отморозок крепко спит в своем пикапе. Плечами к двери водителя, сапоги – на приборной доске, ковбойская шляпа надвинута на нос, и девушке, сидящей снаружи на пыльной земле, виден только его белый подбородок. Конопатый, почти безволосый, он и в зрелые годы обойдется без ежедневного бритья, но она надеется, что он умрет молодым.

Глория Рамирес совсем неподвижна – месkitовая ветка, вросший в землю камень, – представляет себе, как он лежит ничком в пыли, губы и щеки ободраны песком, только кровь во рту облегчит ему жажду. Он дернулся, спиной проехался по двери, она, перестав дышать, смотрит, как он сжимает челюсти и вылезает желвак. Смотреть на него – пытка, и она опять желает ему смерти скорой и мучительной, одинокой, чтобы никто о нем не пожалел.

Небо на востоке стало фиолетовым, потом иссиня-черным, аспидным. Через несколько минут оно окрасится оранжевым и красным, и если поглядеть туда, Глория увидит землю, туго натянутую под небом, коричневая пристрочена к синему, как всегда. Это небо без конца, самое лучшее, что есть в западном Техасе, если вспомнишь поглядеть на него. Она будет скучать по нему, когда уедет. Потому что ей нельзя здесь оставаться – после этого.

Она не сводит глаз с пикапа, и её пальцы потихоньку зарываются в песок, считает: один, два, три, четыре – они пытаются удержать её от резких движений, пытаются её успокоить, удержать в живых еще на день. Потому что Глория Рамирес пусть и не много понимает этим утром пятнадцатого февраля 1976 года, но понимает вот что: если бы он не задрых до того, как протрезвел настолько, чтобы найти свой пистолет или взять её за горло, быть бы ей сейчас мертвой. Пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре... она выжидает и смотрит, слышит, как неизвестный зверек пробирается в кустах мескита, а солнце, поденная мелкая милостыня, выкатывается из-под края земли и, повиснув, жарит с востока.

Освещаются мили и мили качалок, мусор нефтяных промыслов, заборы из колючей проволоки, мескитные заросли, зайцы, бизонова трава. В кучах кальцита и штабелях старых труб лежат, свернувшись, полозья, мокасиновые и гремучие змеи, дышат медленно, ждут весны. Когда разгорелось утро, она видит дорогу и вдалеке – фермерский дом. Он может быть близко, пешком дойти, но определить трудно. Здесь миля может показаться десятью, десять – двадцатью, и она одно знает: это тело – вчера она сказала бы «мое» – сидит на куче песка на нефтеносном участке, так далеко от города, что не видно ни водонапорной башни с названием её города «Одесса» на баке, ни здания банка, ни градирен нефтехимического завода, где работает её мать. Скоро Альма придет с ночной работы – уборки в кабинетах и рабочих столовках. Когда войдет в их квартиру с одной спальней, пахнущую вчерашней маисовой кашей, свининой и сигаретами дяди, и увидит, что диван Глории так и застелен со вчерашнего дня, Альма может забеспокоиться или даже испугаться немного, но, главное, разозлится, что дочь опять где-то пропадает.

Глория окидывает взглядом поле качалок, громадных стальных кузнечиков, вечно голодных. Завез он её в Пенуэлл? В Ментон? В округ Лавинг? Потому что пермский бассейн занимает восемьдесят тысяч квадратных миль одного и того же, одного и того же, и она может быть где угодно, и единственное, что достоверно, это её жажда и боль, вздохи гада, который возится во сне, стискивая зубы, гудение и стуки качалки в нескольких десятках шагов от неё.

Куропатка объявляет о себе, её голос мягко раскупоривает утро. Глория снова смотрит на фермерский дом. Грунтовая дорога рассекает пустыню надвое, прямой линией тянется к веранде дома – так уже видится Глории. Может быть, дом близко, пешком дойти, может быть, дверь ей откроет женщина.

Он не шевелится, и когда пальцы вминают в песок последнее число – робкую тысячу, Глория поворачивает голову, медленно, налево и направо, понимает, что жива до сих пор благодаря еще и молчанию, и, не называя вслух, рассматривает части своего тела. Вот рука. Рука и ступня. Кости ступни прикреплены к пяточной кости, пяточная кость – к лодыжке. А там, на земле, ближе к деревянной буровой платформе, её сердце. Она поворачивает голову туда и сюда, осматривает тело, прикрывает его одеждой, рваной и раскиданной по земле, словно это

ненужный мусор, а не её любимая черная футболка, синие джинсы, подаренные матерью на Рождество, и парные лифчик с трусами, которые она украла в «Сирсе».

Знает, что не надо, но перед уходом все-таки оглядывается на скота. Из-под ковбойской фетровой шляпы выбиваются прядки светлых волос. Тощий и жилистый, он всего несколькими годами старше Глории, а ей осенью исполнится пятнадцать, если переживет этот день. Грудь его мерно поднимается и опускается, как у всякого, но в остальном он неподвижен. Еще спит – или притворяется.

Ум Глории запутывается в этой мысли, как лошадь – в незаметном мотке колючей проволоки. Она раскрывает рот, потом он сам захлопывается. Ей не хватает кислорода, дышит тяжело, как рыба, выдернутая из озера. Ей представляется, как её оторванные руки и ноги уносятся в пустыню и там их обглаживают койоты, перекликавшиеся всю ночь. Ей представляется, как эти кости выглажены, выбелены ветром – пустыня усеяна такими – лежат там, и хочется закричать, разинуть рот, завывать. Но она сглатывает, снова садится на песок и зажмуривается, чтобы не видеть скота и солнце, затопившее светом необъятное небо.

Нельзя паниковать. Ничего нет хуже паники, говорил её дядя. Когда он рассказывает о войне – а с тех пор, как вернулся в прошлом году, только о ней и рассказывает, и все рассказы начинаются одинаково. Знаешь, Глория, как называют солдата, который запаниковал? «Убит в бою» – вот как. И заканчивает все рассказы так же. Слышишь, военный человек никогда не паникует. И ты никогда не паникуй, Глория. Запаникуешь и – он делает из указательного пальца пистолет, приставляет к сердцу и нажимает на спуск – бах. А она если что и понимает этим утром, то одно: она не хочет умирать. Прижимает кулаки ко рту и велит себе встать. Постарайся без шума. Иди.

И тогда Глория Рамирес – теперь её имя годами будет витать, как рой ос, над головами местных девушек, – предостережением, чего нельзя делать, ни в коем случае нельзя, – Глория встает. Вспомнив о кедах, не идет ни за ними, ни за кроличьим жакетом, в котором была вчера вечером, когда на парковку в «Соник» въехал молодой человек – рука свесилась за окно, редкие веснушки и золотые волосы поблескивают под флуоресцентными лампами придорожного кафе.

Эй, ты, Валентинка. Слова прозвучали противно, с растяжкой – слышно было, что не местный, но и не из дальних краев. Язык у Глории сделался сухим, как палочка мела. Она стояла рядом с единственным столом, деревянным и шатким, среди легковых машин и грузовичков, и занималась тем, чем всегда занималась субботними вечерами. Болталась, пила лимонад, стреляла сигареты, ждала, когда что-нибудь произойдет, но ничего не происходило в этом зачуханном городке.

Он стоял близко, даже за ветровым стеклом видно было нефтяное пятно у него на лице. Щеки и шея обветренные, на пальцах черная грязь. На приборной доске карты и накладные, на крючке над сиденьем висела каска. В кузове валялись помятые банки из-под пива, монтировки, бутылки с водой. Картина как раз такая, насчет которой Глорию предостерегали всю жизнь. А сейчас он назвался – Дейл Стрикленд – и спрашивал, как её звать.

Не твое собачье дело, сказала она.

Слова выскочили необдуманно – выдадут в ней девчонку, а не суровую молодую женщину, какой ей хочется быть. Он высунулся из окна сильнее и смотрел на неё, как щенок – глаза воспаленные, в черных кругах. То голубые, то белесые, то сланцевые, смотря по тому, как падает свет. Цвет, как у стеклянного шарика, который упрямо хранишь, – или как у Мексиканского залива. Хотя ей не отличить Тихого океана от бизоньей лужи – вот в чем беда-то. Нигде она не была, не видела ничего, кроме этого города и здешних людей. А может, с него начнется что-то интересное. Если подружатся, может, отвезет её через несколько месяцев в Корпус-Кристи или в Галвестон, и она своими глазами увидит океан. И назвала ему свое имя. Глория.

Он засмеялся и прибавил громкость у радио – какое совпадение: радиостанция техникума передает Патти Смит, поет «Глорию». Слышишь? – он сказал. – И ты тут как тут. Это судьба, дорогая.

Это хрень, дорогой, сказала она. Они заводят эту пластинку каждые два часа с прошлой осени.

Она сама пела её несколько месяцев и ждала, когда начнут играть альбом «Horses», наслаждаясь припадками матери всякий раз, когда пела «Иисус умер за чьи-то грехи, не за мои». Когда Альма грозила потащить её на мессу, Глория смеялась. С двенадцати лет не была в церкви. Она сложила кулак, поднесла ко рту, как микрофон, и пела эту

строчку раз за разом, покуда Альма не захлопнула за собой дверь ванной.

В этот Валентинов вечер в «Сонике» было глухо, как в могиле. Никого и ничего – все та же тощая замотанная официантка, пришедшая прямо с дневной работы и старавшаяся не замечать парочку престарелых нарушителей, подливающих виски в бумажные стаканы с «Доктором Пеппером»; девица класса на два старше Глории сидела на табурете за стойкой, щелкала выключателем и повторяла заказы – слова её сжевывали громкоговорители; повар время от времени отходил от гриля, стоял снаружи и курил, глядя на машины, курсирующие по дороге. Высокая старая дама с широкими плечами вышла из туалета, захлопнула за собой дверь, вытерла ладони о штаны и зашагала к пикапу, где сидел мужчина еще старше её, тощий как жердь, лысый как яйцо, и наблюдал за Глорией.

Когда женщина села с ним рядом, он показал на девушку и что-то стал говорить – голова его чуть покачивалась взад-вперед. Женщина тоже кивала, но когда он высунулся в окно, она схватила его за локоть и помотала головой. Глория прислонилась к деревянному столу, засунула руки в карманы своего нового жакета и поглядывала то на старую чету, то на молодого человека, который вывесил руку за окно и постукивал пальцами по двери. Глория наблюдала за тем, как препираются старики в кабине, и когда они опять посмотрели на неё, она вынула руку из кармана. Медленно-медленно распрямила средний палец и показала им. Идите в жопу, сказала она беззвучно, вместе с вашим драндулетом.

Она снова окинула взглядом «Соник» и пожала плечами – терять нечего, что-нибудь, да обломится – и села к молодому человеку в машину. В кабине было тепло, как в кухне, и стоял слабый аммиачный запах моющего средства, которым пахли руки матери, когда она приходила с работы. Стрикленд прибавил громкость, толстопалой рукой открыл банку с пивом и отдал ей; другая рука лежала на баранке. Ты подумай, сказал он. Глория, по-моему, я люблю тебя. И захлопнул тяжелую дверь.

Когда она уходит от него, солнце висит над колесами пикапа. Она не оглядывается. Если он проснется и выстрелит в неё, она этого видеть не хочет. Пусть стреляет в спину, гад. Пусть узнают, что он трус. А сама она, Глория, больше никогда не будет зваться этим

именем, именем, которое он произносил снова и снова, все долгие часы, пока она лежала лицом в пыли. Он произносил её имя, и оно пролетало в ночном воздухе, как отравленный дротик, вонзалось, рвало тело. Глория. Издевательское, злое, гадючье. Но с ним покончено. Теперь она будет звать себя Глори. Разница маленькая, но сейчас представляется пропастью.

Глори идет по нефтеносному участку, мимо качалок и мескитных кустов, бредет, спотыкается, падает. Когда проползает через дыру в колючей проволоке и идет к брошенной буровой площадке, ей в лицо глядит корявая вывеска, предупреждающая о ядовитых газах и последствиях для нарушителя границы. **В ВАС БУДУТ СТРЕЛЯТЬ!** Когда случайный осколок стекла или игла кактуса прокалывает ступню, она смотрит, как собирается кровь на черствой непроницаемой земле, и жалеет, что это не вода. Завыл койот, откликнулся другой, и она озирается в поисках оружия – никакого нет, и она отламывает мескитную ветку. Удивляется собственной силе, удивляется тому, что еще идет, удивляется мучительной засухе во рту и горле и новой боли, которая началась покалыванием в грудной клетке, когда только встала. Теперь боль сползла в живот, стала горячей и острой – стальная труба, вставленная слишком близко к топке.

Она подходит к железнодорожному полотну и идет вдоль него. Споткнулась, схватилась за колючую проволоку и тяжело упала на камни, уложенные длинной цепью. Смотрит на мелкие камешки, влипшие в ладони. Под ногтями его кожа и кровь – напоминание, что дралась упорно. Но недостаточно упорно, думает она, и подбирает камешек и кладет под язык, как сделал бы дядя Виктор, если бы шел по пустыне и хотел пить и думал, далеко ли еще до дома. В конце кучи камней на стальном кресте табличка: «Братская могила». В нескольких шагах маленькая могила без надписи – ребенка или, может быть, собаки.

Глори встала и обернулась. Ферма к ней ближе, чем грузовик. Ветерок всколыхнул воздух – пальцем провели по траве, – и она впервые замечает, какое тихое это утро. Словно даже бизонова трава и мятлик, тонкие и гибкие, затаили дыхание. Ветерок легкий, почти неощутимый в этом краю ветродуев, и, конечно, не донесет до него её голос. Если она заговорит, он не услышит. Глори Рамирес поворачивается и смотрит туда, откуда шла. Впервые за много часов ей

хочется заговорить вслух. Ищет слова, но получается у неё только тихий крик. Звук возникает на мгновение, прокалывает тишину и глохнет.

Мэри Роз

Раньше я верила, что можно научиться быть милосердной, если постараться влезть в чужую шкуру, если потрудишься вообразить, что в душе и на уме, например, у вора или убийцы, или вот мужчины, который увёз четырнадцатилетнюю девочку на нефтяной участок и всю ночь насиловал. Я пробовала представить себе, что было на душе у Дейла Стрикленда.

Солнце уже взобралось высоко, когда он проснулся – член натружен, жажда смертельная, челюсти свело привычной амфетаминовой судорогой. Во рту такой вкус, как будто сосал бензин из канистры; на левом бедре синяк с кулак размером – наверное, спал, прижавшись к рычагу скоростей. Трудно сказать, но ясно одно. Чувство отвратительное. Как будто били по вискам сапогом. На лице кровь, на рубашке, на ботинке. Прижал пальцы к векам, к углам рта. Повернул ладони – нет ли порезов, – потом прижал к голове. Может быть, расстегнул молнию, осмотрел себя. Немного крови, но никаких ран не видно. Может быть, вылез из пикапа и постоял минуту, погрелся на незлом февральском солнце. Может, удивился теплу не по сезону, непривычному безветрию, как я сегодня утром, когда вышла на веранду, повернулась к солнцу и смотрела на шесть-семь грифов, собравшихся в медленный широкий круг. Труд сострадания означает – представить себе, как он ищет в кузове бутылку с водой, а потом стоит на нефтеносной земле, поворачивается на 360 градусов, медленно, как может, и пытается отдать себе отчет за последние четырнадцать часов. Может даже не вспомнит о девушке, пока не увидит её кеды возле колеса или жакет, валяющийся перед буровой платформой, – кроличий жакет чуть ниже талии, и на ярлычке синей ручкой: «Г. Рамирес». Хочу, чтобы он подумал: Что я натворил? Хочу, чтобы вспомнил. Может быть, он не сразу сообразил, что должен найти её, убедиться, что она цела, или убедиться, что между ними ясность насчет произошедшего. Может быть, он сел на задний борт, пил затхлую воду из фляги и старался припомнить черты её лица. Он пошаркал ногой по земле и пытался восстановить картину прошлой ночи, снова смотрел на её кеды и жакет, а потом перевел взгляд на буровые вышки, на

грунтовую дорогу, на рельсы, на шоссе с редкими по-воскресному машинами и дальше, если напрячь зрение, – на ферму. На мой дом. Может быть, подумал, что пешком до него не дойти – далеко. Но кто знает? Местные девушки крепкие, как гвозди – да еще если взбешена? Черт, она босиком может по углям пройти, если надумает. Он соскочил с кузова и заглянул в бутыль. Воды – чуть-чуть умыться. Нагнулся перед зеркалом заднего вида, пригладил волосы пятерней и составил план. Отлить, если получится, а потом поехать к ферме, поглядеть, что и как. Может, повезет, дом брошен, и новая подруга сидит на подгнившей веранде, мечтая о воде, как персиковое дерево в августе, и с ума сойдет от радости при виде него. Всё может быть, но милосердие – редкость в таких местах, как это. Я пожелала ему смерти еще до того, как увидела его лицо.

* * *

Когда меня вызовут свидетельницей, я сообщу, что первой увидела живьем Глорию Рамирес. Бедная девочка, скажу я им. Не знаю, как оправится ребенок от такого дела. Суд будет только в августе, но я скажу им в зале то же, что скажу моей дочери, когда подрастет и сможет понять.

Что зима была тяжелая для нашей семьи – еще до того февральского утра. Цена на скот падала с каждой минутой, и шесть месяцев не было дождя. Сами подкармливались кормовой кукурузой, а некоторые коровы искали солодковый корень, чтобы выкинуть теленка. Если бы не арендные деньги за нефтяной участок, нам, наверное, пришлось бы продать часть земли.

Что почти все дни муж ездил по ранчо с двумя помощниками, которые не ушли к нефтяникам ради денег. Сгружали силос с грузовика и воевали с личинками мясной мухи. Вытаскивали полудохлых коров, запутавшихся в колючей проволоке – животные глупые, что бы вам ни рассказывали, – и если спасти уже было нельзя, пускал им пулю между глаз, а остальное доделают стервятники.

Расскажу им, что Роберт работал целыми днями, каждый день, даже воскресеньями, потому что корова может умереть и в выходной так же просто, как в будни. В пятнадцать минут проглотит жаркое – ты

полдня его стряпала, а умнута за пять минут, – и только его и видели. Сложит вилку с ножом на тарелку, мне протянет – и к двери, и на ходу: нам нужна более выносливая порода коров. Нам нужны комолые херефорды или рыжие бранбусы. Да на что же их купить? скажет. Что делать будем?

Когда думаю про тот день и как увидела Глорию Рамирес у меня на веранде, воспоминания смётаны, как лоскуты одеяла, все разной формы и цвета, стянуты узкой черной лентой – и так, наверное, останутся навсегда. А в августе, в суде, скажу: сделала, что могла в тех обстоятельствах, но о том, как подвела её, умолчу.

Мне было двадцать шесть лет, беременная на восьмом месяце вторым ребенком, тяжелая, как «Бьюик». Со вторым толстеешь быстрее – так говорят женщины в моей семье, – и было мне одиноко, так что иногда позволяла Эйми пропустить школу под предлогом какой-нибудь выдуманной болезни – хоть живая душа будет в доме. За два дня до того позвонили секретарше школы мисс Юнис Ли.

Повесила трубку, и сразу же Эйми Джо стала изображать ворчливую мисс Ли. Говорят, что она прямой потомок, но я никогда не поверю. Скажу вам так: если это и правда, то красоту генерала она не унаследовала. Храни её Бог. Дочь моя скривила лицо и сделала вид, что подносит к уху трубку телефона. Спасибо, что сообщили, миссис Уайтхед, но мне не интересно, что там у Эйми Джо с желудком. Надеюсь, она скоро поправится. Желаю вам приятного Валентинова дня. Пока-пока. Эйми сделала ручкой, и мы обе чуть не упали от смеха. А потом принялись за булочки с маслом и сахаром.

Пустячный, кажется, эпизод: мы с Эйми стоим на кухне, ждем, когда поднимется тесто, целый день растянулся впереди, как домашний кот, и смеемся так, что чуть не описались. Но иногда думаю, что на смертном одре это наше утро пятницы будет одним из самых счастливых моих воспоминаний.

В воскресенье утром мы играли в джин рамми и слушали по радио церковные службы. Эйми проигрывала, и я старалась придумать, как сдать ей партию так, чтобы она не догадалась. Я ждала, когда она наберет четыре червы, а сама пасовала и делала ей намеки. Хочешь быть моей возлюбленной. Хочешь сердцем моим быть? – говорю. Ах, мое сердечко! Слышу, как оно бьется – раз, два, три, *четыре*, Эйми Джо. В ту пору я не считала, что ребенку полезно

частенько проигрывать в карты, особенно девочке. Теперь я думаю иначе.

Мы слушали проповедь пастора Роба о вреде десегрегации: все равно что запереть в сарае корову с пумой и опоссумом, а потом удивляться, что кто-то съеден.

Что это значит? – спросила меня дочь. Она вытащила карту из колоды, посмотрела на неё и выложила свои на стол. Я выиграла, сказала она.

Тебе про это, маленькая, не надо знать, сказала я. Ты должна сказать: *джин*. Дочери было девять лет – не намного меньше, чем незнакомой девочке, которая сейчас стояла перед тяжелой дверью, ждала, когда я ей открою, помогу.

Было одиннадцать часов – хорошо помню, потому что дьякон, такой из суровых, которые не признают никакого веселья, читал заключительную молитву. Думаю, ни один серьезный баптист не одобрил бы, что мы играем в карты, слушая церковную службу по радио, – но что было, то было. После одиннадцати нефтяные сводки, потом – с рынков скота. В тот месяц, если хочешь хороших новостей, слушаешь о новых буровых вышках. Если захотела сесть в мягкое кресло и вволю поплакать – слушай о рынке скота.

Девочка постучала в дверь – два коротких крепких стука, мы даже вздрогнули. Когда стукнула в третий раз, дверь задрожала. Дверь была новая, дубовая, мореная под красное дерево. Две недели назад Роберт заказал её из Лаббока после очередного нашего спора: переезжать ли нам в город. Старый спор. Он считал, что мы слишком далеко от города, тем более на подходе второй ребенок и начинается нефтяной бум. Здесь всё разворачивается, буровики разъезжают по нашей земле. Не место для женщин и девочек. Но спор сделался злым, наговорили друг другу всякого. С угрозами, я бы даже сказала.

Конечно, мне надоело смотреть, как носятся по нашей земле грузовики, надоела вонь – смесь тухлых яиц с бензином, надоело беспокоиться, что какой-нибудь раздолбай забудет закрыть за собой ворота, и какой-нибудь наш бык выйдет на шоссе, или «Тексако» будет сливать сточные воды в необлицованную яму, которую вырыли слишком близко к нашему колодцу. Но я люблю наш дом, его построил пятьдесят лет назад дед Роберта, понемногу возя известняк с холмов Хилл-Кантри. Люблю птиц, которые садятся здесь осенью по пути в

Мексику или Южную Америку и весной, на обратном пути. Если бы переехали в город, скучала бы по паре горлиц, которые гнездятся у нас под верандой, и по пустельгам, которые носятся в нескольких футах над землей, хлопая крыльями, и вдруг бросаются вниз, чтобы схватить змею; по небу, разгорающемуся буйно два раза в день. Скучала бы по тишине, по ночному небу, ничем не тревожимому, – только изредка красным или голубым заревом, когда вспыхивает попутный газ.

Нет, мой дом здесь, сказала я ему. Никуда я не поеду.

В какой-то момент я ударила Роберта в грудь, чего никогда не делала. Он не мог ответить, я была беременна, но заехать в дверь кулаком три-четыре раза – это за ним не стало. Теперь у меня новая входная дверь, а Эйми Джо, за то, что лежала в постели и слушала, как мы кричим друг на друга в кухне, получила новый велосипедик «Хаффи» с белой корзинкой и розовыми кистями на руле.

Мы услышали три громких стука, и Эйми сказала: кто это? После, когда подумала об этом, когда увидела, как избита Глория, удивлялась, откуда у неё силы взялись так постучать, что тяжелая дубовая дверь затряслась. Я встала из кресла. Гостей мы не ждали. Никто в такую даль не поедет без звонка – даже свидетели Иеговы или адвентисты. И не слышно было, чтобы подъехал грузовик или легковая. Я нагнулась и подняла бейсбольную биту – Эйми оставила её у моего кресла. Сиди тут, сказала ей, сейчас вернусь.

Открыла дверь, ветерок поднял мух с её волос, с лица, с ран на руках, на ступнях, и у меня подкатило к горлу. Господи боже, подумала я и посмотрела на нашу дорожку перед домом и дальше на подъездную дорогу. Никого, кроме шумной стаи канадских журавлей, зимовавших у нашей цистерны.

Глория Рамирес стояла у меня на веранде, качалась, как тощий пьяница, – вид такой, словно только что выползла из фильма ужасов. Под обоими глазами синяки, один совсем заплыл. Щеки, лоб, локти исцарапаны в кровь, все ноги в жутких ссадинах. Я покрепче сжала биту и крикнула дочке: Эйми Джо Уайтхед, беги в мою спальню, возьми из стенного шкафа Старую Даму и живо сюда. Правильно носи.

Слышно было, как она бежит по дому, и я ей крикнула, чтобы не бежала с винтовкой в руках. Когда она подошла, я стала между ней и этой чужой на веранде. Я протянула руку назад, чтобы взять у дочери

мой старый родной винчестер. Я назвала винтовку Старой Дамой – её мне подарила бабушка на пятинадцатилетие.

Что там, мама, гремучая змея? Койот?

Я сказала: тихо, беги на кухню, звони шерифу. Пусть пришлет «Скорую помощь». И вот что, Эйми, я сказала, не сводя глаз с этой девочки в дверях, к окнам не подходи – изобью до полусмерти.

Ни разу я не ударила дочь, ни разу. Меня били в детстве, и я поклялась, что своих детей никогда не ударю. Но в это утро я пообещала серьезно, и, думаю, Эйми поверила. Ни слова не говоря, повернулась и убежала на кухню.

Я опять посмотрела на девочку, потом окинула взглядом равнину. Она такая плоская, что подкрасться к тебе невозможно, такая плоская, что виден мужнин пикап у водяной цистерны – далеко, до него не докричишься. Едешь миля за милей, и ни поворота, ни взгорка, даже самого маленького. Я шагнула на веранду. Никого не видно, кто хотел бы причинить нам зло, но и никого, кто захотел бы нам помочь.

И тут, впервые с тех пор, как поселились на земле родителей Роберта, мне захотелось очутиться где-нибудь в другом месте. Десять лет я стереглась змей, песчаных бурь, смерчей. Когда койот задушил мою курицу и тащил по двору, я его застрелила. Когда пошла наливать ванночку для Эйми и увидела в ней скорпиона – наступила на него. Когда гремучая змея свернулась под бельевой веревкой или рядом с велосипедиком Эйми, я убила её мотыгой. Кажется, каждый день или стреляла в кого-то, или рубила на части, или сыпала яд в чью-то нору. И без конца избавлялась от трупов.

Представьте: стою на веранде, одной рукой придерживаю живот, другой опираюсь на Старую Даму, как на костыль, а сама пытаюсь вспомнить, чем завтракала, – чашка «Фолджерса»^[1], ломоть холодного бекона и украдкой сигарета, когда пошла в сарай собирать яйца. Живот, представьте, выворачивается наизнанку, когда наклоняюсь к чужой девочке на моей веранде, когда сглатываю соль изо рта, когда говорю: Ты откуда, детка? Из Одессы?

Представьте: она слышит название своего города, и какие-то чары спадают с неё. Трет глаза и морщится. Начинает говорить, слова шершавые, словно песок задувает в дверь.

Можно мне воды? Моя мама Альма Рамирес. Она работает в ночную, сейчас уже, наверное, дома.

Как тебя зовут?

Глори. Можно мне воды холодной?

Представьте: спрашивает, как будто о моей грядке с окрой, без интереса, и этот ужас, прячущийся за безразличием, вырвал что-то из меня, выпустил наружу. Через несколько лет, когда увижу, что дочь достаточно взрослая, расскажу ей, как у меня схватило живот внизу, стянуло холодом, словно там лед. В ушах загудело, ровно, тихо поначалу, потом всё громче, и вспомнились какие-то строчки стихов, которые читала в школе, зимой, перед тем как бросила учебу и вышла за Роберта, – «Жужжала муха надо мной... когда я умерла...»^[2] и эти несколько жалких судорожных, холодных секунд, пока он не толкнулся в животе, я думала, что теряю ребенка. В глазах помутилось, и вспомнился другой стих, случайный, ни с чем не связанный. Странно: вспоминать сейчас стихи, если ни разу в голове не мелькнули за все эти годы, с тех пор как стала взрослой женщиной, женой и матерью, – а тут вспомнилось: «Этот час, как свинец... Запомнит, кто переживет»^[3].

Я выпрямилась, помотала головой, словно это могло прояснить, что передо мной происходит, стереть это страшное явление ребенка и ужасы, которые она перенесла, словно я могла вернуться в комнату и сказать дочери, это просто ветер, детка. Не обращай внимания, сегодня он не по нашу голову. Хочешь еще партию в джин? Хочешь, научу тебя в техасский покер?

Но только оперлась тяжело на ружье, а другой рукой взялась за живот. И сказала ей: сейчас принесу тебе стакан воды, а потом позвоним твоей маме.

Девочка тихо переступила с ноги на ногу, вокруг лица и волос возник ореол из пыли. На несколько мгновений она сделалась пыльным облаком, песчаной бурей, просящей помощи, ветром, молящим о милости. Рука моя сама потянулась к ней, другая за спиной прислонила винтовку к косяку. Девочка сильно наклонилась вбок – тростинка на ветру – и, когда я повернулась обнять её, чтобы не упала с веранды или самой чтобы не упасть, – так никогда этого и не пойму, – она чуть кивнула. Пыль затянула небо за её головой.

Пикап свернул с большой дороги и ехал к нашему дому. Когда проезжал мимо нашего почтового ящика, вдруг резко свернул, как будто водитель отвлекся на перепела, перебежавшего дорогу. Машину

занесло к нашему баку, но он выровнялся и продолжал ехать. До него было чуть больше мили, ехал не торопясь, подымая за собой облако рыжей пыли. Кто бы он ни был, он ехал так, как будто точно знал, куда едет, и не торопился туда попасть.

* * *

Вот какие были мои ошибки. Когда увидела, что едет к нам грузовичок, я не позволила девочке обернуться, посмотреть назад, поэтому не могла спросить: Ты видела эту машину раньше? Это он?

Нет, я загнала её в дом, дала стакан ледяной воды. Сказала ей: пей медленно, а то вырвет. Девочка тихо повторяла: Хочу к маме. Хочу к маме. Хочу к маме. Эйми Джо вошла в кухню, услышала это, и глаза у неё сделались величиной с серебряный доллар.

Я съела пару соленых крекеров, выпила стакан воды, потом над кухонной раковиной стала мыть лицо, мыла, пока не включился насос и раковина не наполнилась запахом серы. Сидите тут, сказала им. Выйду на двор кое с чем разобраться. Вернусь – позвоним твоей маме.

У меня в животе болит, закричала девочка. Я хочу к маме. Во мне вдруг вспыхнула злость, желчью обожгло горло, и после мне было очень стыдно. Заткнись, я ей крикнула. Посадила обеих за кухонный стол и велела сидеть. Но так и не спросила у дочери, позвонила ли она шерифу. Вторая моя ошибка. А когда вышла на веранду, взяла винтовку, подошла с ней к краю и приготовилась встретить того, кто ехал, забыла проверить, заряжена ли. Третья моя ошибка.

Вот. Станьте-ка со мной на краю веранды. Посмотрите, как он въезжает не спеша ко мне во двор и останавливается прямо в десяти шагах от дома. Посмотрите, как он вылезает из кабины и с протяжным свистом оглядывает наш лысый участок. Хлопает дверью кабины, прислонился к капоту и озирается, как будто не прочь купить ранчо. Солнце облизывает его – освещает веснушки на руках, ветерок ерошит соломенные волосы. В утреннем свете он золотится, как топаз, но даже с моего места видны синяки у него на лице и руках и багровые кольца вокруг белесых голубых глаз. Ветерок пронесся по двору; он складывает руки на груди, пожимает плечами, смотрит по сторонам и

спокойно улыбается, словно денек выдался – лучше не придумаешь. Он не совсем еще взрослый мужчина – парень.

Доброе утро – смотрит на свои часы. – Да уж день, пожалуй.

Я стою, сжав цевье, словно это рука любимой старой подруги. Я не знаю его, но вижу, что молод, не может быть земельным инспектором – они иногда наезжают сюда, убедиться, что подъездную дорогу держим свободной и не замусоренной. И не изыскатель, что заезжают почесать языком, узнать, не собираемся ли продать землю. И для добровольного помощника шерифа молод – тут я вспоминаю, что не спросила Эйми, позвонила ли она шерифу.

С чем пожаловал? спрашиваю.

Вы, наверно, миссис Уайтхед. Симпатичное у вас ранчо.

Не жалуемся. Пыльное, как везде. Говорю ровным голосом, но думаю, откуда он знает мою фамилию.

Он хохотнул, глупо, нахально. Да, похоже, говорит. Но мне как раз на руку. Проще ставить вышку там, где у матушки природы чисто и сухо. Выпрямился, шагнул вперед, ладони поднял. Улыбка на лице застыла, как стрелка на кухонных весах.

Слушайте, у меня случилась неприятность нынче утром. Вы мне не поможете?

Он делает еще шаг, я смотрю на его ноги. Поднимаю глаза – он держит руки над головой. Ребенок сильно пинает меня под ребра, я кладу руку на живот, хочется сесть. Два дня назад я стреляла в койота, он бежал рысцой к курятнику. В последнюю секунду отвела взгляд от мушки и промахнулась, а тут Эйми закричала – скорпион – я поставила ружье и схватила лопату. И сейчас не могу вспомнить, перезарядила ружье или нет. Старая Дама – это винчестер 1873 года; бабушка считала, что это самое лучшее ружье в мире. Я глажу большим пальцем шейку ложа, как будто она может подсказать мне: да или нет.

Сынок, что тебе надо? спрашиваю парня – мужчиной его еще трудно назвать.

Он стоит на солнце смирно, но глаза прищурены. Мне очень хочется пить и хотел бы позвонить от вас...

Делает еще шаг к дому, но, увидев Старую Даму, застывает. Говорю себе, он не может знать, если не заряжена. Постукиваю дулом

по дощатому полу – раз, другой, третий, а он наклоняет голову, прислушивается.

Миссис Уайтхед, ваш муж дома?

Дома, конечно, дома, но сейчас спит.

Улыбка стала шире, чуть дружелюбнее. Скотовод – и спит среди дня?

Время – половина двенадцатого. Я смеюсь, от смеха горечь, как от можжевельной ягоды. Как же глупо он звучит! Какой одинокой выгляжу из-за него.

Он хохотнул тонким голосом, и от этого звука у меня подвело желудок. Засмеялся – словно в карты передернул.

Что, миссис Уайтхед – ваш муж вчера тоже принял лишнего?

Нет.

Заболел? Слишком много сладких валентинок съел?

Он не заболел – я прижимаю ладонь к животу и думаю, успокойся, маленький, тише. – Чем я могу вам помочь?

Я же сказал, у меня маленькая неприятность. Мы с подружкой приехали сюда вчера вечером, немного отпраздновать. Ну, знаете, как это бывает...

Понимаю, говорю я, а сама глажу себе живот.

...и выпили лишнего, и немного поругались. Может, ей не понравилась коробка конфет в виде сердца, мой подарок, а я, наверно, задрых...

Вот как.

...можно сказать, потерял подругу. Стыд какой, а?

Смотрю на него, слушаю, держусь за ружье, как утопающий за соломинку, а горло словно кто-то обхватил рукой и сжимает медленно, всё крепче. У него за спиной, на горизонте, чуть виднеется вишневая машина. До нее больше мили, и, кажется, она летит над пустыней. Пожалуйста, заверните ко мне, думаю я, когда она приближается к нашему повороту, и горло у меня слегка саднит. Машина будто помедлила перед поворотом – пятнышко на горизонте – и помчалась дальше.

Парень рассказывает свою сказочку, все еще улыбаясь, светлые волосы горят на солнце. Он стоит в пяти шагах от меня. Если есть патрон, я не промахнусь.

Утром проснулся, она уже куда-то слиняла. Боюсь, бродит по нефтяному участку, а сами понимаете – девушке там гулять ни к чему.

Я не говорю ни слова. Только слушаю. Слушаю и ничего не слышу, кроме его голоса.

Боюсь, не попала бы там в какую неприятность, говорит он, на гремучую змею наступит или плохого человека встретит. Вы мою Глорию не видели? Поднимает правую руку и показывает ладонью на уровне груди. Мексиканочку? Вот такого росточка?

У меня сжимается горло, но через силу сглатываю и смотрю ему прямо в глаза. Нет, не видела её. Может, кто-то подбросил её до города.

Можно зайти к вам, позвонить?

Я медленно качаю головой. Нет.

Он делает удивленный вид. А почему нет?

Потому что я тебя не знаю. Стараюсь сказать это так, чтобы звучало как правда. Потому что теперь знаю его – знаю, кто он и что он сделал.

Слушайте, миссис Уайтхед...

Откуда ты знаешь мою фамилию? Я уже почти кричу, придерживаю рукой ножку ребенка – он толкает меня под ребра.

Молодой человек удивляется. Да она же у вас на почтовом ящике. Слушайте, он говорит, я очень жалею, что так у нас получилось, и, правда, беспокоюсь за неё. Она немножко ненормальная – знаете, какие бывают мексиканские девушки. Он смотрит на меня пристально, голубые глаза чуть темнее неба. Если видели её, вы должны мне сказать.

Умолк и несколько секунд смотрит мимо меня на дом; по лицу расплзается улыбка. Представляю себе, что из окна на него смотрит дочь. Потом представляю, что и та девочка смотрит сквозь стекло, синяки у неё под глазами, разбитые губы – и не знаю, то ли на него смотреть, то ли повернуть голову и увидеть то, что он видит, понять, что он понял. И я стою, одна, с, может быть, заряженным ружьем, и прислушиваюсь.

Я хочу, чтобы ты отошел, говорю ему после тысячи лет молчания. Отойди, стань у заднего борта твоей машины.

Он не двигается с места. А я сказал вам, что хочу пить.

Нет.

Он смотрит на небо, сцепил руки на затылке. Просвистел отрывок песни – знакомая, но названия не вспомню. И заговорил, уже не парень, а мужчина.

Я хочу, чтобы вы мне её отдали. Ясно?

Не понимаю, о чем ты. Не вернуться ли тебе в город.

Идите в дом, миссис Уайтхед, и приведите мне девушку. И не разбудите мужа, который спит наверху и которого там нет. Так?

Это не вопрос, и вдруг возникает передо мной лицо Роберта, как призрак. Ты всё это делала ради чужой, Мэри Роуз? Рисковала жизнью дочери, жизнью нашего младенца и своей из-за чужого человека. Что у тебя с мозгами?

И он был бы прав. Кто мне вообще эта девушка? Может, сама, добровольно села к нему в кабину. И я могла бы так сделать десять лет назад, тем более парень красивый.

Леди, я вас не знаю, он говорит. И вы меня не знаете. Глорию не знаете. А теперь будь хорошей девочкой, положи ружье, пойдешь в дом и приведи её сюда.

Сама не почувствовала, как заплакала, а чувствую, слезы текут по щекам. Стою с винтовкой, бесполезным, гладко вытесанным куском дерева – и почему мне не сделать, как он просит? Кто она мне? Она мне не дочь. Эйми и ребенок, который толкается во мне ногами и бьет кулаками, – они мне кто-то. Они мои. Эта девушка, Глория, она не моя.

Он опять заговорил и уже не задает вопросов, не беседует. Сука, говорит он, слушай меня...

Я хочу услышать что-нибудь, кроме его голоса – телефонный звонок в доме, грузовик на дороге, даже ветру обрадовалась бы, но всё на этой плоской, безлюдной земле стихло. Только его голос слышен, и он орет. Слышишь ты, сука, дура? Слышишь, что тебе говорят?

Я тихо качаю головой. Нет, я тебя не слышу. Поднимаю винтовку, прижимаю приклад к плечу – привычное, правильное ощущение, – но сейчас кажется, что ствол налит свинцом. Я бессильна, как старуха. Может быть, есть патрон, не знаю, но целю в смазливое золотистое лицо... потому что он тоже не знает.

Во мне не осталось ни одного слова, поэтому сдвигаю большим пальцем предохранитель, смотрю на него через прицел, слезы застилают глаза, и мне горько от того, что скажу ему, если потребует

хотя бы еще раз. Ну давай, парень. Я сама тебя завалю или умру, если не удастся, но к дочери не подпущу. А Глория? Её забирай.

Сирены мы услышали одновременно. Он отворачивается, и я отрываю взгляд от мушки. Стоим и смотрим, как мчится к нам автомобиль шерифа. За ним санитарная машина вздымает столько пыли, что задохнется целое стадо коров. Миновали почтовый ящик, шофер вильнул, машина бортом задела колючую проволоку – скрежет, с криками взметнулась стая журавлей. Взлетают – крики, тонкие ноги в воздухе, хлопанье крыльев, гвалт.

Парень на несколько секунд замер, как испуганный кролик. Потом плечи у него повисают, и он трет пальцами веки. А, черт, говорит он. Папаша убьет меня.

Пройдет много лет, прежде чем я сочту дочь достаточно взрослой, чтобы ей об этом рассказать, – и расскажу последнее, что я запомнила перед тем, как прислонилась к косяку и сползла на пол, потеряв сознание. Две девчонки прижались носами к кухонному окну, разинув рты, широко раскрыв глаза – только одна из них моя.

Корина

Это кровожадная мелкая сволочь, тощий желтый приبلуда с зелеными глазами и яйцами размером с серебряный доллар. Кто-то подбросил его на голом участке за домом Шепардов в конце декабря – рождественский подарок, сразу себя показал, паршивое приобретение, сказала Поттеру Корина, – и с тех пор ни одному животному не было спокойного житья. Певчие птицы гибли десятками. Вьюрки, семья корольков, гнездившаяся под навесом, множество воробьев и летучих мышей без счета и даже большой пересмешник. За четыре месяца приبلуда вырос вдвое. Его шерсть светится, как хризантема.

Корина стоит на коленях перед унитазом и слышит панический крик очередного зверька на заднем дворе. Птицы кричат и бьют крыльями по земле, ужи и бурые полозы умирают молча, их легкие тела почти не оставляют следа на убитой земле её голых клумб. А это сейчас голос мыши, или белки, или даже молодой луговой собачки. Божьи твари, называл их Поттер. И у неё перехватывает горло.

Собрав в кулак жидкие каштановые волосы, она выблевывает остатки из желудка и сидит, прижавшись щекой к холодной стене уборной. Животное снова взвизгнуло, и в наступившей тишине она пытается вспомнить подробности прошлого вечера. Пять стаканчиков выпила или шесть? Что говорила и кому?

Постукивает потолочный вентилятор. Вязкий запах соленого арахиса и виски уплывает к окну, глаза у Корины слезятся от потуг. Всё это – и лысое пятно у неё на макушке растёт с каждым днем. Эта деталь никак не связана с тем, что она напилась вчера вечером, но все же... – дополнение к общему списку. Так же, как клочок туалетной бумаги, повисший на подбородке. Она стряхивает его в унитаз, опускает крышку, прислоняется лбом к фаянсу и слушает, как заполняется бачок.

Дряблая, как мешочек с червями для наживки, полежавший на солнце, сказал бы Корине Поттер, будь он здесь. Сделал бы ей «кровавую Мэри» с острым соусом и поджарил яичницу с беконом. Дал бы ей кусочек тоста – подобрать жир. Сказал бы, давай за дело. В другой раз не части, родная. Шесть недель, как Поттер умер – вознесся

в славе! – и этим утром она слышит голос мужа так ясно, будто он стоит в дверях. С той же глупой улыбкой, тот же вечный оптимист.

Звонит телефон на кухне, звон прорывает дыру в тишине. Ни с одной душой Корина говорить не хочет. Алиса живет в Прудо-Бей и звонит только по воскресеньям ночью, когда междугородние дешевле. Да и тогда Корина, не простившая дочери метель, из-за которой закрыли аэропорт в Анкоридже, и она не прилетела на похороны отца, разговаривает коротко, отвечает, что у неё всё хорошо. У меня всё хорошо, говорит она Алисе. Вожусь в саду, хожу в церковь в среду вечером и по воскресеньям утром, разбираю папины вещи для Армии спасения.

И каждое слово – вранье. Она и футболки ни одной не положила до сих пор в коробку. Сад за домом – голая земля с птичьими трупами, и после сорока лет, что таскалась за Поттером в церковь, она этим паршивым ханжам ни минуты не подарит, ни цента. В ванной его кожаный несессер с бритвой так и лежит раскрытый перед зеркалом. Его наушники на тумбочке с его стороны, рядом с книжкой Элмера Келтона и таблетками от боли. Пазл, который он собирал в день смерти, так и лежит на кухонном столе, а за ним прислонена к стенке его новая трость. На золотом пластиковом подносе посреди стола – стопка страховых форм и шесть банковских конвертов из кредитного союза с пятидесятками и сотенными. Иногда Корине хочется сжечь их один за другим вместе с деньгами.

Снова звонит телефон. Корина прижимает к глазам подушки ладоней. Неделию назад она с досады сломала регулятор громкости. Теперь звонит на полную громкость, фальшиво, пронзая каждый уголок и закуток в доме и во дворе, вопит, когда мог бы спрашивать. Когда Корина все же хватает трубку и раздраженно говорит: дом Шепардов, – голос в том конце такой же визгливый.

Из-за тебя, кричит женщина, меня вчера уволили.

Кто? спрашивает Корина, а женщина, рыдая, бросает трубку так, что у Корины звенит в ушах.

За раздвижной стеклянной дверью стоит приبلудный кот с мышью в зубах. Телефон снова звонит, Корина хватается трубку и кричит: Иди к черту. Кот бросает свою жертву, мчится через двор, взлетает по ореху и, перепрыгнув через шлакоблочный забор, исчезает.

Прошлой весной, когда они строили планы пенсионной жизни, у Поттера начались головные боли. Он свою пенсию выработал полностью, а Кориная получала свою уже несколько лет – с тех пор, как школьный совет вынудил её уволиться после неких неосторожных высказываний в учительской. Можно поехать на Аляску, сказал Поттер, заедем в Калифорнию, посмотрим эту секвойю, сквозь которую может проехать грузовик.

А у Корины были сомнения. Там полгода солнца не увидишь, сказала она, и что вообще там есть, на Аляске? Лоси?

Алиса, сказал Поттер. Там Алиса.

Корина закатила глаза по тридцатилетней привычке от работы с подростками. Ну да, сказала она, живет там со своим уклонистом, забыла, как его звать.

Через два дня, когда они внесли задаток за новый десятиметровый «Виннебаго», дом на колесах, с собственным душем, у Поттера случился первый припадок. Он стриг газон на переднем дворе и вдруг упал – зубы стучали, руки и ноги неудержимо дергались. Газонокосилка медленно покатила к улице и остановилась, задними колесами еще на тротуаре. Корина в спальне с включенным на максимум охладителем читала книгу, когда до неё донеслись крики дочки Джинни Пирс, катавшейся неподалеку на велосипеде.

Они проехали пятьсот миль до Хьюстона, поднялись на пятнадцатый этаж и, сидя в узких виниловых креслах, выслушали онколога. Корина, наклонившись над блокнотом, давила на ручку так, словно пыталась его пронзить. Мультиформная глиобластома, сказал врач, для краткости ГБМ. Для краткости? Корина подняла голову. Это такая редкость, сказал онколог, как если бы у Поттера в мозгу обнаружился трилобит. Если приступить к радиотерапии немедленно, вы подарите ему шесть месяцев, может быть, год.

Шесть месяцев? Корина смотрела на доктора, открыв рот, и думала: нет, нет, нет. Вы ошибаетесь, доктор. Поттер встал и подошел к окну, глядевшему на чадное небо Хьюстона. Его плечи тихо опускались и поднимались, но Корина не пошла к нему, она не могла оторваться от кресла, как будто её бедро прибили гвоздем.

Ехать обратно было бы слишком жарко, они пошли в торговый центр и сидели на скамье возле ресторанного дворика, сжав в руке холодные бутылки «Доктора Пеппера», как гранаты. В сумерках пошли на стоянку. Ехали с открытыми окнами, жаркий ветер обдувал им лица и руки. К полуночи пикап провонял ими – остатками кофе, пролитого Кориной накануне, её сигаретами и Шанелью № 5, нюхательным табаком Поттера и лосьоном после бритья, его и её потом и страхом. Она включала радио и выключала, включала и выключала, включила, собрала волосы в заколку и распустила, выключила радио и снова включила. Наконец Поттер попросил её, пожалуйста, перестать.

Уличное движение в большом городе нервировало Корину, и Поттер объехал Сан-Антонио стороной. Прости, сказала она ему, что удлинила тебе дорогу. Он улыбнулся вяло и взял её руку на сиденье. Женщина, сказал он, ты передо мной извиняешься? Ну... наверно, я на самом деле умираю. Корина отвернулась к окну и плакала так, что забился нос, а глаза совсем заплаыли.

* * *

Еще девяти нет, а на улице уже тридцать два градуса. Корина смотрит из окна гостиной на лужайку, где стоит грузовичок Поттера. Он был его любимцем и гордостью, «Шевроле Степсайд» V8, с алой кожаной обивкой. Зима была сухая, и бермудская трава – как светло-коричневый шарф. Когда поднимается ветерок, листья её, не примятые колесами машины, дрожат на солнце. Последние две недели ветер поднимается поздним утром и дует до сумерек. Раньше, когда Корине было не наплевать, она перед сном вытирала в доме пыль.

На Лакспер-Лейн во дворах стоят соседи со шлангами, сражаются с засухой. Большой транспортный фургон поворачивает за угол, останавливается перед домом Шепардов и сдает задом по дорожке напротив. Если в самом деле хотите знать, Корина с радостью объяснит любому, кто спросит: я не пьяница, я просто пью все время. А это громадная разница.

Никто не спросит, но, конечно, будут *обсуждать*, если она не уберет пикап с газона, поэтому Корина проглатывает аспирин,

надевает костюм, хранящийся с тех времен, когда преподавала в школе, – оливковый, с латунными пуговицами в форме якорей. Она натягивает колготки, душит, красит губы, надевает темные очки и выползает на двор в комнатных туфлях, словно только что вернулась из церкви и готова к домашним трудам.

День слепит, как камера для допросов. Солнце – яростная лампа в пустом небе. Неподалеку на другой стороне улицы Сюзанна Ледбеттер поливает газон. Увидев Корину, выключает разбрызгиватель и машет рукой, но Корина делает вид, что не замечает её. Делает вид, что не замечает ребят, рассыпавшихся по своим дворам, как орехи из опрокинутой корзины. Не обращает внимания и на мужчин, которые вылезли из фургона и стоят перед двором напротив.

Открыв дверь поттеровского пикапа, она видит на сиденье сигарету, надломанную, но восстановимую, и вздыхает с облегчением. Быстренько, быстренько дает задний ход, останавливается на выездной дорожке и с сигаретой идет в дом, задержавшись, только чтобы включить воду в шланге. Шланг протянулся по лужайке, как мертвая змея, ржавая насадка уткнулась лицом в землю под мелколистным вязом, который они с Поттером посадили двадцать шесть лет назад, весной, в год, когда купили дом. Корявый, некрасивый, вяз почему-то напоминает Корине немытую голову, но он пережил засухи, пыльные бури и смерчи. Когда он вырос на три фута за лето, Поттер, дававший клички всему живому и неживому, прозвал его Долговязом. Когда Алиса свалилась с него и сломала правое запястье, Поттер переименовал его в Левшу. Всё остальное на заднем дворе посохло и издохло, и Корине плевать, но этому дереву она не даст погибнуть.

Да если и даст, если позволит ему засохнуть, если будет оставлять пикап Поттера на траве или если люди увидят её перед домом в том же платье, в каком была вчера вечером в загородном клубе, чего доброго станут её жалеть. Сочувствовать. И от этого ей хочется избить кого-нибудь – а именно Поттера, если бы еще был жив. Она бьет кулаком по похоронному венку и захлопывает за собой дверь. В кухне звонит и звонит телефон, но она не возьмет трубку. Ни за что, никогда.

В три часа ночи они остановились на Кервилской станции, чтобы заправиться, и зашли в ресторан выпить кофе и съесть мороженое. Когда сделали заказ, он сказал ей, что лучевая терапия – чистый яд, который тебе вливают в вены. Он сжигает тебя изнутри, отравляет еще хуже, и что это будут за месяцы?

Я не согласен, Корина. Не допущу, чтобы жена подтирала мне жопу, молола мне бифштекс в блендере.

Корина сидела напротив мужа, раскрыв рот. Ты всегда говорил Алисе: ушиб не повод бросать игру, – голос её делался то громче, то тише, волнами, – а теперь затеял умереть у меня? Пара за соседним столом посмотрела на них и опустила глаза. Больше никого в ресторане не было. Какого черта Поттер сел сюда? думала Корина. Почему она должна делить свое горе с чужими?

Тут другое дело, сказал Поттер. Несколько секунд он глядел на свое мороженое. Когда посмотрел в окно, Корина тоже посмотрела. Между дизельными колонками, фурами и неоновой вывеской с рекламой горячего душа было светло, как в полдень. Дальнобойщик отъехал от дизельной колонки, просигналил два раза и вырулил к шоссе. Ковбой, прислонясь к заднему борту своей машины, поедал гамбургер, пряжка его ремня поблескивала под фонарями. По площадке медленно проехали две легковые, набитые девочками-подростками.

Поттер и Корина, отвалившись на спинки, смотрели на гипсолитовые плиты потолка в водяных разводах цвета мочи, с дырками размером как от дроби № 8 – словно какой-то балбес среди ужинавших разрядил туда свое ружье. Когда стало не на что больше смотреть, они посмотрели друг на друга. Глаза у него налились слезами. Кори, это неизлечимо.

Что ты мелешь? Корина стукнула кулаком по столу, кофе выплеснулся из их кружек. Встань и бейся! – ты всегда говорил Алисе и, случалось, мне.

Говорил – и много мне от этого было пользы. Поттер подался вперед и заговорил тихо и быстро. Алиса все равно сбежала на Аляску с этим парнем. Ты все равно ушла из школы, едва припекло. Столько трудов, Корина... когда мы познакомились, ты единственная из всех, кого я знал, училась в колледже – и всё бросила, чтобы сидеть дома и читать книжки со стихами.

Лицо её покраснело от страха и гнева. По-моему, я тебе десять раз объясняла, что мне это надоело до смерти.

Детка, по-моему, ты не совсем понимаешь, насколько это серьезно. Он потянул к ней руку через стол, но она отдернула свою и сложила руки на груди. Не смей называть меня деткой, Поттер Шепард, или я тебя сама убью.

Я и так умираю, милая.

Пошел к черту, Поттер. Ты не умираешь. Чтобы я этого больше не слышала. И они сидели в тупом молчании; кофе остыл, мороженое расплылось кашей.

Утром, когда въехали в свой гараж, их встретил всё тот же затхлый запах картонных коробок и старой армейской палатки Поттера, всё тот же щелк и гудение мотора, когда включался морозильник, всё те же старые инструменты, пылящиеся на верстаке Поттера. Ничего не изменилось, кроме того, что они не спали почти сутки, и Корина выглядела постаревшей на десять лет, а Поттер умирал.

Пока она поджаривала на сковороде кукурузный хлеб и грела коричневую фасоль, он поставил на кухонный стол овощной маринад и тарелку с нарезанными помидорами. Она показала ему, как струится горячий воздух за раздвижной стеклянной дверью. Августовская жара, сказала она, это особый вид ада. Удивительно, что мы её способны пережить. Он тихо засмеялся, и оба смолкли.

После завтрака они сложили тарелки в раковину, ушли в спальню, включили охладитель и задернули шторы. Залезли в постель, Корина со своей стороны, Поттер со своей, и лежали в полуденном полумраке, сплетя пальцы, оцепенелые от ужаса. Ждали, что будет дальше.

* * *

Подумав, что это облегчит ей похмелье, она хочет сделать себе сэндвич с яичницей, но при виде желтка, дрожащего в чугунной сковороде, как жидкий желтый глаз, у неё восстает желудок. Тогда она откидывает волосы, прикуривает от конфорки и, прислонившись к холодильнику, ждет, когда никотин поможет припомнить подробности прошлой ночи.

Вечер тянулся долго в загородном клубе, к полуночи все разошлись, кроме Корины и барменши Карлы да еще нескольких ветеранов, которым некуда было идти, а там, куда придут, их никто не ждет. Болтать с такими дураками – ну их к черту; поэтому смотрела, как Карла протирает стаканы, а они толковали о футболе и ценах на нефть – 1976-й обещал выдаться чертовски удачным для того и другого, – обсуждали Картера и Форда и несли обоих, один – недоумок, другой – баба. Вот Никсон – их человек, но теперь, после Уотергейта, он утиль, и становится понятно, что они лишились не только своего вождя, но и проиграли свою войну с хаосом и вырождением. «Черные пантеры» и мексиканцы, коммунисты, дикие культы, ебутся прямо на улице в Лос-Анджелесе – дожили.

Чушь плетут, думала Корина, как в любой компании мужиков по всей планете. Представила себе, что можно прыгнуть с парашютом в Антарктике среди ночи, и там у костра трое-четверо их, забивают друг другу головы ерундой и препираются, кто должен шуровать кочергой. Через несколько минут голоса слились в глухое бормотание.

Карла! думает Корина, давя окурок в кухонной раковине. Это Карла звонила ей днем или же дочка Джинни, она звонит почти каждое утро, справляется, чем занята Корина и не хочет ли, чтобы её навестили.

* * *

В последний день 1975 года, после ужина, они стояли на заднем крытом дворике и смотрели, как приبلуда несет в зубах белошейную овсянку. Это была самочка, редкий гость в этом южном краю, и они слушали её нежную песенку Олд-Сэм-Пибоди-Пибоди с начала ноября, когда привезли Поттера из больницы. Последний раз, сказал он еще на больничной стоянке. Корина даже не успела вставить ключ в зажигание, как он вдруг наклонился и погладил её по колену. Я съездил ради тебя, сказал он, но это в последний раз. Хватит лечения, хватит врачей.

Он не захотел ехать в церковь на новогоднюю вечеринку, а ей и самой не хотелось, и в четыре часа они отужинали и переоделись в домашние штаны. Корина курила, Поттер сидел, опираясь на новую

трость. Кот уселся на шлакоблочную стену, словно хозяин дома; его мех золотился в последнем свете дня. Поттер сказал, что им нельзя не восхищаться. Большинство бездомных кошек не могли протянуть больше недели: либо попадут под машину на Восьмой улице, либо мальчишка подстрелит из мелкокалиберки. Из-за черных полос поперек морды он немного похож на оцелота, сказал Поттер. Если поладишь с ним, будет тебе приятель.

Отравить бы эту мелкую сволочь, пока не передушил всю живность в квартале, сказала Корина. Она протянула Поттеру свою сигарету, и он неловко взял её двумя пальцами. Он бросил курить двадцать лет назад, и с тех пор они воевали из-за её привычки. Но воркотня его ничего не значит, печально думала она, пока шла через двор, чтобы вымести птичий трупик. Все равно она его переживет.

* * *

Пока Карла вытирала стаканы и нарезала лаймы, Корина курила одну за другой. Водила большим пальцем по именам и телефонным номерам, вырезанным на красном дереве стойки. С одной стороны бара большое окно смотрело на поле для гольфа. Нефтяники, финансировавшие проект в конце шестидесятых годов, планировали восемнадцать лунок, но из-за переизбытка нефти на рынках строительство остановилось. Бульдозер и дренажные трубы ржавели на месте будущей десятой лунки, и члены клуба решили обойтись девятью. Теперь, семь лет спустя, цены на нефть поползли вверх, и предполагалось устроить остальные девять.

Корина сложила салфетку и отодвинула свой стакан. Карла налила ей новый, виски с колой. Это пятый у неё или шестой? Достаточно, чтобы обхватить пальцами ног латунную трубу под стойкой, когда потянулась за стаканом; достаточно, чтобы Карла придвинула к ней миску с арахисом.

Один из мужчин внятно произнес: мы имеем здесь хрестоматийный случай: «он сказал – она сказала».

Другой отпил пиво и поставил стакан. Я видел фото этой мексиканской девочки в газете – ей не дашь четырнадцати.

Корина перестала водить пальцем по стойке, остановилась на цифре. Речь шла о Глории Рамирес, девушке, которую они с Поттером видели в «Сонике». Мы видели, как она села в пикап, сказал Поттер, а сами сидели, как будто нам штаны пришили к сиденью.

Всё хорошо, миссис Шепард? Карла смотрела на неё с другого конца стойки – в одной руке полотенце, в другой кружка.

Да. Корина хотела сесть попрямее, но трубка ушла из-под ног, а локоть соскользнул с края стойки.

Мужчины взглянули на неё мельком и решили не обращать внимания. Вот самое лучшее в том, что ты пожилая дама с поредевшими волосами и грудями, отвисшими до барной стойки. Наконец-то можно сесть на табурет, напиться в дым, и ни один осел к тебе не привяжется.

Они такие, сказал третий мужчина, они созревают раньше других девочек. Мужчины рассмеялись. Это точно! *Намного* раньше, сказал еще один.

По затылку Корины поднимался жар и разливался по лицу. Поттер заговаривал о Глории раз двадцать, обычно поздно ночью, когда боль одолевала так, что уходил в ванную, и оттуда слышались его стоны. Как надо было бы поступить. Бы да кабы, сказала она ему. Только этого нам не хватало – чтобы ты подрался с парнем вдвое моложе тебя.

Но Поттер твердил, что с самого начала почуял неладное. Двадцать пять лет работал с молодыми людьми вроде этого и знает, чего от них можно ждать. А сами сидели и смотрели, как она лезет к нему в кабину, – и поехали домой. Через два дня, когда увидели его полицейский снимок в «Американце», Поттер назвал себя трусом и грешником. А на другой день, когда напечатали школьную фотографию Глории Рамирес, он, сидя в кресле, долго рассматривал её прямые черные волосы, чуть скошенный подбородок, глаза, устремленные в камеру, улыбочку, то ли ухмылочку. Корина сказала, что должен быть закон, запрет печатать имя этой девочки и фотографию в местной газете – несовершеннолетней, черт бы их побрал. Поттер сказал, что вид у неё такой, как будто не боится никого и ничего, но теперь это, наверное, в прошлом.

Пока Карла смотрела на кружку с чаевыми, Корина в несколько длинных обжигающих глотков осушила стакан. Показала: еще. Карле Сибли только-только исполнилось семнадцать, и дома её ждал грудной

ребенок с её матерью. Она все еще колебалась – отказать ей или нет, но тут сама Корина оттолкнула свой табурет, мощно пошатнулась и стала одергивать рубашку на широкой груди и бедрах.

Не надо, Карла, сказала она. Хватит с меня. Она повернулась к мужчинам. Девочке четырнадцать лет, сукины вы дети. Вас на малолеток потянуло, джентльмены?

Домой поехала самостоятельно, следя за осевой линией, со скоростью на десять миль меньше дозволенной, и только в четвертом часу улеглась наконец на диван. Прикрыла ноги шерстяным платком – до сих пор не могла спать на их общей кровати. И хотя у нее не получится восстановить происходившее, по крайней мере, до той минуты, когда первая утренняя присадка никотина вольется в кровоток, уснула, припоминая, что сказала завсегдатаям, и последние слова, услышанные перед тем, как захлопнула за собой тяжелую дверь, – ноющий голос Карлы: я тут при чем, не я начала. Этой старой даме вообще ничего нельзя сказать.

Четырнадцать лет. Как будто этому нашлось бы оправдание, сердито думает Корина, если бы Глории Рамирес было шестнадцать лет или была бы белой. Она идет с пепельницей на кухню, садится за стол, вертит в пальцах свободный квадратик пазла и со злостью смотрит на конверты с деньгами. Поттер трудился над пазлом часами, левая рука иногда дрожала так, что ставил локоть на стол и придерживал её правой. Столько часов – а собрать успел только край и пару золотисто-коричневых кошек.

Когда приبلуда проходит по дворику, садится перед стеклянной дверью, уставясь на неё, Корина берет трость Поттера и грозит коту. Как-нибудь огреет нахала по башке, если не перестанет ходить сюда и душить всю живность.

* * *

В конце февраля кот поймал большого скворца, разорвал на кусочки, и Корина чуть не поскользнулась на иссиня-черной голове, когда выносила мусор. На другое утро они нашли древесницу – с пушистой серой и черной головкой и желтой грудью – яркое пятно на бетоне. Поттер остановился и смотрел, как её перышки колышутся на

ветру. Он уже стал иногда заикаться. Кор... Кор.... Кор... начинал он, и Корине хотелось зажать ладонями уши и крикнуть: Нет, нет, нет, это ошибка. Но то было хорошее утро – ни припадков, ни падений, и когда он заговорил, голос был тот же, к какому она привыкла за тридцать лет.

Если привадишь его, сказал он, будешь подкармливать, он, пожалуй, перестанет их убивать. И как-никак живая душа при доме.

Нет уж, сказала Корина. Мне еще одна забота нужна, как Христу лишний гвоздь.

Не надо кощунствовать, сказал Поттер. Но засмеялся, и оба посмотрели на тот конец двора, где под пеканом разлёгся кот. Он следил зелеными глазами за ящеркой, бежавшей по шлакоблочной стенке.

Было утро, забор под солнцем окрасился в пепельный цвет. Ветерок ерошил золотистый мех кота. За домом на Восьмой улице послышалась сирена «Скорой помощи». Звук удалялся в сторону центра, к больнице. Не знаю, что ты будешь делать без меня, сказал Поттер, и когда Корина с грустью ответила, что ей в голову никогда не приходило – ни разу за всю их совместную жизнь, – что она его переживет, Поттер кротко кивнул. Кому это дадено знать, сказал он.

Корина хотела было поправить его, как всегда, – кому это ведомо, – но подумала о его случайных оговорках, его привычке насвистывать фальшиво и давать кличку каждой мелкой твари, какая попадется ему на глаза, – и только вздохнула. Как будет жить без его голоса. Правда, неведомо! Кивнула ему в ответ и отвернулась, пока не увидел, что плачет.

Поттер тронул её за руку и проковылял к лопате, прислоненной к дому. Ты еще сама себя удивишь, когда меня не станет, сказал он.

Весьма сомневаюсь в этом, ответила она.

В последние недели, если чувствовал в себе силы, стал хоронить животных, найденных на заднем дворе. На этот раз он почти десять минут ковырял спекшуюся землю. Корина спросила, не надо ли помочь, но он сказал, нет, сам справится. Вырыл у задней ограды ямку в фут глубиной, положил в неё древесницу и засыпал землей. Тоже мне, похороны, и теперь иногда ворчит Корина, вспоминая ту птицу, большое дело. Под конец муж стал сентиментальнее – да, только не до последней минуты, негодяй.

Неделей позже Поттер проснулся рано и повернулся к Корине. Сказал: хорошо себя чувствую. Как будто и опухоли не было. Оставил трость на кухне и пошел подметать задний двор. Принес из гаража секатор и стал подстригать живую изгородь перед верандой. Потом собрал тощие веточки, отнес в мусорный бак и стоял, любуясь своей работой. Корина накричала на него за то, что ходит без трости. Если бы не отвлеклась, ни минуты бы не разрешила. Но Поттер обнял её за талию, потерся носом о её затылок, говоря: как приятно ты пахнешь, детка. И она позволила увести себя в спальню на часок или два.

После Поттер сказал, что хочет на ужин бифштекс на косточке. Он поджарит его на рашпере, а к нему – печеных картошек со всем, что положено – со сливочным маслом, а не маргарином, которым она его потчует последние десять лет. Если вынем сейчас ореховый пирог из морозильника, ко времени десерта он оттает. После ужина он поставил пластинку Ричи Валенса и повел её танцевать в гостиной – и что с того, если давным-давно не танцевали друг с другом? Сейчас-то можем, сказал он. Впоследствии она корила себя за то, что сразу, тогда же, не догадалась о его замысле.

* * *

На столе перед его креслом в гостиной газета от 27 февраля, дня его смерти, раскрыта на кроссворде. Вписано карандашом всего одно слово. Четыре буквы. Проход или проезд через мелкое место. Брод. Перед её креслом – книга стихов, к которой она не прикасалась все эти месяцы, читая вместо неё статьи о раке, о здоровом питании и даже об одном докторе в Акапулько, – эту идею Поттер сразу же и категорически отверг. Она выходит в переднюю, проводит пальцами по ореховому корпусу приемника АМ/ФМ, поворачивает ручки туда и сюда. В свежие вечера, когда дул ветер с севера, они выносили его на веранду и слушали кантри – станцию в Лаббоке. До самого дня его смерти знали о болезни только она, Поттер и врачи. Со дня на день собирались сообщить Алисе и кое-кому из церкви, но Поттер не стал дожидаться. Черт бы его побрал.

Дверной звонок привинчен к стене над радио, и когда он звонит, Корина вздрагивает от неожиданности. Она замирает на месте, сердце

колотится, рука на ручке настройки приемника. Звонок звонит снова, а затем особый стук Дебры Энн Пирс: отдельные три удара в середину двери, три частых по левой стороне, три по правой и детский голос: миссис Шепард, миссис Шепард, миссис Шепард, – раздающийся почти ежедневно.

Корина приоткрывает дверь и загораживает своим крупным телом проход между дверью и косяком. Она сдвигает бедра, чтобы девочка не вздумала проскользнуть между её ногами, как собачка.

Это ты мне всё утро звонила, Дебра Энн Пирс? Голос у Корины хриплый, на языке словно толстый слой краски. Она отворачивает голову к плечу и откашливается.

Нет. На Дебре ярко-розовая футболка с надписью «Суперстар» и оранжевые махровые шорты, едва прикрывающие ягодицы. В руке она держит рогатую ящерицу и пальцем поглаживает её между глаз. Глаза закрыты, Корина думает, что девочка таскаетдохлое животное по всему кварталу, но тут ящерица начинает извиваться.

Отпусти ты несчастную, говорит Корина. Это не домашнее животное. Детка, я поздно легла, я устала, а телефон все утро трезвонил.

Где вы были?

Это не твое дело, Д.Э. Пирс. Ты зачем мне названиваешь?

Это не я, ей-богу.

Не божись, говорит Корина и тут же жалеет о сказанном. Какое ей дело до чужого ребенка – лишь бы убралась с веранды и оставила её в покое.

Извините. Дебра Энн убирает руку назад и оттягивает шорты, затянувшиеся между ягодицами. Она смотрит на другую сторону улицы и хмурится. Это мексиканцы, что ли, въезжают?

Возможно, говорит Корина. Это тоже не твое дело.

Некоторым это совсем не понравится... мистеру Дэвису, миссис Ледбеттер, старому мистеру Джеффрису...

Корина поднимает ладонь. Перестань. У этих людей такое же право жить здесь, как у тебя и у меня.

Не такое, говорит девочка. Это наша улица.

Что подумал бы мистер Шепард, если бы тебя услышал? А?

Девочка смотрит на свои босые ноги и несколько раз поднимает оба больших пальца. Она обожала Поттера – единственный из

взрослых, он никогда не поправлял её речь, не критиковал её планов, внимательно выслушивал небылицы о её выдуманных друзьях Питере и Лили, прилетавших из Лондона с историями про Лондонский мост и про королеву Англии. Ни разу Поттер не сказал ей, что хватит уже выдумывать себе друзей, как маленькой, никогда её не дразнил.

Корина похлопала себя по карманам жакета и нашла пачку с одной сигаретой. Удача. Она достает сигарету, закуривает и выдувает дым над головой девочки. Где сегодня твой папа?

Работает в Озоне – Дебра Энн вытягивает нижнюю губу и дует вверх с такой силой, что шевелится челка, – или в Биг-Лейке. Девочка переворачивает ящерицу и подносит к лицу. Заберу тебя домой, зловеще шепчет она и щиплет бровь. Выдергивает несколько волосинок и щелчком отправляет в живую изгородь перед верандой. Теперь Корина замечает у неё пролысинки в обеих бровях. Когда мать Дебры Энн уехала из города, Корина первое время носила Джиму еду, а Поттер с Д.Э. в это время на диване смотрели мультики. На похоронах Поттера девочка наклонилась над гробом и долго всматривалась в его лицо – так долго, что Корине хотелось шлепнуть её по затылку и сказать, какого черта ты там рассматриваешь, девочка?

Дебра Энн пробует пристроить ящерицу в кармашек шортов, но та цепляется за её руки. Я подумала, вам будет скучно одной, говорит Корине Дебра. Можем дособирать пазл мистера Шепарда.

Спасибо, мне одной не скучно.

Девочка смотрит на нее, и через несколько секунд Корина вздыхает. Эх, у меня сигареты кончились. Не хочешь сгонять на велосипеде в «7-Eleven»^[4], купить мне пачку? Д.Э. кивает, улыбается. Двух молочных зубов у неё нет – верхнего клыка и нижнего, лунки красные, воспаленные. Остальные зубы желтые и тусклые, у шеек застряли крошки еды, как будто хлеба. Её неровные черные волосы спутаны на концах, словно она начала их расчесывать и бросила; Корина готова поклясться, что заметила несколько гнид. Постой здесь, говорит Корина и уходит в дом за сумкой. Она вручает девочке бумажный доллар, и глаза у Д.Э. радостно расширяются.

Тут тебе пятьдесят центов на «Бенсон и Хеджес»^[5] и пятьдесят за труды. Не перепутай, возьми ультралегкие.

Д.Э. засовывает доллар в кармашек шортов и спрашивает, нет ли у Корины обувной коробки, чтобы оставить ящерицу на веранде. Корина

говорит: нет, тут бродит бездомный кот и душит всех, до кого доберется. Девочка убегает с ящерицей в левой руке. Корина кричит ей вдогонку, чтобы не разговаривала с чужими, – Д.Э. поднимает ящерицу над головой и машет Корине. Даже издали видны Корине тоненькие ручейки крови, стекающие из глаз ящерицы, – последнее и отчаянное средство защиты.

* * *

Поттер написал письмо на желтом линованном листе блокнота из письменного стола Корины. Он не докучал Всевышнему мелкими просьбами, писал Поттер. Сколько помнит, он молился о помощи всего раз пять или шесть – когда его В-29 лишился одного мотора над Осакой, когда у Корины были сложности с морфием после рождения Алисы, когда все трое заболели воспалением легких зимой 1953 года. В 1968 году он молился, чтобы цены на нефть подросли до прежних, и раз или два – чтобы попался сом покрупнее, когда ударили на озере Спенс, но это больше в шутку. И теперь, писал Поттер, он рассчитывает, что Всевышний не будет с ним мелочиться – потому что он не хочет ехать на этом поезде до конца.

Он написал, что будет скучать по их долгим поездкам, туристским вылазкам, по тому, как Корина ночами в палатке водила ступнями по его икрам, потому что ей всегда было холодно, а он всегда был теплый. По птичкам, которых слушали, лежа в состегнутых вместе спальных мешках.

Кое о чем он сожалел. О том, что не поступил в колледж, вернувшись с войны, хотя для этого пришлось бы принять помощь от правительства. Жалел, что не навестили дочь на Аляске, и он уже написал ей об этом письмо. Но больше всего жалел о том, что не так повел себя в Валентинов вечер. И всё это – от человека, писавшего разве что списки продуктов после того, как вернулся с войны домой.

Он оставил письмо на столе в кухне и рядом в конвертах десять тысяч долларов наличными. Он уже несколько недель беспокоился, что страховая компания может оставить Корину с носом, и она догадалась, что он где-то копил аварийный запас. Внизу письма красной ручкой было торопливо накорябано: *Позаботься, чтобы в*

свидетельстве о смерти доктор Бауман написал «несчастный случай на охоте».

Через двадцать минут к двери подошел помощник шерифа и раньше, чем Корина успела спросить, где нашли Поттера, сказал ей, что произошел несчастный случай, ужасное несчастье, такого никогда не ожидаешь, он сказал. Но случается чаще, чем думаем.

* * *

Через пятнадцать минут вернулась Дебра Энн, губы испачканы в шоколаде и без рогатой ящерицы. В грязной лапке сигареты Корины, и говорит, что папа не вернется до восьми, дома, наверное, еще остался гуляш, но она не уверена. Может быть, Питер и Лили весь съели. Она наклоняется к Корине, вытягивает шею, пытаясь заглянуть в переднюю, её волосы и одежда пахнут плесенью. У Корины подкатывает к горлу, и она протягивает руку за сигаретами. Постукивает пачкой по ладони и, слегка кивая, выслушивает трескотню Дебры Энн: как продавец в «7-Eleven» не пускал в магазин с ящерицей, и она велела ей не вылезать из корзинки на руле, но, конечно, когда вышла из магазина, ящерицы уже не было.

От этих животных бывают бородавки, сказала ей Корина. Найди себе домашнее животное получше.

Я видела кошку мистера Шепарда в проулке за вашим домом.

Это не его кошка.

Но он кормил её.

Нет, не кормил.

Я точно знаю, мистер Шепард пускал её спать в гараже, когда было холодно.

Да ерунда, говорит Корина. У нас даже мокрой метели не было за всю зиму.

Все равно было холодно, говорит Дебра Энн. С кошкой было бы веселее.

Корина говорит девочке, что не желает никого кормить и поить, убирать чьи-то какашки, вытаскивать клещей из ушей, пылесосить блох на занавесках, если пустишь в дом.

Вот что, Дебра Энн, если сумеешь поймать этого кота, можешь забрать к себе домой.

Я бы хотела, чтобы кошка жила у меня, отвечает Дебра Энн, но папа разрешает только таких животных, которые живут в ящике. А еще бы я хотела, чтобы мы ели не один гуляш. И хочу... но Корина перебивает её и спрашивает, помнит ли она, что говорил её старый муж.

В одной руке хотелка, а в другой какашка, и какая перевесит? Хмуρο отвечает Дебра Энн.

Да, милая, говорит Корина, отступает в дом и мягко закрывает дверь перед носом у девочки.

Телефон звонит раз десять, а Корина наливает себе чай со льдом и добавкой бурбона. Убедившись, что Дебра Энн не слоняется по двору, она выходит на веранду, посидеть и покурить. Садится пониже, на бетонную ступеньку позади кустов – здесь её не видно, а сама может наблюдать за улицей.

С тех пор как умер Поттер, к ней каждую неделю заходит Сюзанна Ледбеттер с запеканкой и приглашением на какой-нибудь дурацкий вышивальный кружок или, еще того тупее, – на обмен рецептами, где каждая пишет на листке из блокнота рецепт со своими комментариями, передает соседке, та пишет свой... и так далее. Таким образом женщины могут сделать хороший рецепт еще лучше, говорит Сюзанна Ледбеттер.

С годами Корина научилась говорить нет, спасибо, в ответ на приглашения посидеть и обменяться рецептами. Тем не менее, когда она садится на веранде со стаканом в одной руке и незажженной сигаретой в другой, морозильник у неё забит запеканками. А голова – ерундой, думает она, опустив зад на бетонную ступеньку и поглядывая на улицу сквозь тощий боярышник. На той стороне двое молодых людей вносят консольный телевизор в кирпичный дом, близнец Корининогo – девятьсот квадратных футов, три спальни, ванная и туалет рядом со столовой. Окно кухни выходит на задний двор, как у Корины, и такая же, наверное, раздвижная стеклянная дверь на внутренний дворик, думает Корина, хотя незнакома была с прошлыми жильцами – тремя молодыми людьми, державшими большую собаку, привязанную к засохшему пекану, и, слава богу, съехавшими вместе с псом среди ночи.

Подъезжает белый седан, девочка с матерью вытаскивают несколько коробок с заднего сиденья. Женщина на сносках, она раздулась, как труп оленя на раскаленном шоссе, а мистера между тем не видать. Разгрузив машину, женщина стоит посреди двора, а девочка скачет вокруг мертвого дерева. Копия матери – беловолосая, круглолицая – время от времени подходит к ней и цепляется за просторное платье, словно если отпустит, то её, или мать, или обеих сдует с земли и унесет в небо.

Женщина – выглядит слишком юной для матери такой большой девочки, – гладит дочь по спине, и обе наблюдают, как трое молодых людей таскают по дорожке, через гараж и в дом мебель и ящики. Теперь Корина видит, что ребята совсем молодые, лет пятнадцати-шестнадцати, в кроссовках, коротко стриженные, в ковбойских шляпах разных оттенков коричневого. Двое мужчин в коричневых башмаках со стальным носком – такие же зашнуровывал Поттер перед отъездом на работу, – стоят у передней двери, меряют и перемеривают дверную коробку и массивную, красного дерева дверь, прислонившуюся к стене, как пьяная. Корина помешивает мизинцем в стакане и смотрит на беременную, внутренне усмехаясь. Старая дверь ей не хороша? Ну! Она облизывает палец.

Один из мужчин показывает руками ширину двери, высоту, а женщина мотает головой. Одной рукой она берется за лоб, другой за живот, а потом, когда мужчина опять показывает на дверной проем, её тело устремляется к двери, клонится вперед и вдруг, сложившись пополам, оседает. Мужчины вскрикивают. Корина ставит стакан и чмокает губами. Пока она поднимается и вставляет ноги в комнатные туфли, женщина уже встала на четвереньки, пузо её висит до земли. Дочка вьется встревоженно вокруг её головы. По двору, как воробьи, летают туда и сюда испанские и английские слова. Мужчина убегает в кухню и возвращается с пластиковым стаканом воды.

Корина называет себя и показывает на свой дом напротив; Эйми тербит мать за блузку. Она мордатенькая, бровей и ресниц почти не видно – такие белые. Мать, Мэри Роз, тяжело дышит, блузка её поднимается и опадает от схваток, а Корина силится припомнить, видела её или нет в старших классах – вечно они исчезали, выходили замуж. Разве всех их запомнишь.

Корина старается и не может припомнить ничего полезного из туманного сумеречного предродового полусна тридцатилетней давности, когда рожала Алису. Отвезти вас в больницу?

Нет, спасибо, я сама доеду. Мэри Роз прижимает к животу обе ладони и смотрит на Корину. Я видела венки у вас на двери. Сочувствую вашему горю.

Муж умер в феврале. Никак не соберусь убрать венки. Корина прищурясь смотрит на мужчин и ребят: они тихо выстроились в ряд, переминаются с ноги на ногу и смотрят на жену хозяина ранчо, затеявшую рожать посреди их субботней работы – мужа её они хорошо знают.

Несчастный случай на охоте, говорит Корина. Словно проглотила полную лопату скорпионов – так дерут ей горло эти слова, отравные, когтистые.

Несчастный случай на охоте. Мэри Роз перекачивается на спину и садится, и Корина с удивлением видит слезы у нее на глазах. Какое несчастье. Слушайте, мы все еще ждем, когда нам подключат электричество, не хочу, чтобы дочь сидела одна в приемной. Не могли бы вы пустить её на несколько часов к себе, пока муж не вернется с аукциона скота в Биг-Спрингсе?

Извините, не колеблясь отвечает Корина. Сейчас никого не могу пустить в дом. Сожалею. Может быть, позвонить вашей матери или сестре?

Нет, спасибо, отвечает Мэри Роз. У них и так хлопот полон рот.

Я хочу с тобой, хнычет девочка. Я её даже не знаю.

Я с удовольствием отвезу вас в больницу и посижу с... Корина умолкает, девочка сердито смотрит на нее, держась за мамино платье... с Эйми.

Не хочу, чтобы сидела в приемной с чужими мужчинами, говорит Мэри Роз.

Несколько секунд женщины смотрят друг на дружку, младшая – сжав губы в ниточку. Она тяжело встает и велит дочери сбегать за ключами от машины и сумочкой из шкафа в передней. Эйми убегает в дом через открытый гараж, а Мэри Роз просит бригадира, чтобы заперли за собой, когда разгрузят фургон. Корина отправляется к своей веранде, уже мечтая о холодном чае с остатками виски, надеясь, что кот не сунул нос в её стакан, не облизывал лед, а Мэри Роз кричит ей

вдогонку. Благодарю за щедрую помощь, кричит она, но Кориная делает вид, что не слышит. Она продолжает идти и, перейдя улицу, выплескивает питье в кусты, заходит в дом и наливает себе свежую порцию.

* * *

На дворе еще не совсем стемнело, снова звонит телефон. Кориная, уже порядком приложившись к бутылке бурбона, устремляется в кухню и обеими руками хватается за телефон. Каждая дрянь в этом доме жужжит, трещит, звонит. Она обматывает телефон шнуром и открывает ногой дверь в гараж. Дряблая кожа у нее на руках дрожит, когда она поднимает телефон над головой. Он влетает в гараж и звякает два раза, упав на бетон рядом с «Линкольном Континентал», беспризорным уже сорок дней – с тех пор, как Поттер решил покончить с тем, что называл своей ситуацией. Это была *наша* ситуация, черт бы тебя взял.

В кухне теперь тихо, только тикают настенные часы над столом. Кориная прищурилась на них, думает. На полном мусорном ведре лежат бутылки из-под спиртного и нераспечатанные счета от врачей. Она берет пепельницу, полную окурков, и высыпает на конверты посреди стола. Окурки скатываются на пазл. Она высыпает из ванночки кубики льда. За стеклянной дверью небо на западе – цветов старого синяка. На заднюю изгородь слетает пересмешник, голос его настойчив и печален.

Кориная несет мусорное ведро к контейнеру и задвигает дверь с такой силой, что трость Поттера падает и катится по линолеуму. Тонкая подошва туфли наступает на что-то мягкое, Кориная, вскрикнув, отскакивает назад и видит маленькую коричневую мышь. Она закрывает глаза и видит Поттера у задней изгороди, видит, как он с трудом выкапывает ямку и бережно опускает в неё животное.

Она хотела бы так же – похоронить маленькую тварь, как будто это важно. Но земля затвердела, руки у неё слабые, и, когда переносит продукты из пикапа в дом, вынуждена останавливаться, чтобы отдышаться. Далеко ей до Поттера, всегда было далеко. Все же она берет в гараже лопату и поддевает мягкое тельце мыши. Чуть не задыхаясь от злости, несет мышь в проулок и бросает в открытый

контейнер. Они могли бы поговорить об этом – о том, как и когда он умрет. Поттер сказал, что не допустит, чтобы она за ним ухаживала, а она обещала, что не будет просить его задержаться до тех пор, когда он перестанет узнавать себя и её. Но в итоге он сам выбрал время.

Гудит заводской гудок, дольше и жалобнее обычного, извещая о несчастном случае, и она застывает на несколько секунд, держась рукой за стальной контейнер. Всю жизнь она прислушивалась к этому гудку, думая о том, что могло случиться. Но эти страхи: что муж её может лежать сейчас ничком в луже бензола или работал там, где произошел взрыв, и не успел вовремя убратсья, теперь эти страхи – удел Сюзанны Ледбеттер и тысячи других женщин в городе. Не её. На поле за ее домом кот припал к земле, зеленые пустые глаза провожают желтую медянку, ползущую по сухому ливневому каналу, где Д.Э. Пирс и другие девочки с улицы любили проехаться на велосипедах и, бросив их, загорать на крутых бетонных склонах, пока городские власти не сообразили огородить канал рабицей.

За каналом «7-Eleven» и «A&W Рут-бир» делят парковку с передвижной библиотекой, тридцатифутовым трейлером с угрожающе шаткими металлическими стеллажами и косматым ковровым настилом, пахнущим плесенью. Полгода назад тут же построили стальной полукруглый ангар без окон, «Клуб заек» – стрип-клуб, и, черт их знает, думает Корина, как вообще девушке в Одессе удастся остаться в живых. Двадцать лет она наблюдала старшеклассниц, и у большинства из них мечты не шли дальше того, чтобы закончить школу раньше, чем их обрюхатит какой-нибудь парень. В любой понедельник она могла войти в класс и выслушать печальные или злые слухи о больнице, или тюрьме, или доме для незамужних беременных в Лаббоке. Не вспомнить уже, на скольких спешных свадьбах она присутствовала, – и до сих пор сталкивается в магазине с этими же молодыми женщинами – постарели, но все еще прижимают бледных пухлых младенцев к груди, переключивают из одной худой веснушчатой руки в другую и кричат на старших детей, которые носятся между полками, как взбесившиеся белки.

Корина стоит в переулке, и в это время с дороги на стоянку сворачивает пикап. С визгом шин он выписывает кренделя на площадке. В кузове, кто за что цепляясь, стоят, кричат и ржут несколько мужчин. Один бросает бутылку в канал, она разбивается о

бетон. Другой вдруг падает с кузова и кричит, ударившись о землю, остальные орут и хохочут. Он, спотыкаясь, бежит за машиной, протянув к ней руки, – почти нагнал уже, и тут грузовик тормозит. Он хватается за задний борт, но тут кто-то сбрасывает на землю два мешка, и шофер дает газ.

Машина делает третий круг, мужчина в кузове перегнулся через борт, в руке у него кусок стальной трубы. Машина прибавляет скорость, мужчина перегибается сильнее, одной рукой держась за защитную балку на крыше кабины, и размахивает трубой. Корина хочет закричать: «Стойте», а в это время человек, стоящий на площадке, поднимает руки над головой, как будто сдается. Труба бьет его по спине, и он падает на бетон, как яйцо, выброшенное из гнезда.

Господи, спаси, кричит Корина и бежит к дому. Бежит и думает, только бы гудок был, когда подсоединит телефон. Но тут спотыкается о трость Поттера и падает лицом на кухонный стол. Кусочки пазла разлетаются, как летучие мыши от старого резервуара, и Корина оседает на пол под тиканье настенных часов. Её лицо и руки, колени, плечи обдаёт боль, такая внезапная и сильная, что, кажется, нет ничего, кроме неё в мире.

Когда они были моложе, Поттер шутил, что она отправится на тот свет с треском. Или будет налет на банк, когда она будет стоять там в очереди и не захочет отдать сумку. Или покажет средний палец молодцу, у которого денек выдался еще похуже, чем у неё, или колесо у нее спустит на полном ходу. Или старшеклассники забьют до смерти экземплярами «Беовульфа». Или прокрадутся и перекусят тормозные шланги в её машине после зверской внеплановой контрольной. Но нет. Она – вот она, разлеглась на полу, как старая нетель, сиськи и брюхо в кухне, ноги и зад еще на дворе.

Если бы всё было устроено как должно, Поттер хоронил бы её. Горевал бы, конечно, но продолжал бы жить – играл бы в карты у ветеранов зарубежных войн, заезжал бы на завод поздороваться с ребятами, возился бы в гараже и на заднем дворе. Собрал бы чертов пазл и слушал бы рассказы Дебры Энн о её детских делах – о выдуманных друзьях, про которых пора бы уже забыть в её возрасте, о том, сколько крышечек от бутылок она собрала в переулке, о том, как скучает по маме и не знает, когда она вернется. Он не уставал бы слушать её, а если бы и устал, ей не сказал бы. Если бы Поттер был

здесь, Д.Э. Пирс и Эйми, девочка из дома напротив, сидели бы за столом на кухне и ели мороженое, а чертов кот вечерами ужинал бы в гараже, например, тунцом из банки. Но здесь Корина, и чем ей заняться сейчас, один черт знает.

Завтра утром она осмотрит повреждения – маленький порез над левой бровью, шишку на правом виске, кровоподтек размером с грейпфрут на предплечье. Бедро забарахлило на месяц, и придется ходить с палкой Поттера – но только дома и на заднем дворе, где никто её не увидит. А перед домом, где она поливает дерево, и в продовольственном магазине, где покупает кое-что для Мэри Роз и привозит ей, и захватит заодно какую-нибудь из запеканок Сюзанны Ледбеттер, хранящихся в морозильнике в гараже, – здесь Корина будет стоять выпрямившись, скрипя зубами, и вести себя так, будто ничего не болит. Когда позвонит телефон, она подойдет и, услышав голос Карлы, спросит, чем ей помочь.

А как быть с рассыпавшимися кусочками его пазла – несколько залетело под холодильник и под плиту, и их оттуда не достать. Через несколько недель Корина начнет собирать его вещи для Армии спасения и оставит записку для тех, кому достанется пазл, – предупредит, что нескольких кусочков не хватает. Поттер сто раз говорил ей: нет ничего хуже на свете, чем трудиться так долго и так усердно и в итоге понять, что некоторых кусков не было с самого начала.

Сегодня она встает с пола в кухне и включает телефон. Звонит в полицейский участок и говорит, что не видела номера на грузовике, и не запомнила цвет, и мужчин описать не может – только что были пьяные, белые и, судя по голосам, молодежь.

Когда возвращается в переулок, выпавшего и след простыл. Ночь красивая, звездная, на юге висит красный Марс. Дует ветерок с севера. Если вынести приемник на переднюю веранду и поставить на подоконник, можно поймать станцию в Лаббоке. Там все время играют Боба Уиллса, с тех пор, как он умер, – это скрасит ей вечер.

Она все еще сидит там, когда к дому напротив подъезжает грузовик и из него выходит мужчина, должно быть, муж Мэри Роз. Он быстро идет к пассажирской двери и берет на руки спящего ребенка. Со всей быстротой, какую позволяет побитое старое тело, Корина поднимается на ноги. На лбу у неё шишка размером с доллар, и

никакие Шанель № 5 на свете не отобьют запах табака и виски, но она торопится к мужчине, который перекладывает дочь из одной руки в другую, берет со щитка фонарь и направляется к дому, чьи пустые черные окна смотрят на двор и на улицу, все дожидаясь, когда кто-нибудь включит свет.

Подождите, кричит она. Подождите! Волосы девочки белеют в свете уличного фонаря, и Корина зацепляет пальцем её голую ступню, висящую у отцовского колена. Мужчина хочет обойти её, но она мягко трогает его за руку. Как там ребенок? Как Мэри Роз? Она тяжело дышит, в боку колотье, она держится за живот. Послушайте, говорит она с одышкой, скажите жене, если ей что-нибудь нужно, все равно что, она может на меня рассчитывать. Пусть только скажет, я сразу приду.

Дебра Энн

В другую субботу, в другом году она могла бы и не увидеть его. Могла бы с кем-нибудь играть баскетбольным мячом в парке луговых собачек, или болтаться по спортивному полю начальной школы имени Сэма Хьюстона, или ехать на велосипеде к бизоньей луже, искать трилобитов и наконечники стрел в сухом водоеме. Когда в нем была вода, Дебра Энн с мамой ездили туда смотреть, как спасаются люди. Хоть какое-то развлечение, всегда говорила Джинни, расстелила махровое полотенце на капоте машины, и Дебра Энн взбиралась на него, стараясь не коснуться раскаленного металла голыми ногами. Они прислонялись спиной к ветровому стеклу и передавали друг другу пакет с чипсами; святые стояли на берегу, пели: «омылся ли кровью агнца», а грешники брели босиком по илистому дну, и только вера берегла их от водяных щитомордников и осколков стекла. Если проповедник призывно махал им рукой, Джинни мотала головой и махала в ответ. Сейчас у тебя всё хорошо, говорила она Дебре Энн, но если однажды покажется, что тебе непременно надо спастись, — спасайся в церкви. По крайней мере, обойдешься без столбняка. Соскучившись, Джинни собирала вещи, и они ехали в город есть гамбургер. Куда теперь? спрашивала она дочку. Хочешь, поедem посмотреть могилы в Пенуэлле? Хочешь в Монаханс, гулять по песчаным холмам? Или поедem на аукцион скота в Эндрюсе и сделаем вид, что торгуем бычка?

Но этой весной Джинни нет, и все толкуют о девушке, которую увезли и обидели. Её изнасиловали — взрослые думают, что Д.Э. не понимает, но она не маленькая — и теперь родители на Ларкспер-Лейн, в том числе её папа, постановили, что детям нельзя выходить из квартала без надзора взрослых или, по крайней мере, не предупредив, куда идут. Это оскорбительно. За ней с восьми лет не надзирали, и почти всю весну она нарушала правила — даже после того, как папа сел за стол на кухне и нарисовал ей карту.

Северная граница разрешенного гуляния — Кастер-авеню, южная отмечена пустым домом на повороте. Западная граница — переулок за домами Шепарда и Дебры Энн, там стоит миссис Шепард и хмуро

глядит на грузовики, подъезжающие к «Клубу заек» и отъезжающие от него. Это сисечный бар, Д.Э. знает. В другом конце квартала, где живут Кейси Наналли и Лорали Ледбеттер, миссис Ледбеттер пристально следит за всем и за каждым. Ей ничего не стоит ухватить ребенка на велосипеде за руль и устроить допрос. Ты куда едешь? Ты что делаешь? Когда ты последний раз мылась? Остальные девочки на два года младше Дебры Энн, еще не смеют правила нарушать – так она думает – или просто матерей боятся.

Человека этого она находит так же, как находит свои сокровища. Она *смотрит*. Она ездит взад-вперед по переулку за домом миссис Шепард, виляя между пивных банок, гвоздей и зубастых битых бутылок. Отворачивает от камней, таких больших, что перелетишь через руль головой в стальной контейнер для мусора или в шлакоблочный забор. Острым глазом выискивает на дороге монету, неразорвавшуюся петарду, панцирь саранчи, резко сворачивает при виде змейки – вдруг это молоденький гремучник. Десятками ловит рогатых ящериц, держит на ладони и гладит пальцем твердый гребешок между глаз. Когда они засыпают, опускает их в стеклянную банку, которую возит в корзинке на руле.

В переулке за домом миссис Шепард она почти останавливает велосипед и, балансируя, смотрит на поле. Всё, что там – запретная зона: сухой паводковый канал, забор из колючей проволоки, грунтовая площадка, дом на повороте, пустующий с тех пор, как мальчика Уоллесов убило током от приемника, упавшего к нему в ванну, и, наконец, то место, где канал сужается и уходит в две стальные трубы, такие широкие, что Дебра Энн может встать там во весь рост. За этой запретной территорией – стрип-бар, открывающийся ежедневно в половине пятого. За всю жизнь её отшлепали всего несколько раз и не очень сильно, но в марте, когда миссис Ледбеттер позвонила папе и донесла, что его дочь катается на велосипеде перед этим зданием и заглядывает в дверь, когда там входит или выходит мужчина, он побелел и шлепнул её так, что зад жгло до самого вечера.

Д.Э. едет вдоль паводкового канала, в нескольких шагах от поворота перед пустым домом соскакивает с велосипеда, влезает на металлический ящик из-под молочных бутылок, заглядывает через шлакоблочный забор, а потом садится на него. Через несколько секунд спрыгивает на задний двор и, ушибшись коленом о твердую землю,

охаёт, а потом вскрикивает. В последнее мгновение она успевает откатиться от кучки щебня – иначе пришлось бы с плачем бежать на веранду к миссис Шепард, и старуха пришла бы на выручку с пинцетом и спиртом.

Посреди двора три молодых вяза, к задней стене дома прислонены выгоревшие почти добела доски. Перед раздвижной стеклянной дверью лежат три перекасти-поля, словно долго стучались в неё и в конце концов сдались. В верхнем углу двери наклейка: «Собаки не бойтесь. Дом охраняют Смит и Вессон». В прошлом июле, когда девочки бродили свободно, она, Кейси и Лорали пробрались на этот двор и запустили целую коробку петард М-80, которую нашли под трибунами в школе.

Все дома на Лакспер-Лейн более или менее одинаковы, и в этом, как у Дебры Энн, два окошка спальни выходят на задний двор. На них ни занавесок, ни жалюзи; пустые, смотрят на траву, бесстыдно и печально, как темные глазки мистера Бонэма, который живет в соседнем квартале, весь день сидит на веранде и грозит всякому, кто хотя бы одним колесом заедет на паршивую лужайку. Из-за солнца заглянуть в черное нутро дома невозможно, но легко вообразить, что убитый током мальчик смотрит с той стороны стекла и волосы у него до сих пор стоят дыбом. Прямо дрожь берет, сказала Лорали, когда они были здесь прошлый раз.

Дебре Энн хочется есть и пописать, но ей надо получше рассмотреть пустое поле между переулком и каналом. Да и картонная гадалка, которую она возит в корзинке, согласна. *Не сомневайся!* Когда Д.Э. спрашивает еще раз для надежности, вставив указательные и большие пальцы в четыре прорези, и считает до трех, гадалка подтверждает: *Да!* Иногда она задает ей вопросы, зная ответ – убедиться, что всё без балды.

Я выше буровой вышки? *Нет.*

Победит Форд на выборах? *Вряд ли.*

Папа когда-нибудь закажет в «Баскин-Роббинсе» не клубничное мороженое, а какое-нибудь другое? *Нет.*

С этого конца переулка ей виден угол клуба джентльменов за каналом. Сейчас стриптиз почти пустует – на стоянке всего несколько пикапов и автолебедек. У безбортового грузовика двое мужчин, один высокий, другой очень маленький. Высокий поставил ногу на бампер,

они разговаривают, передавая друг другу бутылку. Бутылка опорожнена, высокий уходит в клуб, а маленький бросает бутылку в стальной контейнер. Оглянувшись кругом, он перемахивает через изгородь, рысью бежит вдоль бетонного борта канала и скрывается в широкой водоотводной трубе.

Д.Э. перетаскивает большой картонный ящик из-под холодильника на середину поля и канцелярским ножом, который нашла в гараже миссис Шепард, проделывает в ящике окошко по размеру глаз. Влезает в ящик и ждет. Через несколько минут человек высовывается из трубы. Смотрит налево, направо, снова налево – как суслик, высунулся из норы, глядит, нет ли поблизости змеи, – и вылезает из трубы головой вперед, словно на свет родился. Когда он встает и потягивается, Д.Э. зажимает рот ладонью, чтобы не рассмеяться. Никогда не видела она такого маленького мужчины. Он низенький и тощий, печальный, как пугало, запястья – как куриные косточки, и весит, наверное, не больше ста фунтов вместе с ботинками. Если бы не щетина на подбородке – совсем мальчик.

В конце канала он пригибается, смотрит вдоль русла в одну сторону и в другую и взбегаёт по крутому склону. Поднявшись, он быстро идет вдоль изгороди к тому месту, где колючая проволока легла на землю. Дебра Энн знает это место. Она перепрыгивает там проволоку, чтобы срезать путь к передвижной библиотеке или к «7-Eleven».

У контейнера за клубом он останавливается, чтобы пописать. Потом, застегнув штаны, стучится в заднюю дверь клуба, и ему открывают. Дебра Энн вылезает из ящика, стряхивает пыль с футболки, потом, размахнувшись, бросает камень. Он долетает до середины поля и падает с мягким стуком, подняв пыль. Она не может понять, почему человек живет тут – или с ним что-то не так. Её папа говорит, надо быть наполовину глупым, наполовину сумасшедшим или наполовину мертвым, чтобы не найти сейчас работу в Одессе. Нанимают всех подряд. Может, он – и то, и другое, и третье, глупый, сумасшедший, больной – но, все равно какой, для неё он не опасен. Ей это душа говорит, она *утверждена* в этом, так же, как знает, что ничего плохого не может с ней случиться, если не наступать на трещины в тротуаре, и есть только растения, и не разговаривать с незнакомыми мужчинами. Уверенность её поколебалась весной с

отъездом Джинни, и для неё утешение – наблюдать за этим человеком и знать, что он её не обидит.

Она плюет на землю и подбирает другой камень. Этот долетает до мескитовых деревьев, где земля спускается к каналу. До конца лета перекину канал, говорит она вслух.

* * *

Всю неделю она бежит после школы наблюдать за ним. Первые три дня собирает информацию: когда он выходит? Всегда в одно время? Всегда идет в сисечный бар? Потом ждет случая разглядеть всё поближе.

Почти пять часов, и солнце бьет по макушке как кулак. Во рту и в горле пересохло до боли. Жар давит на грудь, стесняет дыхание, пропотевшая футболка высохла час назад, пот больше не охлаждает её – его не осталось. Она вытаскивает гадатель из кармана шорт, он сухой и ломкий в пальцах. Посмотреть его стоянку? *Да*. Посмотреть его стоянку? *Не сомневайся!*

Дренажная труба широкая – можно войти, чуть-чуть наклоняясь. Она видит мусорный мешок с грязным бельем и свесившимися носками. Рядом с мешком аккуратная стопка штанов и рубашек. Рядом с проволочным молочным ящиком пара ботинок; ящик перевернут, служит столиком; на нем керамическая чашка, бритва и два желтых конверта. На одном черным маркером надпись: «Рядовой первого класса Белден. Уволен». На другом: «Медицина».

Шагах в пяти он построил стенку, чтобы отгородиться от остальной трубы, которая выносит воду из города в поле во время ливней. Последнее время это означает – никогда. Последний раз, когда канал заливало, у Д.Э. на велосипеде были еще боковые колесики сзади. Приглядевшись, она узнает старый картонный ящик с прошлого лета – девочки бросили его, когда его помяла пыльная буря. На одном боку еще видна прыгающими буквами надпись Лорали «Укрытие» с большим улыбающимся лицом и двумя сердцами, пронзенными стрелами.

У картонной стенки – рюкзак и свернутый спальный мешок. Дебра Энн подходит к столу и осторожно проводит пальцем по

трещине в чашке для бриты. Берет бритву и маленькую черную расческу, вертит в руках, глядя на конверт с увольнительными документами. Может быть, он герой, решает она. Может быть, ранен на войне. С тех пор, как мама уехала, Д.Э. ищет, чем заняться в выходные дни. Нужно какое-то постоянное дело – может, он как раз и будет таким. Может, он для того и появился, чтобы помочь ей стать лучше, не бесить маму до такой степени, что она уезжает из города, никому не сказав, куда едет и когда вернется. Джинни вернется домой до фейерверка Четвертого июля? Да.

* * *

Первый подарок ему она оставляет в бумажном пакете перед входом в трубу и убегает к своей коробке – наблюдать, что будет дальше. Он открывает пакет осторожно, словно ожидает увидеть там тарантулов или, в лучшем случае, коровью лепешку. Но достает вместо этого банку кукурузы, жвачку, коричневый карандаш с тупым грифелем и с улыбкой озирается. Там и записка, сложенная пополам, с липкими от конфет краями, и Дебра Энн видит, как он читает её, шевеля губами. *Не беспокойтесь, мы о вас позаботимся. Напишите, что вам нужно, и положите под большой камень у забора. Никому не говорите. Д.Э. Пирс.*

Д.Э. смотрит, как он затачивает карандаш перочинным ножом, а позже, когда он стучится в заднюю дверь бара и входит туда, она бежит вдоль бетонного берега за запиской. Там: *Одеяло кострюля консервный нож спички, спасибо, храни тебя Бог. Джесси Белден, РПК, армия США.*

В понедельник после Пасхи она приносит всё нужное в бумажном мешке из «Пиггли-Уиггли». Туда же она положила два крутых яйца, кусок кукурузного хлеба в фольге, ломтик ветчины и наполовину оттаявшую запеканку с частично оторванным ярлычком миссис Шепард. Остались только буквы КОР, по ним он не сможет понять, кто это. Там же два спелых помидора и шоколадные зайцы из пасхальной корзинки, которую оставил на кухонном столе папа.

Он читает записку, а она радостно следит за этим из своего наблюдательного пункта в поле, шевеля губами вместе с ним. *Светлой*

Пасхи. Джесси Белден, РПК, армия США, вы замечательный американец. Вы любите окру и коричневые бобы? Искренне ваша Д.Э. Пирс.

В начале мая, через три недели после того, как она увидела его впервые, Д.Э., дождавшись, когда он войдет в трубу, спускается в бетонный канал с пакетом еды и двумя банками «Доктора Пеппера». Светит фонариком в трубу. Вы здесь? Голос её уходит в темноту. Я никому не скажу, что вы здесь. Вам нужна помощь?

Позже, когда они немного познакомятся, Джесси объяснит ей, что лежал на голом бетоне – так прохладнее, пересчитывал свои деньги и думал, как выручить свой грузовичок у Бумера, своего родственника, который говорит, что Джесси задолжал ему за два месяца постоя и еды. Джесси скажет ей, что лежал хорошим ухом на полу – мир тогда гораздо тише, – вот почему они друг друга не увидели, пока Д.Э. чуть не наступила на него.

Напугали друг друга до смерти, а? – говорит Джесси.

Я чуть не обоссалась. Она внимательно смотрит на него – не выругает ли за сквернословие, но он не ругает. Джесси, может, и взрослый, но ведет себя не так. Может, он глуповатый, думает она, и уж точно не знает, как разговаривать с детьми. Он говорит ей, что глаза у него были сухие, как пыль, на которой он спит, как полудохлая змея, которую кот притащил однажды утром и оставил у входа в трубу, и все же намокли, когда Дебра Энн посветила ему в лицо фонариком и спросила. Что для вас сделать? И Джесси, неделями не говоривший ничего, кроме да, сэр, нет, сэр, до сих пор страдавший от боли в ребрах после того, как его огрели трубой на парковке, и умолявший родственника остановить грузовик, – Джесси сказал. Я хочу домой.

Она не говорит, что наблюдала за ним неделями. Она говорит, да, сэр, и обещает, что всегда будет сидеть справа от него, чтобы её слова слышались так же чисто, как холодные ручьи, про которые он рассказывает ей – у него на родине в восточном Теннесси, где он жил с мамой и сестрой Надиной.

* * *

Ему двадцать два года, ей десять, и оба тощие, как спички. У обоих шрамик на правой щиколотке – у него после нехорошего воспаления в Юго-Восточной Азии, у неё от шутихи, когда она не успела отскочить. Они едят сэндвичи с колбасой и наблюдают за тем, как кот гоняется за лузгой, которую они выплевывают на бетон. Говорят, что надо бы добыть для кота ошейник – если потеряется, кто-нибудь позвонит Дебре Энн, и она придет за ним.

Она приносит шоколадные батончики, размякшие у неё в кармане, и они слизывают шоколад прямо с фольги. Когда она спрашивает, зачем он работает в стрип-баре, у него краснеет шея, и он смотрит в пол. Без грузовика он не может получить работу на нефтянке. Я там только полы подтираю и мусор выношу, а раньше с родственником баки промывал с соленой водой.

Он не говорит ей, что в Техас приехал потому, что в Теннесси нет работы, а Бумер божился, что деньги гребет почем зря. Не рассказывает и о двухнедельном пребывании в госпитале для ветеранов в Биг-Спрингсе, где спал на хорошей кровати, и давали хорошую еду, и разговаривал с доктором, который в конце проводил Джесси до грузовика, дал ему конверт и сказал: Тебе двадцать два года, сынок, и ничего с тобой нет такого, от чего не вылечит труд. Он не рассказывает Д.Э., что почувствовал на плече твердость и вес докторского университетского кольца. Сколько ехать до Одессы, спросил его Джесси, и доктор показал на запад. Шестьдесят миль, и не забудь запирать грузовик на ночь, сказал доктор, и Джесси пожалел, что не он его отец.

Д.Э. рассказывает ему, что искала вчера кота и увидела «Линкольн» миссис Шепард на дорожке перед домом. И удивилась – потому что миссис Шепард ездит только на грузовичке покойного мужа. Постучала в дверь, никто не отозвался, и подумала, что миссис Шепард захотела вздремнуть. А потом открыла дверь гаража, посмотреть, не найдется ли чего в морозильнике, и увидела, что миссис Шепард сидит в старом грузовичке мужа, и мотор работает. Как вы тут оказались, спросила Дебра Энн, а Корина посидела несколько секунд не шевелясь, потом вздохнула, сказала: Черт возьми, и выключила мотор. А *ты* как здесь оказалась?

Я ищу острый нож.

Корина показала на верстак с садовыми инструментами, все в пыли. Когда закончишь, верни, сказала она. И с ножом в руках не бегай.

Вы не видели кота?

Нет, не видела я чертова кота. Уйдешь ты, наконец, из моего гаража?

Джесси и Дебра Энн жуют бизонову траву – она надергала её на лужайке миссис Ледбеттер и принесла в пластиковых пакетах. Пьют апельсиновый сок из большой бутылки, которую дал Джесси один из барменов. Играют в покер – она стибрила колоду из ящика на кухне у миссис Шепард. Он показывает ей кожаный мешочек с агатами, собранными дома, около реки Клинч, так близко от их лощины, что можно камнем добросить. Выбирай два, какие понравятся, говорит он. Они приносят удачу.

До войны, рассказывает он, у него такой был слух, что дядя хвастал: Джесси за сто ярдов услышит, как олениха сбила хвостом слепня с задницы. Услышит, как клещ отпустил собачье ухо или сом булькнул в омуте. Он не рассказывает ей, что, вернувшись домой после трех лет за морем, зашел в лес и стоял там, ждал. И когда звуки наконец вернулись: ветка, сорванная ветром, упала на землю, олень пробежал в чаще, винтовка выстрелила за лощиной, – не мог понять, действительно ли слышит эти звуки или только вспоминает их. Стрекот цикад, кваканье лягушек в ручье, две вороны воют с голубой сойкой, пытающейся украсть их яйца, жужжание москитов и ос, плеск радужной форели, когда Джесси вытягивал её из реки... может быть, он слышал эти звуки, когда вернулся с войны, может быть, только хотел их слышать.

Д.Э. говорит ему, что всегда заглядывает в унитаз, перед тем как сесть: она слышала, что водяные щитомордники влезают через канализационную трубу и лежат, свернувшись под бортиком. Одна девочка в Стентоне села ночью пописать, и четырехфутовая змея укусила её прямо в письку.

В письку? Джесси помирает со смеху. Да, смеется Дебра Энн. Она раздулась, как клещ. Д.Э. набирает воздуха в грудь и надувает щеки. Потом переворачивает кота на спину и шарит в его меху. Нашупав шишку, вытаскивает и давит клеща, раздувшегося, величиной с ноготь; он лопается и обливает кровью её пальцы.

Она говорит, что спрашивала гадателя – мама вернется к фейерверку четвертого июля? В следующий раз она принесет гадателя, чтобы Джесси мог задать свои вопросы. Заберет ли он свой грузовик у Бумера? Успеет ли вернуться домой и поудить в реке Клинч до того, как похолодает и рыба перестанет клевать? Рассказывает ему, что все время ходит в библиотеку на колесах, и две пожилые дамы, которые там работают, незамужние сестры из Остина, даже грозили взять её на жалованье. Они позволяют смотреть столько книг, сколько хочется, и бывает так, что утром она уже сидит там на шаткой железной лесенке, когда подъезжают на своем «Бьюике» сестры. Иногда одна из сестер бросает ей ключи от трейлера и позволяет самой открыть дверь. А потом Дебра Энн ложится на пропахший псиной коврик перед охладителем и читает весь день.

В каждой книге есть хотя бы одно что-то хорошее, рассказывает она Джесси – она почти уверена, что он не умеет читать как следует. Любовные истории, дурные известия и коварные злодеи, сюжеты густые, как тина, места и люди, которых она хотела бы знать в реальной жизни, слова, от красоты и музыки которых хочется заплакать, когда произносишь их вслух.

Она встает, вытирает кровь клеща о шорты, протягивает руки над головой и произносит слова – из самых красивых, что ей довелось прочесть. «Сверчки считали своим долгом всех предупредить, что лето не может длиться вечно. Даже в самые красивые дни в году – дни, когда лето переходит в осень, – сверчки разносят весть о переменах и печали»^[6]. Понимаете, говорит она Джесси, я даже представить себе не могу место, где бывает осень, но печаль и перемену, по-моему, могу понять не хуже любого. Я тоже, говорит он.

* * *

Школа заканчивается в конце мая, и теперь она приходит к нему каждый день, хотя бы на час, до того, как он отправится на работу в 4.30. Кот дремлет на армейском мешке Джесси, а они сидят рядом на двух ящиках из-под молока, которые Джесси подобрал возле мусорного контейнера позади «7-Eleven». Джесси называет это место террасой, и она говорит, что терраса неплохая, хотя уже обдумывает

план пригласить его как-нибудь на обед, когда миссис Ледбеттер уедет по делам. Она хочет показать ему настоящую веранду, посадить в настоящее кресло за настоящим кухонным столом – показать, как это бывает.

Она приносит две вилки, и меньше чем за пять минут они съедают запеканку, которую она украла у миссис Шепард. Даже не оттаявшие куски вкусны, говорит он. Вот что значит сделано с любовью и старанием. Доев, она кладет на картонную коробку между ними кусочек листка из блокнота. Дает ему карандаш и слегка смущается, увидев мелкие следы от зубов на металлическом пояске. Говорит ему: напишите всё, что вам нужно. Принесу, если удастся.

А ты не можешь написать? Он возвращает ей бумажку и карандаш. Я устал.

Ему пригодилась бы старая простыня. Слишком жарко уже под одеялом, которое она принесла ему в прошлом месяце. И сигареты прекрасные добыла, хотя при ней он не курит. Можно еще таких? И еще кукурузного хлеба, если найдется, и коричневых бобов, и овощного маринада. Запить это всё чашкой пахты – и живи, радуйся.

А что вы ели самое вкусное в жизни? спрашивает она.

Наверное, жаркое с картошкой. Может, стейк, что мне дали на базе в тот вечер, когда вернулись с войны.

А сладкое?

Печенье с шоколадной крошкой, мама его делала на раз.

У меня тоже, говорит она, и оба на минуту замолкают. Она смотрит на его лицо, словно старается запомнить. Принесу вам зубную щетку, говорит она, и Джесси смеется. Единственный, кому было не наплевать, чистит Джесси зубы или нет, это его сержант; он без конца доставал Джесси. Теперь он дома, в каком-то городе Каламазу. Похоже на какое-то выдуманное место, говорит Д.Э., а Джесси отвечает, что сам так думал, но потом посмотрел в атласе и нашел его – в каком-нибудь дюйме от Канады.

Когда гудок возвещает о конце рабочего дня на заводе, Джесси говорит, что ему скоро на работу, но не помешал бы еще ошейник от блох для кота, если ей удастся добыть, и пару-другую банок с тунцом. И еще бутыль воды и, может, спрей от насекомых. Она всё это записывает, а потом замечает скорпиона, который вышел из трубы в том месте, где Джесси складывает мусор, – Джесси идет и давит его

ботинком. Д.Э. смотрит на свои тонкие пластиковые сандалии, на бледно-розовый лак, которым ей намазала ногти Кейси, и представляет себе, как скорпион взбегаёт ей на ступни, подняв хвост, чтобы горячо, мучительно ужалить. Она думает: как хорошо, когда тебя кто-то от чего-то спасает, даже если спасать тебя не надо.

* * *

Она может проехать на велосипеде без рук всю Лакспер-Лейн, даже поворот. Может сделать колесо двадцать шесть раз за минуту, висеть вниз головой на турнике чуть не до обморока. Может тридцать секунд простоять на руках, а на руках и голове – минуту, а на одной ноге – десять. Всё это она показывает ему на горячем бетонном дне канала. Может спрятать в карман шоколадный батончик в «7-Eleven», утащить в рюкзаке запеканку из дома миссис Шепард и, если футболка свободная, выслушать лекцию миссис Ледбеттер с банкой чили за поясом шорт.

В другой год, в обычный, она считала бы себя воровкой. Но когда Джинни уехала, Дебра Энн задумалась о том, что значит жить честно. Она убирает кухню, заботится, чтобы папа отдыхал в воскресенье. Ходит проводить миссис Шепард и играет с Питером и Лили – знает, что они воображаемые, ей все равно – у них остренькие уши и крылья, блестящие на солнце; они прилетают из Лондона в те дни, когда ей тяжело, когда она дергает брови, не может остановиться, и думает, где сейчас мама и какого черта она вообще уехала. Д.Э. немало размышляла над вопросом о мелком воровстве, вспоминая, чему их учили прошлым летом в недельной библейской школе, и поняла: воровать лучше, чем оставить человека без еды и без общества.

Днем, когда Джесси уходит на работу, она едет на велосипеде к Кейси или к Лорали – вдруг они дома. Едет домой и сидит по-турецки на полу в гараже, роется в старом сосновом сундуке с вещами Джинни. Хочет послушать пластинку Джонни Митчелла, вырученную из мусорного ведра на кухне, но музыка напоминает ей, как они с Джинни разъезжали по западному Техасу, убивали время, смотрели, что было посмотреть. Читает в «Лайфе» статью о праздновании двухсотлетия независимости в Вашингтоне. Съедает хлеб с маслом,

посыпанным сахаром, и аккуратно вытирает со стола просыпавшийся сахар. Закончив, идет к дому миссис Шепард с банкой «Доктора Пеппера» и пакетом чипсов и, если видит, что пикапа нет, забирается в боярышник изгороди, лежит в пятнистой тени и думает о Джинни, пока щеки и подбородок не покроются грязью из пыли и слез. Здесь хорошо плакать – одна, прохладно и никто не видит.

Люди стареют и умирают. Мистер Шепард уже был болен до несчастного случая на охоте, но не хотел об этом говорить. У него выпали волосы, стал ходить с палкой, всё забывал, а под конец не всегда мог назвать Дебру Энн по имени. Все знали.

Мужчины всё время погибают – в драках, при взрывах трубопроводов, утечках газа. Падают с градирни, или хотят перебежать перед поездом, или спяну решают почистить пистолет. Женщины гибнут, когда болевают раком, или неудачно выходят замуж, или садятся в машину к незнакомцам. Папу Кейси Нанелли убили во Вьетнаме, когда она была еще грудной, и Дебра Энн видела его фотографии у них в передней – школьный снимок, прямо перед тем, как он отправился в лагерь начальной военной подготовки; свадебное фото, когда он приехал в отпуск, и самое любимое у девочек – снимок его в аэропорту Даллас/Форт-Уэрт: в зеленой форме с одной нашивкой на рукаве, с зубастой улыбкой показывает камере грудную дочь.

Я его совсем не знала, говорит Кейси. Для неё Дэвид Нанелли – это флаг, который миссис Нанелли держит сложенным в комode. Это три медали в деревянной коробочке, обитой изнутри пурпурным атласом, и краска, облезающая с деревянной отделки их дома. Он – работа миссис Нанелли в боулинге, в продовольственном магазине, в универмаге, и её молитвы о помощи в десятках разных церквей, одна другой строже. Он – это длинные юбки Кейси, даже летом, как у всех адвентисток, женщин и девушек, и церковь по субботам, а не по воскресеньям. Он в словах, что Кейси говорит Дебре Энн: всё было бы по-другому, если бы...

Когда умирают люди, есть доказательство и ритуал. Хозяин похоронного бюро надел на бабушку Лорали её любимый парик и блузку. Он попытался спрятать её рак под толстым слоем пудры и уложил её руки на груди – одна морщинистая бледная рука поверх другой. Лорали сообщила, что бабушкина щека холодная и резинистая, и Дебра Энн взяла уже Кейси за руку, чтобы та потрогала в гробу, но

миссис Ледбеттер схватила обеих девочек за мягкое место над локтями, сильно сжала и, наклонившись к Дебре Энн, прошептала ей в ухо: Это что тебе взбрело?

А Джинни Пирс не умерла. Она уехала – уехала из города, оставила записку и большую часть своих вещей, оставила Дебру Энн и папу. Теперь миссис Шепард потрепала её по плечу и предлагает подровнять ей челку, а миссис Нанелли поджала губы и качает головой. В воскресенье утром папа готовит им завтрак. Днём по воскресеньям они жарят бифштекс на решетке и едут в «Баскин-Роббинс». Вернувшись, он садится в гостиной, слушает пластинки или идет на задний двор мистера Ледбеттера пить пиво.

Дебра Энн не хочет, чтобы в доме был хаос: мама приедет, увидит его, повернется и снова за дверь; так что она наводит в доме порядок и думает, как помочь Джесси вернуть грузовик. Она беспокоится за отца – он мало спит, и за миссис Шепард, которая, бывает, притворяется, что её нет дома, даже когда Дебра ложится на пол веранды и кричит: я вижу ваши кеды под дверью! Ждет, что позвонит мама, каждый раз бежит к телефону и, услышав в трубке голос отца, вздыхает. Она обдумывает, как ей говорить, когда мать наконец позвонит домой. Она ответит будничным голосом, как будто Джинни звонит с телефона администратора салона и спрашивает, купить ли в дом мороженого. Когда она позвонит, Дебра Энн отзовется приветливо, но без ликования, и задаст вопрос, который не отпускает её с 15 февраля, когда пришла с баскетбольной площадки раньше обычного и нашла пришпиленную к подушке записку от Джинни.

Когда ты вернешься домой?

Джинни

Утро воскресенья 15 февраля – это будет слабым утешением, что она не одна такая. И до неё многие женщины так убегали. Сейчас, въезжая в пожарный проезд к начальной школе имени Сэма Хьюстона с двумя чемоданами в багажнике и обувной коробкой семейных фотографий, Джинни Пирс могла бы вспомнить много историй о таких беглянках. Но она не из их породы. Она вернется через год, самое большее – через два. Как только найдет работу, жилье и скопит немного денег в банке, – приедет за дочерью.

Мама, почему ты плачешь? спрашивает Дебра Энн. Это аллергия, детка, а Д.Э. трясет головой, как обычно, с горячностью – февраль ведь, рано для аллергии – словно ставя точку. Джинни сглатывает ком в горле. Можешь подбежать на минутку? Посмотрю на твое личико?

Дочери почти десять. Она запомнит этот день: они на переднем сиденье в разболтанном капризном «Понтиаке», на котором Джинни ездит со старших классов школы и на котором теперь собирается сбежать. Д.Э. запомнит, как мать вдруг притянула её к своему плечу. Джинни запомнит, как отодвинула легкие каштановые волосы с глаз дочери, запах овсяной каши и мыла «Айвори», шоколад на подбородке – дочь всё утро ела сладкие сердечки по случаю Валентинова дня, – щеки, блестящие от солнцезащитного лосьона, которым Джинни намазала её перед выходом. Джинни протягивает руку, чтобы стереть шоколад с подбородка дочери. Рука дрожит, и она думает: возьми её с собой. Как-нибудь всё устроится. Но Дебра Энн уходит с криком: Перестань! Потому что для неё это – обычное воскресное утро, и мать будет приставать, как обычно. Для неё даже слезы Джинни – привычное дело.

Дверь машины захлопнулась, чуть не прищемив палец Джинни. С рюкзаком на одном плече Д.Э уходит, стуча баскетбольным мячом по бетону, мяч выкатывается на пыльную спортплощадку, небрежно вскинута рука, дочь уходит от машины. Пока, мама. Пока, Дебра Энн.

Бабушка Джинни не очень любила рассказывать о женщинах, которые справились с жизнью, но о тех, которым не удалось? Их образ четок, словно тавро в памяти Джинни.

Весной 1935-го жена скотовода подала обед дюжине работников и повесилась на передней веранде. Даже посуду не вымыла, рассказывала бабушка, – сложила тарелки в раковину, сняла фартук, пошла наверх, переодеться в любимое платье. Как будто в этом было дело, в раковине, полной посуды. А позже днем пришел пастух налить воды в бочку и увидел её: стул из кухни, опрокинутый на веранде, ветер медленно поворачивает женщину туда и сюда, из-под юбки выглядывает одна босая нога. Два дня искали пропавшую туфлю, рассказывала бабушка, и Джинни представляла себе коричневую лодочку, отброшенную на двор и присыпанную песком.

Другая женщина оставила записку, что хочет увидеть хоть какую-нибудь зелень – кизил, магнолию, клочок августиновой травы. Она оседлала лучшую кобылу мужа, ударила каблуками, и понеслась по пустыне, и налетела на колючую проволоку перед самым Мидлендом. Там легко потеряться, сказала бабушка, если не знаешь, куда едешь.

Даже тех женщин, которые держались правил, не обходили бабушкины рассказы. Женщины пропадали в мокрой метели по дороге домой из церкви. У них кончались дрова и еда посреди снежной бури. Они хоронили младенцев, которых подхватывал смерч и расшибал о землю, хоронили детей, которые вышли на двор во время пыльной бури и задохнулись землей своего же двора. Иногда Джинни думала, что бабушка не умеет рассказать историю с хорошим концом.

* * *

За ветровым стеклом вытянулась, как труп, трасса I-20. Небо спокойное, не мигает. Впереди – ничего, только пустынная дорога, о которой она мечтала, но сейчас едва видит её. Она включает радиостанцию колледжа, и кабину наполняет голос Джони Митчелл, ясный и отчетливый, как церковный колокол или пение в церкви, – и непереносимый. Джинни едва успевает его выключить. Теперь только ровный дорожный шум и тревожный тихий скрип под капотом. Она

нажимает на газ, скрип становится громче, и она, задержав дыхание, скрещивает пальцы.

Перед дорожкой к дому Мэри Роз Уайтхед она включает поворотник, снимает ногу с педали газа и думает, не повернуть ли. Она представляет себе, как подъедет по грунтовке к дому и постучит в дверь женщины, с которой они когда-то стояли у школы, ожидая: Мэри Роз – свою мать, а Джинни – бабушку, которые заберут их отсюда навсегда.

Последний звонок еще не прозвенел, и они стояли одни на площадке: в сумках физкультурные костюмы и содержимое шкафчиков, у обеих носы красные от слез, пролитых в кабинете медсестры. Мэри Роз вертела и вертела в руках висячий замочек. Ей было семнадцать лет и, как выяснилось тридцать минут назад, беременна настолько, что кто-то уже может заметить. Я думала, жизнь у меня начнется неизвестно еще когда, сказала Мэри Роз, но не сегодня же. Понимаешь? Джинни, которой только что исполнилось пятнадцать, покачала головой и уставилась в землю. Она пыталась представить себе, что скажет об этом бабушка, – Джинни совершила ту же ошибку, что и её мать, погибшая в автомобильной аварии десять лет назад.

Мэри Роз нагнулась и почесала щиколотку. Потом выпрямилась, размахнулась и швырнула замок в дверь пикапа. Он отскочил, не оставив на железе отметины. Да, сказала Мэри Роз, похоже, началось у нас.

Да, началось у нас, думает Джинни и жмет на газ.

* * *

И все-таки, когда с криками, слезами и угрозами было покончено, ребенок получился отличный. Джинни и Джиму Пирсу даже не верилось. Глядите, что они сделали. Они сделали человека. Дочь! И они вынули «Короля Якова» из ящика с перевезенными вещами и стали искать красивое крепкое имя. Дебора, *Воспрянь*, *воспрянь*, *воспой песнь*! Но секретарь в округе записал: «Дебра», а у них не было еще трех долларов, чтобы заказать новый документ, так что – *Дебра*, и Джим пошел работать на нефтепромыслах, а Джинни хлопотала по дому.

Днем, когда дочка спала, Джинни любила посидеть спокойно и посмотреть журналы с фотографиями мест, о которых она даже не слышала. Листала книги по искусству из передвижной библиотеки, с фотографиями фресок, картин и скульптур. Листала медленно, дивясь тому, что кому-то в голову пришло такое сотворить, и думала: представлял ли себе художник, что на его работу будет смотреть кто-то вроде неё. Джинни любит дочь, но чувство у неё такое, как будто она сидит в бочке с дождевой водой, а дождь всё моросит и потихоньку её наполняет.

И по этой вот причине – не столько из-за мужчин, которые посвистывают всякий раз, когда она вылезает из машины, чтобы заправиться, не из-за ветра бесконечного и неотступной вони природного газа и сырой нефти, не из-за одиночества даже, в котором изредка бывает просвет, когда Джим приходит с работы или Дебра Энн влезает к ней на колени, хотя уже большая и дольше минуты усидеть не может, – Джинни берет пятьсот долларов с их общего счета, дорожный атлас с полки и мчит из западного Техаса, словно спасая свою жизнь.

* * *

Один человек разводил телят и коров на том же участке земли, где жил с женой и тремя детьми. В засуху 1934 года цена на скот упала до двенадцати долларов за голову – доставить животное на скотопригонный двор в Форт-Уэрте стоило дороже. Им стреляли в лоб, рассказывала бабушка, – стреляли иногда правительственные люди, приехавшие убедиться, что поголовье сокращено, но чаще сами скотоводы, считавшие стыдным передоверять грязную работу чужим. Стояли над трупами с тряпками, намоченными в керосине, и мешкали, словно всё могло измениться, если подождать еще минуту, день, неделю. Вздохнув, поджигали тряпки и отступали от огня, качая головами. Но всегда какой-нибудь старый бык не хотел умирать, мычал и шел, шатаясь, под пулями, впивавшимися в его старую шкуру, в бок, в лопатку, в сердце. Всегда какая-нибудь старая корова, как будто мертвая уже, вставала и брела по полю с дымящимися боками,

оставляя за собой вонь паленого волоса. Вот это всё, говорила бабушка, и весь день ветер, каждый день.

Однажды утром приехали люди из Остина и увидели в поле кучу еще дымящихся животных. Мертвый хозяин ранчо лежал в сарае. В двух шагах от него лежала жена, все еще сжимая в руке пистолет; дверь дома распахнута, и ветер бьет её о раму. Детей они нашли запертыми в спальне наверху, и старший, мальчик семи лет, дал им конверт с деньгами на железнодорожные билеты и обрывок прейскуранта. Нацарапана короткая записка с именем и адресом сестры в Огайо: Я люблю моих детей. Пожалуйста, отправьте их домой.

Бабушка Джинни была старуха с длинными зубами, верила в ад, в усердный труд и в кару по заслугам. Если дьявол постучал к тебе в дверь среди ночи, любила говорить она, значит, ты заигрывала с ним на танцах. Произнося этот вывод, она дважды хлопала в ладоши, чтобы Джинни вняла.

Я не поеду, сказал работникам старший мальчик. Я останусь тут, в Техасе. Ну, ладно, сказал один из работников. Тогда пойдем ко мне домой.

Вот тебе и хороший конец, Вирджиния.

* * *

Она не отъехала еще и на тридцать миль от Одессы, как нытье под капотом перешло в нудный вой, не утихший, когда она сбавила скорость до пятидесяти, потом до сорока пяти, до сорока. Фуры сигналият и обгоняют справа, ветер от них встряхивает её машину и норовит снести к осевой. И вдруг звук прекращается. Машина вздрагивает раз, словно стряхнув с себя неприятности, и едет дальше – пятьдесят миль в час, пятьдесят пять, шестьдесят.

Солнце глядит на неё, плосколицее, мягкое. Сейчас Дебра Энн, наверное, уже обыграла всех соседских девочек в баскетбол. Или сидит на трибуне, ищет в рюкзаке сэндвич, который положила ей Джинни. Или идет домой, стуча баскетбольным мячом по тротуару. Года два еще Д.Э. будет хорошей. Она взяла лучшее от обоих родителей: от паренька, который был квотербеком во втором составе, и

от девушки, любившей Джони Митчелл – двух юнцов, почти незнакомых, перепивших «Джека Дэниелса» на школьных танцах и поехавших через нефтяной участок в самую сильную мокрую метель 1966 года, – история обычная, как пыль на оконном стекле.

Какая женщина сбегает от мужа и дочери? Такая, которая понимает, что мужчина, делящий с ней ложе, – мальчик и навсегда останется мальчиком, от которого она забеременела. Такая, которой непереносима мысль, что когда-нибудь придется сказать дочери: пусть это всё послужит тебе уроком. Такая, которая верит, что вернется, как только подыщет место, где можно осесть.

* * *

Подумать если – у певцов кантри-энд-вестерн, этих поставщиков печальных песен и баллад об убийствах, где хорошая женщина становится на кривую дорожку и получает по заслугам, – нет у них ничего о бабушке и, как выясняется, о Джинни.

Год был 1958-й, и родители Джинни умерли меньше года назад. Бум уже начал спадать, в город наезжало меньше чужих, меньше буровиков и подсобных рабочих, чтобы потратить здесь свои заработки и побузить, но Джинни была еще мала и держалась за бабушкину руку, без особых оснований, так, на всякий случай. Они шли в аптеку, срезав по лужайке перед муниципалитетом, – еженедельный поход за таблетками для дедушки и, может быть, лакричной тянучкой для Джинни. Было начало лета, ветер иногда затихал на минуту-другую, солнце еще мирно грело им лица, когда они остановились посмотреть на просвечивающие узкие листья пеканов. И чуть не споткнулись о женщину, спящую в траве, свернувшуюся, как старый щитомордник.

Джинни так это запомнила: она нюхнула воздух, пахло мочой и перегаром. Она посмотрела на босые ноги дамы. Ярко-красный лак облупился на пальцах ног, юбка задралась над костлявыми коленями. Острая ключица подымалась и опускалась, тонкий шрам на шее напомнил Джинни о карте штата, висевшей в первом классе. Почему-то захотелось разбудить её и сказать: Леди, у вас шрам на шее похож формой на реку Сабин. Он чудесный. Но бабушка стиснула её руку и

потащила прочь, а губы у бабушки сжались в ниточку. Эту, сказала она, хорошо заездили, до мыла.

Джинни много дней раздумывала над смыслом этих слов. Иногда ей нравилось вообразить, что эта дама оседлана и хочет пить, её платье замялось под шерстяным потником, в зубах удила, пот течет между глаз, а на ней старый наездник, и скачут по полю нефтяных вышек. А иногда вспоминала, как женщина лежала, свернувшись под пеканом, и ногти на ногах были точно такого красного цвета, как у игрушечного фургончика, который она возила по двору. Бабушка оттащила её от спящей почти так же торопливо, как от дедушкиного сарая, когда бык стал залезать на корову.

Если бы бабушка не была так занята, не было бы у неё дел выше головы – с Джинни, с пылью, со стиркой мужних рубашек, перепачканных нефтью, Джинни, может, и спросила бы её, почему она так сказала. Но молчала об этом и вспоминала две костлявые коленки, извилистый шрам на горле женщины, спавшей в тени пекана. Для Джинни женщина была красивой. И такой осталась.

* * *

Через несколько миль после месторождения Слотер-Филд буровые вышки и качалки сменяются пустыней. За Пекосом дорога идет с подъемами и спусками. Горизонт зазубренный, земля коричневатая и неровная. Как пустынно здесь. Как красиво.

Джинни держит обе руки на руле, то и дело посматривает на указатель температуры. Она останавливается на заправке в Ван-Хорне, сидит в кабине, руки на руле, пока заправщик наполняет бак и моет окна. С повисшей в губах сигаретой проверяет давление в шинах и спрашивает, нужно ли ей что-то еще. Комбинезон на нем такого же серого цвета, как глаза Дебры Энн, а на грудном кармане нашивка «Галф-ойл». Нет, спасибо, говорит она и дает ему пять долларов.

Он показывает на заднее сиденье. Вы забыли вернуть книгу в библиотеку перед отъездом. Джинни оборачивается и видит «Искусство в Америке» среди конфетных оберток и рядом контрольную Дебры Энн по правописанию; с отметкой, «отмененный» и «злоупотребление» – с ошибками.

Среди скотных дворов перед Эль-Пасо она наглухо закрывает окно – глаза щиплет от аммиачного запаха, проникающего через вентиляцию. Она в десяти милях от границы с Нью-Мексико, так далеко от дома она никогда не бывала.

* * *

Красота! Красота не для таких людей, как мы, говорила бабушка, когда Джинни пыталась объяснить, почему ей нравится сидеть и рассматривать картинки. Ты бы лучше смотрела на то, что вокруг тебя, говорила старуха. Если хотела проводить жизнь, думая о таких вещах, надо было раньше подумать – или родиться где-нибудь в другом месте. Может быть, это и так, но цена больно велика, и, может быть, Джинни не согласна выбирать между миром и дочерью, потому что ясно: либо одно, либо другое.

Когда вентиляторный ремень все же лопается на выезде из Лас-Крусеса, Джинни съезжает на тряскую обочину шоссе. Она выходит из машины, смотрит, как поднимается над пустыней луна, похожая на разбитый сердолик, и такой в ней страх, такое горе и тоска, что она не запомнит человека, с хрустом щебня остановившего свой грузовик позади её машины. Не запомнит слов на борту грузовика: «Гарза и О’Брайен, Буксировка и Ремонт», и как он принес ящик с инструментами и здесь же заменил ремень, – а она стояла, прислонясь к багажнику, смотрела на звезды и плакала беззвучно. И не запомнит, что он сказал, когда попыталась дать ему несколько долларов. Девушка, я не возьму с вас денег. Pues^[7], счастливо.

* * *

Она повидает сотни и сотни миль неба, прежде чем сумеет наконец остановиться. Флагстафф, Рино, недолгая и несчастная задержка в Альбукерке, которую старается забыть. Недели и месяцы ночевки в машине после дня уборки в чужих домах или вечера работы официанткой. Она проедет пустыню Соноры с оврагами и сухими руслами, впадающими в крутостенные каньоны. Будет сидеть над

откосом Колорадского плато, покрытого первым снегом. Дорога, ведущая прочь, петляет так круто, что приходится остановиться и сдать назад, убедиться, что нет встречной, прежде чем повернуть.

Будет бар в Рино, куда каждый вечер в девять часов приходит старуха и сидит до закрытия – морщинистые губы в помаде, ногти цвета крови, улыбка жесткая, скупая, неподдельная, как та, которую видит Джинни в зеркале по утрам. Всё это ей кажется красивым – небо, море, пьяницы и старухи, музыканты на станциях метро, музеи. Она увидит мосты, накрытые туманом, густые леса, темные, кишящие жизнью, с подпочвенной водой. У каждого места небо свое, и земля по большей части не такая бурая и плоская, как в Одессе, в штате Техас. Столько дикой красоты и зелени, но все время в сердце дыра размером в детский – девочкин – кулачок. Джинни заездит свой «Понтиак» до смерти и будет горевать по нему. Никогда, думает она, не полюблю я мужчину так, как любила мою машину. И когда люди, встреченные на пути, интересуются ею, когда хотят узнать её – некоторые будут любить её, и некоторых она полюбит, но не так сильно, как дочь, которая подрастает с каждым днем – без неё, – когда они спрашивают: «расскажи о себе» или «откуда ты родом», Джинни всякий раз не знает, что сказать. И всякий раз собирает вещи в машину и уезжает.

Мэри Роз

Сегодня ночью ветер дует так, как будто хочет что-то доказать. Среди ночи дочка приходит ко мне – опять страшный сон, – и я сразу отворачиваю одеяло, говорю: Здесь ты в безопасности, в городе нам безопасно. Забираю маленького из колыбельки и кладу с нами – правда, теперь его придется убаюкивать. Кровать просторная, дети и я, все помещаемся. У нас есть всё, что нам нужно.

Слава богу, телефон зазвонил, когда дети уже крепко спят. Я беру трубку и слушаю. Хочу запомнить их голоса, на случай, если встречу их на улице, в магазине, в суде. Мужские и женские, молодые и старые, они говорят примерно одно и то же. Будешь свидетельствовать за эту мокрицу? Её словам поверишь больше, чем его?

Чем пьянее они, тем противнее. Я врунья и предательница. Они знают, где я живу. Я гублю жизнь парню, потому что у девки не получилось, как хотела. Я дам показания против одного из наших ребят в пользу сучонки – или еще какое грязное слово найдут. Язык этот я слышу всю жизнь и не обращала внимания, но теперь он мучает слух.

Сегодняшний звонит ночью, сильно под газом. Ты целуешь свою маму этим ртом? спрашиваю, когда он умолкает, чтобы отдышаться или глотнуть пива. И кладу трубку. Когда телефон звонит снова, я лезу рукой за тумбочку и выдергиваю вилку. Часы в приемнике показывают красными цифрами час тридцать, бары только что закрылись.

Не уснула. Подтягиваю одеяло на детях, кладу подушку между маленьким и краем кровати. В кухне и в гостиной свет уже горит, но иду по дому и зажигаю везде: в спальне Эйми, в ванной, в прихожей. В комнате маленького не зажигаю – там возле пеленального стола и так горит ночничок. В гостиной я отодвигаю мою новую штору и проверяю раздвижную стеклянную дверь на задний двор. Новая парадная дверь не подогнана к дверной коробке – проверяю и её. Как-то ночью на прошлой неделе я легла спать в уверенности, что она заперта, но в два часа, когда встала в уборную и проверила маленького, дверь была распахнута. Остаток ночи я просидела на кухне с чашкой кофе. Старая Дама лежала у меня в ногах, как верный пёс. Открываю

дверь – убедиться, что лампочка на веранде не перегорела, – и плотно закрываю, запираю, проверяю ручкой, заперлась ли, проделываю это еще раз.

Ветер перебегает от окна к окну, словно зверек точит коготки о сетку. На ранчо ты слышишь этот звук и думаешь, там опоссум или броненосец. Здесь, в городе, можно подумать, белка или чья-то кошка. Последнее время ветер наводит меня на мысли о животных, которых нет здесь уже сто лет – о пантерах и волках, – или о смерче, который поднимет моих детей на немыслимую высоту и бросит на землю. Включаю прогноз погоды, стою на кухне с сигаретой, пью пиво из банки – Роберт хранит их здесь. *Мое* пиво, Мэри Роз, говорит он. Человек не хранит вещи в *своем* доме. Я наклоняюсь над раковиной и выдуваю дым в слив. Роберт платит аренду, но я не считаю, что дом – его. Он принадлежит мне и моим детям.

На прошлой неделе мне показалось, что видела стоявший на улице грузовичок Дейла Стрикленда, а потом его же на парковке перед залом бинго «Страйк-ит-рич». Вчера увидела его на дворе у миссис Шепард, стоял и смотрел на мой дом. И в других местах его видела. Но он же в тюрьме. Я звоню туда каждое утро и потом днем – убедиться, что он не сбежал, что судья не выпустил его под залог.

И Глорию Рамирес вижу. Вчера утром постучалась ко мне Сюзанна Ледбеттер с тарелкой печенья, и я несколько секунд стояла, взявшись за ручку, думала, что там может быть Глория, не девушка – обломок крушения. А днем вчера миссис Шепард прислала ко мне дочку Джинни с запеканкой – третью за три недели прислала старая нетель, я их сразу в мусорное ведро отправляю, – и я стояла, моргала несколько секунд, глядела на высокую темноволосую девочку у меня на пороге. Дебра Энн очень похожа на мать – высокая, широкоплечая, с темно-каштановыми волосами и серыми глазами – кажется, они смотрят сквозь тебя. Я знала твою маму в школе, сказала я. Однажды она помогла мне в очень тяжелый день. Я беру у неё тарелку, благодарю и мягко закрываю дверь. Глория могла быть любой из наших девочек, думала я и сидела в прихожей, плакала, пока не подошла Эйми и не встала надо мной. Тебе грустно? спросила она. Да нет, я сказала, нет, потому что она моя дочь, еще ребенок. Она спросила, не позвонить ли нам бабушке, моей матери, чтобы, может быть, приехала, помогла нам. Ни в коем случае, сказала я. У бабушки и

так хлопот полон рот. Я напомнила ей, что на бабушке два моих младших брата, все еще живут дома, и папа мой работает, развозит воду по всему западному Техасу, и трое детей моего брата, который бурит нефть в Южной Америке. Если бабушку позовем, я говорю, она подумает, что стряслось что-то. Со своими делами разберемся сами.

А что за девочка приходила? Эмми наблюдала из кухонного окна.

Не знаю, соврала я. Какая-то девочка из соседских.

Она, по-моему, моя ровесница. Симпатичная?

Не знаю, Эйми. Выглядит высокой для своих лет, с широкой костью.

Не хочу, чтобы дочь заводила друзей. Заведет друзей – захочет бегать по всему району, а я не могу её отпускать. Я не говорю ей, что Дебра Энн Пирс – копия своей мамы, тихой задумчивой девочки, вечно с книгой в руке. Не говорю ей, что не могу соединить ту девочку-подростка, которая стояла со мной на школьной парковке, с женщиной, бросившей дочь.

Эйми прыгала с ноги на ногу, подскакивала, как теннисный мячик. Можно я выйду, спрошу, хочет она покататься со мной на велосипеде?

На улице? Я положила руку ей на макушку, чтобы перестала прыгать. Может быть, через месячишко, сказала я. Ведь у нас тут всё есть, что нам нужно?

Мне скучно, сказала она, и я пообещала, что позовем кого-нибудь на её день рождения в августе. Если купим духовое ружье, как ты просила, может быть, она сама придет, и постреляете по банкам на заднем дворе.

Мама, но ведь только июнь еще! Дочь сказала это так, словно я живу до сих пор в феврале, ни месяца не помню, ни числа.

С девочками еще успеешь познакомиться, а у нас с тобой – я взяла в ладони её бледные мягкие щеки и заглянула в её голубые глаза – сколько времени нам с тобой осталось пожить вместе? Тебе скоро десять.

Мне будет первое двузначное число, сказала она.

Я не дам тебя в обиду, Эйми, – сказала я. Никогда не дам тебя в обиду.

Ни сегодня, ни завтра?

С тех пор, как мы переехали в город, это стало у нас таким маленьким ритуалом. Я говорю: не дам тебя в обиду, а Эйми отвечает: Ни сегодня, ни завтра? Но в тот день она нахмурилась, как будто собиралась спорить. Тут захныкал маленький, явно готовясь разреваться. Это был удобный повод выйти из комнаты.

И сейчас слышу этот плач, голодный плач, и, хотя груди уже болят от одного этого звука, иду к нему. Через полчаса мы заснем, он – с моим соском во рту, Эйми – прижавшись к моей спине, ноги положив мне на щиколотки, рукой обхватив мне шею. Да, и сегодня и завтра. Всегда.

Когда я освобождаюсь от маленького и ухожу на кухню, на часах 5.30. Солнце взойдет меньше чем через час, могу посидеть, выкурить сигарету, пока он не проснулся. В прежнем доме, в пустыне, бывало, сидела на дворе, слушала, как возятся в кустах мелкие животные, а пустыня делается розовой, оранжевой и золотой. Один раз я видела, как пара кукушек-подорожников сообща убили и съели маленькую гремучую змею. Звуки там казались мне подлинными звуками мира – мир так и должен звучать. И чувство это жило во мне до того утра, когда в мою дверь постучалась Глория Рамирес. Даже вздохи качалок и шум грузовиков, везущих трубы по нашей земле, не мешали мне так, как здешние, городские звуки – гудки машин, крики, сирены и музыка из баров на Восьмой улице.

Полотенца в стиральной машине прокисли, на столе ножницы, цветные карандаши, обрезки цветного картона – остатки от последнего школьного проекта Эйми, диорамы битвы за Голиад. Я убираю их, пока заваривается кофе, и, уже сев, вспоминаю о ведре под каплюющей раковиной в ванной. Вытащив ведро и вылив в ванну, на секунду останавливаюсь. Когда я мылась в ванне последний раз и красилась утром? Опускаюсь, сказала бы мать, – но ради кого прихорашиваться? Эйми и маленькому это все равно, а Роберт до сих пор видеть меня не может – зол, что открыла дверь ипустила девушку в дом. Винит её в наших неурядицах.

Церковь, в которой я выросла, учила нас, что за грех, если даже он случился только в твоём сердце, наказан будешь все равно. Милость никому из нас не гарантирована или, может, большинству из нас, и если надежда на спасение дает тебе силы бороться, ты должна надеяться, что грех, засевший в твоём сердце, как пуля, которую

нельзя вынуть, не убив тебя, – не смертный грех. Церковь была не щедра на милость. В дни после этого преступления, когда я пыталась объяснить Роберту, что у меня на сердце, когда говорила, что согрешила перед этой девочкой, предала ее в душе, он сказал, только в том мой грех, что открыла ей дверь, не подумав сперва о своих детях. Настоящий грех, сказал он, это когда люди позволяют своим дочерям болтаться всю ночь на улице. С тех пор смотреть на него сил нет.

Помощник шерифа забрал Стрикленда без сопротивления. Когда Эйми позвонила шерифу, она наговорила дежурному с три короба и про девушку, которая сидит напротив неё за столом в кухне, и про мужчину за окном. Где сейчас этот человек? спросил дежурный и, услышав, что на дворе с её мамой, поднял тревогу. Помощник шерифа подошел к молодому человеку и приставил к груди ему револьвер. Сынок, сказал он, не знаю, глупый ты или сумасшедший, только убери с лица дурацкую свою улыбку. Ты вляпался в серьезную историю.

Помощник шерифа не ошибся. Новый районный прокурор Кит Тейлор предъявил ему обвинение в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами и в покушении на убийство. Секретарь мистера Тейлора Амелия звонит мне каждые несколько дней, сообщает о новой отсрочке судебного разбирательства и задает вопросы о Глории. Знала ли я её раньше? Что она мне сказала? Угрожал ли мне Дейл Стрикленд?

Идите в дом и приведите её мне, сказал он. Прямо сейчас. Не разбудите мужа, который спит наверху, который не спит наверху, и его даже в доме нет. Иди туда, Мэри Роз, возьми девочку за руку, поставь на две ноги и веди сюда.

И я была готова это сделать.

Когда наступает утро, я обхожу дом и везде выключаю свет. Роберта хватит удар, когда увидит, сколько нагорело. Нам не по карману снимать дом в городе, скажет он, особенно в этом году. У нас уже есть дом. Да, но он *там*, я говорю, и ты хотел перевезти нас в город еще до того, как это случилось, и тогда Роберт напомним мне, что раньше я любила наш дом и что сейчас ему нельзя быть вдали от стада. На те три дня, когда я рожала сына и отлеживалась, он оставил ранчо на работника, а тот ушел работать на нефтяной участок. У коров в открытых ранках кишки личинки мясных мух, и в ушах, и даже в гениталиях. Роберт потерял пятьдесят голов скота. Годовая прибыль

псу под хвост, повторяет он каждое воскресенье, когда приезжает в город с мешочком конфет для Эйми и цветами для меня.

Я говорю, спасибо. Ставлю их в воду, и стоим в разных концах комнаты, – он думает, как я погубила семейную жизнь, а я – что он предпочел бы оставить эту девочку на крыльце и чтобы мы с Эйми стояли за запертой дверью.

По воскресеньям Роберт смотрит на маленького так, словно только что купил призового бычка на аукционе. Несколько минут держит моего сына на коленях, любуется его крупными ручками – руки квотербека, говорит он, – и отдает ребенка мне. Лет через десять, когда сын подрастет и сможет поймать футбольный мяч, скинуть с кузова тюк сена, пострелять змей на ранчо, он станет папе более интересен. А пока он всецело мой.

Когда дети уснули, я даю Роберту пару запеканок на будни, и он сразу уезжает, или мы скандалим, и потом он уезжает. С облегчением слышу, как хлопнула дверь его грузовика и заработал мотор.

Я твердо решила, что мои дети будут расти в городе, в безопасности, но скучаю по небу и по тишине. О том, чтобы уехать отсюда, я начала думать чуть ли не с той минуты, как мы поселились в городе. Не обратно на ранчо, но куда-то, где тихо, как было когда-то на ранчо, – до личинок мясных мух, до нефтяников, до того, как Дейл Стрикленд подъехал к двери моего дома и сделал из меня трусиху и лгунью.

За двадцать шесть лет моей жизни я выезжала из Техаса всего два раза. Первый раз – когда мы с Робертом поехали на медовый месяц в Руидозо. Кажется, это было три жизни назад – мне семнадцать и беременна на четвертом месяце, – но закрою глаза и снова могу вызвать в памяти гору Сьерра-Бланка, сторожем стоящую над городком. До сих пор могу глубоко и медленно вдохнуть и вспомнить сосны, как их крепкий острый запах становился еще сильнее, когда я ломала иголки в кулаке.

Мы вернулись домой через три дня, остановившись по дороге, чтобы осмотреть Форт Стэнтон, и я впервые в жизни заметила, чем пахнет воздух в Одессе, – чем-то средним между бензозаправкой и мусорным баком, полным тухлых яиц. Наверное, если выросла там, не чувствуешь.

Только раз еще услышала я запах этих деревьев – два года назад, когда сказала Роберту, что едем с Эйми на три дня в Карлсбад к старику, моему троюродному брату, о котором он даже не знал. Когда выезжали из города, по радио передали, что в Денвере девять человек погибли из-за утечки сероводорода.

Что такое сероводород, спросила Эйми, и я сказала, что понятия не имею. Кто такой Потрошитель из трущоб?^[8] спросила она. Что такое ИРА?^[9]

Я переключила на радиостанцию колледжа, и мы послушали Джо Или и Флэтлендеров. В Карлсбаде я не остановилась, поехали дальше.

Эйми, – я посмотрела в зеркало заднего вида, за нами уже пять миль ехал пикап, и отпустила педаль газа, – давай поедem в Альбукерке? Эйми оторвалась от магнитной рисовалки и нахмурилась. Зачем?

Не знаю, увидим что-то новое. Я слышала, там в центре совсем новый «Холидей инн» с крытым бассейном и пинболом. Можем доехать до гор, посмотрим на орегонские желтые сосны.

А купишь мне сувенир?

В этот раз без сувениров, только воспоминания. Слова застряли в горле, и я съехала на обочину, уступить дорогу пикапу. Мерзавец наконец проехал, но поравнявшись со мной, стал сигналить. Я чуть не описалась. Восемь лет назад я показала бы ему палец. Но сейчас рядом со мной сидела дочь – я только стиснула зубы и улыбнулась.

В Одессе любят говорить приезжим, что мы живем в двух сотнях миль от любого места, но до Амарилло и Далласа, по меньшей мере, триста миль, Эль-Пасо вообще в другой часовой зоне, а Хьюстон и Остин чуть ли не на другой планете. «Любое место» – Лаббок, и в хороший день до него два часа езды. А если песок летит, или горит трава, или остановишься поесть в «Дейри Куин» в Семиноле, дорога может занять полдня. А от Одессы до Альбукерке? Четыреста тридцать семь миль, чуть больше семи часов, если не притормозят на пункте контроля скорости под Розуэллом.

Нам как раз хватило времени съесть чизбургер и чуть-чуть поплавать в бассейне перед сном. Пока Эйми лежала в ванне, я позвонила Роберту и сообщила, что мы благополучно доехали до Карлсбада и мой старый родственник бодр и весел. Он буркнул и сказал что-то насчет трудностей с разогреванием куриной запеканки,

которую я оставила оттаивать на кухне. Накрой фольгой, сказала я, и поставь в духовку. Мы попрощались, я села на кровать и продолжала смотреть на трубку. Я была беременна на одиннадцатой неделе, и от мысли о еще одном ребенке хотелось повеситься. Роберт хотел сына, может, даже двух, а мне хватало Эйми. Я подумывала о том, чтобы сдать выпускные тесты за школу и, может быть, поучиться в одесском колледже.

В трех милях от нашей гостиницы, на улице, уставленной домами из кирпича-сырца, в шлакоблочном-кирпичном здании, настолько безликом, что оно могло быть и складом нефтяного оборудования, и бухгалтерией, находилась женская клиника. Там не было окон, только дверь из толстого стекла. На парковке могла поместиться от силы дюжина машин и пикапов, а за домом, ничем не укрытый от солнца, стоял складной стол с двумя деревянными скамьями и стеклянными пепельницами, доверху полными окурков. Мы сели за стол, и я объяснила Эйми, что она подождет в приемной, пока я говорю с человеком, который будет делать нам новую мебель для передней веранды – более неинтересной темы я не могла придумать. Мне было назначено на 10.00, но мы просидели на солнце несколько лишних минут. Сомнений в том, что я затеяла, у меня не было, но не было сил оторвать себя от скамьи. Посмотри на этот пикап с петухом, нарисованным на борту, сказала я. Слышишь, где-то жарят мясо? Это что – старушка свинку прогуливает? Когда Эйми сказала, что хочет писать, мы вошли.

Это законно, повторяла я себе, уже два года как разрешено. Но с этим трудно было сжиться, когда вранья целый короб и за плечами четыреста миль и граница штата. Я подошла к окошку и заговорила как можно тише, подсовывая между тем триста долларов, которые сняла с собственного счета. Так украдкой всё, как будто покупала кокаин.

Регистраторша улыбнулась и спрятала деньги в ящичек. Она дала мне бумаги на подпись и заглянула мне за плечо – на Эйми. Кто повезет вас домой после процедуры?

Никто, сказала я. Сама поеду.

Кто-то должен отвезти вас домой. У вас есть кто-то?

Я приехала из Техаса.

А, понимаю. Она замолчала и прикусила ноготь. Вы заночуете здесь, в городе?

Мы остановились в «Холидей инн», тихо сказала я.

В новом, в центре? Она улыбнулась, тоже понизив голос, и я кивнула.

Так, хорошо, сказала она. Некоторые женщины пытаются ехать домой самостоятельно, и это может вызвать осложнения. Вам повезло, сказала она. Вас задержат часа на два.

Два часа! Я оглянулась на дочь. Она сидела с пакетом чипсов и книжкой про Нэнси Дрю. Женщина протянула руку через стойку и дотронулась до моей. Такое часто бывает. Мы за ней посмотрим.

Я стояла, моргала, стараясь сфокусировать взгляд на её руке. Лак на ногтях был цвета чайной розы, на безымянном пальце левой руки простое золотое кольцо. Спасибо, сказала я. Её зовут Эйми.

А дочери я бодро улыбнулась. Я быстренько.

Не волнуйтесь, сказала мне вслед регистраторша, когда я открыла дверь и чуть не наткнулась на другую пациентку, стоявшую прямо за ней. Мы прекрасно проведем время! Хочешь холодного «Доктора Пеппера»? спросила она мою дочь.

Да, сказала Эйми, спасибо. Мама, не скучай там с мебельщиком.

На обратном пути в «Холидей инн» мы завернули в закусочную. Эйми смотрела мультики, а меня в это время рвало в уборной, я ждала, когда отпустит спазм. Мне что-то гамбургер не подошел, сказала я, когда она постучала в дверь. Подожди пять минут.

Позже днем она плавала в бассейне и играла в пинбол, а я, сидя в шезлонге, выпила два коктейля с грейпфрутовым соком. На другой день спозаранку мы поехали в горы Сандия, подышать хвоей. Сосны, ели, можжевельник... я закрыла глаза и представила себе, что мы живем в бревенчатом домике, в лесу, населенном безвредными, незлыми животными – ты можешь там пораниться, но не потому, что кто-то хотел тебе навредить.

Каждый час мы останавливались на заправочной станции, чтобы мне сменить прокладку, и еще два раза, чтобы Эйми стошнило сладостями, которыми я обкормила её в отеле, – и приехали домой к полуночи. Дочери я сказала: никогда не попрошу тебя что-то скрывать от папы – только если очень важное, а это очень важное. Мужу я сказала: у меня молочница. Не трогай меня пока. Через три месяца я

опять забеременела и на этот раз, изумляясь собственной глупости, решила рожать.

В детстве казалось, что время летит. Летом после завтрака я садилась на велосипед, три минуты прошло – и пора ужинать. Теперь смотрю на часы в кухне и удивляюсь, что еще такая рань. Десяти еще нет, а я уже три раза кормила маленького с шести, как он проснулся. Правая грудь немного болит, трогаю сосок – он твердый и горячий. Маленький завозился в колыбельке, Эйми прыгает на кровати и кричит: мне скучно. Сегодня скучно, завтра скучно!

Это третий день летних каникул.

Звонит телефон, я вздрагиваю от неожиданности, но это всего лишь секретарша Кита Тейлора. Там были сложности с матерью Глории, говорит она, но надеются, что Глория все-таки сможет дать показания. Спрашиваю, какие сложности, – она не объясняет. Спрашиваю, можно ли мне повидаться с Глорией, поговорить с ней, узнать, как у неё дела. Амелия несколько секунд молчит. А вы как, Мэри Роз?

Прекрасно, бодро отвечаю я. Обо мне не беспокойтесь.

Хочу сказать ей, что здесь, в городе, в этом доме дети в безопасности. Мужчины звонят мне в любой час дня и ночи, иногда и женщины, но все гадости, которые они говорят, эти гадости говорят о них самих, а не обо мне. У меня в доме моя старая винтовка, а в бардачке в машине новый пистолет. Я благодарю добрую женщину за звонок и прощаюсь.

На полу перед стиральной машиной грязные вещи размножаются, как кролики. У нас кончились яйца и молоко, и я обещала дамам из церковного клуба моей новой церкви, что днем приду на их собрание. Маленький кричит, словно его ужалила оса, и, как по сигналу, Эйми падает с кровати и ушибается головой о комод. Из спальни несется вопль. На лбу у неё уже растет шишка, но негодует она больше на то, что не выпускаю её одну из дома, даже на минуту.

Неделя за неделей после того, как Дейл Стрикленд изнасиловал Глорию Рамирес, люди собирались в церквях, в барах и комнатах отдыха. Стояли у себя во дворах, останавливались между полками продовольственного магазина. Судили-рядили на парковке кафетерия, отвлекали футбольных болельщиков, наблюдавших за тренировками. Я всё это слушала. Остальное узнавала из газет и радио.

Мама и папа Стрикленда сейчас дома, в Магнолии, Арканзас, и, если верить местной газете и некоторым из красноречивых жителей города, он хороший парень. Как сказал пастор Роб в своей еженедельной радиопрограмме, даже за превышение скорости его ни разу не штрафовали. Никто в городе не припомнит такого, чтобы он хоть раз пропустил тренировку или церковную службу, и он всегда был на сто процентов уважителен с местными девушками. Его отец, священник Церкви Пятидесятницы, слал районному прокурору письма и показания своих прихожан, свидетельствующие о высокой нравственности сына. По слухам, Кит Тейлор поставил у себя в кабинете лишний ломберный столик, специально чтобы складывать эти письма.

В передовице отмечалось, что перед злополучной ночью обвиняемый двое суток не спал, держась только на таблетках амфетамина, которые ему давал бригадир, — обычная практика у нефтяников, и хотя употребление наркотиков никто не оправдывает — люди до сих пор говорят о дочери Арта Линклеттера, — темп работы на нефтяных месторождениях порой вынуждает людей действовать во вред своему здоровью. Люди там *сражаются*, писал автор, сражаются, чтобы извлечь нефть из земли до того, как почва вокруг скважины просядет, сражаются с ценами ОПЕК и арабами. Можно сказать, что в каком-то смысле они сражаются за Америку.

Через неделю редактору пришли два письма. Его преподобие и миссис Пол Доннели из Первой методистской церкви писали о своем огорчении и возмущении тем, как преподносится эта история в газете и в городе. Они выражали надежду, что мы будем разумнее, и спрашивали: Что, если бы это была ваша дочь?

Во втором письме достойный, честный гражданин напоминал нам, что предполагаемая жертва — четырнадцатилетняя девушка-мексиканка в субботний вечер слонялась около придорожного кафе. Свидетели утверждают, что она сама села в пикап к молодому человеку. Никто не приставлял ей пистолет к голове. Нам надо задуматься об этом, писал он, прежде чем губить жизнь парню. Пока не доказана вина — невиновен. Тут я швырнула газету — совершенно пустой жест, потому что она никуда не полетела, а упала тут же, в кухне, почти рядом, с печальным шелестом.

В эти недели, с тех пор, как мы переехали в город, на парковке перед кафетерием Ферра, по телефону с Эйминой школой, в очереди в автотранспортном управлении, где надо было поменять мой адрес на водительских правах, я механически отвечала: «Простите?» или «Извините, я не думаю, что это правда». В продовольственном магазине, когда мы стояли в кассу, миссис Бобби Рей Прайс хотела поболтать со мной об «этой безобразной истории». Эйми клячила какую-то новую конфету, которая лопается во рту. Я послушала миссис Прайс полминуты и покачала головой. Бред, думала я. Но ничего не сказала.

К полудню мы успели приложить к Эйминой шишке лед и выйти во двор подышать воздухом. Я стою во дворе со спящим ребенком на руках, Эйми дуется и рисует мелом цифры на тротуаре. Малыш вздыхает, цепляет меня за правую грудь, её вдруг пронзает боль, и я перекидываю его к другому боку; к счастью, он успокоился и продолжает спать. Первой мы видим Сюзанну Ледбеттер. На ней легкие белые сандалии, белые шорты до середины бедра. Через плечо соломенная сумка, белая блузка без рукавов подсвечивает её рыжие волосы и бледные веснушчатые плечи. Вид такой, как будто приняла душ с утра, завистливо думаю я. Увидев Эйми и меня, она машет рукой и хлопает по своей сумке. Динь-Дон, к вам Эйвон!^[10]

Подъезжает на своем старом «Шевроле» миссис Нанелли и выходит к нам. В зависимости от того, куда она отправляется на работу, на ней фартук или халат, но сегодня она в длинной черной юбке и светло-зеленой блузке с рукавами до худых запястий. Над левой грудью приколата карточка с её именем. Она едет в универмаг «Билс», где работает два дня в неделю во вторую смену. Миссис Шепард сказала мне, что миссис Нанелли, с тех пор как стала адвентисткой, перестала пользоваться косметикой – но сегодня у неё бледно-розовая помада и тени для век под цвет блузки.

Ах, посмотрите-ка, говорит ей Сюзанна. Какая вы прелесть сегодня.

Удивительно, говорит миссис Нанелли, посмотрите на ручки малыша. Будущий футболист. Несколько секунд обе дамы вьются над ребенком, строят ему глазки, шлют воздушные поцелуи. Сюзанна забирает его из моих рук и прижимает к груди. Баюкает его, закрыв глаза, и бережно отдает мне. А я думаю о бессонных ночах, о больном

соске, и хочется отдать его обратно. Хочется сказать: держите. Сейчас принесу пакет с пеленками.

Где Лорали? ноет Эйми, рассеянно чертя на тротуаре классики.

На уроке плавания, отвечает Сюзанна. Чуть погода отвезу её в школу танцев.

У себя на дворе стоит миссис Шепард с не включенным шлангом.

Как она? спрашиваю у миссис Нанелли.

Сюзанна наклоняется к нам и говорит, понизив голос: я слышала, Поттер покончил с собой.

Что? говорю. Да нет же, нет. Несчастный случай на охоте. Маленький вздыхает, трется носом о грудь, но боль в соске разливается по руке, и переносу его к другой груди.

Поттер ни разу в жизни не охотился, говорит Сюзанна. Этот человек не мог бы застрелить животное, даже умирая с голоду.

Миссис Нанелли поджимает губы и слегка хмурится. Надеюсь, это неправда. И нет греха на них.

Когда миссис Шепард направляется к нам через улицу с кружкой ледяного чая, из-за длинной живой изгороди перед её домом появляется дочка Джинни.

Дебра Энн и Эйми стоят на дворе и минуту присматриваются друг к дружке, потом Дебра Энн, расчесавшая комариный укус на руке до крови, предлагает Эйми покататься на велосипедах. Нет, говорю я, пожалуйста, будьте здесь, на дворе.

Какого черта, говорит миссис Шепард, ничего с ними не случится.

Нет, резко отвечаю я.

Миссис Шепард долгим глотком отпивает чай и чмокает.

Я уже поблагодарила Сюзанну за запеканку и миссис Нанелли за лимонный пирог. Теперь благодарю миссис Шепард за её запеканку, на которой, соскребая её в мусорное ведро, заметила наклейку с именем Сюзанны.

Да на здоровье, милая. Дамы, говорит она нам, я знаю девочку, которая ищет работу бэбиситтера. Миссис Шепард лезет в карман, вынимает три листка и вручает каждой из нас. Это её телефон. Карла Сибли. Очень вам рекомендую.

Сюзанна смотрит на листок и хмурится. Откуда вы знаете девочку?

Из церкви, не запнувшись, отвечает миссис Шепард.

Да? удивляется Сюзанна. Вы вернулись в церковь, Корина?

А как же, Сюзанна. Это такое утешение после несчастья с Поттером.

Конечно. Сюзанна прищуривается и перевешивает сумку на другое плечо. Мы все молимся за вас в баптистской церкви в Кресент-Парке.

Я вам очень благодарна, говорит миссис Шепард.

Миссис Нанелли, нахмутив лоб, поворачивается к Сюзанне. Как вы себя чувствуете?

Беременность не подтвердилась, говорит она зардевшись. Но всё хорошо. Попытаемся еще через несколько месяцев.

Как жаль, говорит миссис Нанелли.

У вас еще масса времени, говорит миссис Шепард. Вам только двадцать шесть.

Спасибо, Корина. Но мне тридцать четыре.

Неужели? Вам ни за что не дашь больше двадцати шести... Миссис Шепард умолкает и смотрит на миссис Нанелли. Не возражаете, если я закурю?

Как жаль, говорю я Сюзанне.

Ничего страшного, говорит она. У меня красивая, умная, талантливая дочь. И смотрите, что у меня! Она лезет в сумку и вынимает горсть образчиков фирмы «Эйвон» – духи, крем для лица, тень для век, даже маленькие тюбики помады, – отдает нам.

Миссис Шепард, не взглянув на свои, передает их миссис Нанелли и достает из кармана блузки сигарету. Выдыхает дым – он такой теплый, душистый, что хочется отнять у неё сигарету и глубоко-глубоко затянуться.

Вы все еще готовитесь к суду? спрашивает она меня.

Да. Я перекладываю малыша в другую руку и оглядываюсь на Эйми. Они с Деброй Энн сидят под сухим деревом, оживленно разговаривают, поглядывая на нас.

Сюзанна чуть подается вперед и ладонью отгоняет табачный дым. Я слышала, дядя девицы пытается шантажировать родителей Стрикленда.

Это чистая клевета, выпаливаю я, не подумав. Как такое может взбрести в голову?

Я же не сказала, что это так, напоминает нам Сюзанна. Сами знаете, как расходятся слухи.

Еще бы не знать! Миссис Шепард смеется громко, отрывисто, немусзыкально – вспоминаю канадских журавлей у нас на ранчо.

Она поднимает брови – по счастью, не забыла их утром нарисовать, – и отступает от нас на несколько шагов, чтобы не дымить на ребенка.

Действительно, смахивает на клевету, говорит миссис Шепард, но чего ждать от наших ханжей?

Сюзанна собирает губы в ниточку и втягивает воздух. Говорите за себя, Корина, я лично не ханжа, но... Она замолкает на несколько секунд, оглядывает нас, словно ожидая подтверждения: Сюзанна не ханжа. Но миссис Шепард и я молчим, а миссис Нанелли уже отправилась к своей машине со словами: Всего хорошего, дамы. Сюзанна прощается и медленно, словно подзабыв дорогу, уходит по улице. Подойдя к дому, она картинно проверяет почтовый ящик, вырывает пяток одуванчиков, нахально затесавшихся в августинову траву. И, наконец, берет с веранды веник и метет тротуар.

Миссис Шепард идти, по-видимому, некуда и делать нечего – она смотрит, как я трусь носом о щеку ребенка. Мне все время хочется понюхать его, увериться, что он мой.

Новорожденный, говорит миссис Шепард. Единственное, что может пахнуть лучше, – новенький «Линкольн Континентал». Можно мне понюхать? Она прячет сигарету за спину, наклоняется и вдыхает запах моего сына. Деточка, говорит она, я не скучаю по мокрым пеленкам, не скучаю по бессонным ночам, но как же скучаю я по этому запаху.

Я подтянула одеяльце к его подбородку и смотрю на неё. Вы бы видели Глорию Рамирес. Он живого места на ней не оставил. Маленький дергается во сне, открывает и закрывает рот. Я подаюсь к ней и говорю тише. Миссис Шепард, над ней как будто дикий зверь потрудился.

Прошу, называйте меня Кориной.

Корина, говорю я. Дейл Стрикленд просто какой-то дикий кабан. Хуже. Те собой не владеют. Надеюсь, его посадят на электрический стул.

Она бросает окурок на тротуар и сталкивает ногой на мостовую. Он еще дымится, а она тут же закуривает новую и думает, что сказать в ответ. Улыбается, щекочет малышу подбородок. Понимаю, детка. Будем надеяться, судья будет хотя бы приличный. Вы дадите показания?

Да. Не терпится рассказать им, что я увидела.

Это хорошо. Больше ей нечем помочь. Можно вас спросить, Мэри Роз? Вы высыпаетесь?

Я вскидываю голову, хочу сказать ей, что всё у нас хорошо, никакой ни от кого помощи нам не нужно, но Корина смотрит на меня, как банкомет, сдавший карты и оценивающий реакцию.

Я могла бы сказать ей правду – что иные ночи мне снятся, как Глория снова стучится в мою дверь, а я не подхожу, лежу на кровати, спрятав голову под подушку, стук всё громче, громче, я уже не могу его вынести, встаю с кровати и иду в прихожую нашего нового дома. Открываю тяжелую дверь – там Эйми, избитая, израненная, босые ноги в крови. Мама, кричит она, почему ты мне не помогла?

Я могла бы ей сказать о телефонных звонках, начавшихся чуть ли не с того дня, как нас подключили к линии, о том, как иногда ночами не могу понять, устала я или мне страшно.

А отвечаю просто: у нас всё хорошо. Спасибо вам за заботу.

Корина ищет в пачке очередную сигарету, уже третью, но пачка пуста, она комкает её и прячет в карман брючного костюма. Могу поклясться, у меня оставалось еще полпачки, говорит она. С тех пор, как Поттер умер, все к чертям забываю. На прошлой неделе одеяло потеряла. Одеяло! Она с тоской смотрит на ворота своего гаража напротив. Пойду-ка лучше передвину поливалку да налью себе чаю со льдом. Сегодня градусов до сорока дойдет. А еще июнь только!

Она скрылась в доме, и только тут я замечаю, что Дебру Энн она оставила у меня на дворе. Я стою, смотрю на девочек, они тоже иногда оглядываются на меня, а потом забывают обо мне совершенно. Когда просыпается малыш, я загоняю их в дом и запираю дверь. Пока девочки играют в комнате Эйми, я пытаюсь кормить маленького. В правой груди жжение и плотный узел около соска – наверное, грудница. Малыш присасывается, по всему телу растекается боль.

Мы едем на собрание женского церковного клуба, на улице тридцать два градуса. Эйми злится – я отослала её новую подругу

домой. Она сидит впереди, пинает ногой бардачок, открывает и прикрывает жалюзи кондиционера, а маленький возится на сиденье между нами.

Интересно было с Деброй Энн? спрашиваю я.

Нормально, отвечает она и пинает, пинает щиток.

Эйми, перестань. Нашлись у вас общие интересы?

Наверное, говорит она. У неё куча друзей, но думаю – больше придуманные.

Это будет моя вторая встреча с церковным клубом. Когда мы переехали в город, я решила, что вместо баптистского радио надо найти настоящую церковь. Нам не помешало бы общество, а Эйми как раз заговорила о спасении. Но сегодняшнее собрание – это ужас. Водяной охладитель работает всё время, но без толку, и от жары жжение в груди усиливается. Когда я вхожу, дамы говорят о том, что надо собрать старую летнюю одежду, и мужья отвезут её семьям на окраине, в поселки нефтяников, выросшие словно за одну ночь.

Эти поселки просто ужасны, говорит нам миссис Роберт Пери. Повсюду мусор, у большинства даже нет водопровода, и – после паузы, понизив голос – полно мексиканцев.

В зале – согласное жужжание голосов. Это ужас как они себя ведут, говорит кто-то, и кто-то напоминает нам, что не все, только *некоторые*, а я сижу, раскрыв рот. Словно не росла под эти разговоры, не слышала такого – от папы за столом, от теток и дядьев за обедом в День благодарения, от собственного мужа. А сама думаю о Глории, о её родителях, и мысль свербит, как мокрая болячка, – расчесываю и не могу перестать.

Эйми с маленьким дальше по коридору, в детской. Мы же в церкви, сказала я себе, когда девочка-подросток, взвизгнув, забрала ребенка у меня из рук. Здесь безопасно. Закрываю глаза, прикладываю ладонь ко лбу. Кажется, легкая лихорадка. В правом боку от подмышки до ребер такое ощущение, будто жгут паяльной лампой.

Мэри Роз, как вы себя чувствуете? Около моего стула стоит Барби, жена Б.Д. Хенрикса. Она кладет мне руку на плечо. Кто-то говорит, что я, наверное, переутомилась, а потом еще кто-то вспоминает жуткую историю с девушкой Рамирес – и опять шумок одобрения. Это просто стыд. Каково уснуть сейчас маме мистера Стрикленда? Она, наверное, с ума сходит от беспокойства – а всё из-за этого недоразумения.

Какое там недоразумение? говорю я. Это было изнасилование, и мне тошно от вашего притворства. Я обвожу взглядом зал собрания. Жара как в пекле. Несколько дам, обмахивавшихся брошюрами, замерли и сидят на краешках стульев, словно ожидая откровения, и я воспринимаю это как необходимость продолжать. Через несколько часов я пойму, что совершила ужасную ошибку, – но сейчас говорю:

Вы можете весь день называть песчаную бурю ветерком, говорю я, можете называть засуху погожими деньками, но к вечеру у вас в доме все равно кавардак, и томаты на грядке засохли, и... голос у меня пресекается, и с ужасом чувствую, что глаза намокают. Не собираюсь плакать перед этими добрыми дамами. Еще не поздно замолчать, и всё успокоится, более или менее.

Я её видела, говорю им. Видела, что он с ней сделал.

Извините меня, Мэри Роз, – говорит кто-то за охладителем, – я понимаю, что вам *кажется*, вы видели, но, насколько мне помнится, мы еще живем в Америке, где человек невиновен, пока не доказана его вина.

По залу проносится шушуканье – добросердечные дамы обмениваются глупостями. Насчет конституционных прав Стрикленда они правы, но девушку, кажется, уже приговорили. Прошу прощения, говорю я и сбегая в туалет.

Через некоторое время отправляют миссис Л.Д. Кауден, казначея, провести меня. Миссис Кауден – одна из старейшин, утверждает, что это её бабушка посадила первый в городе рядок пеканов в 1881 году, – в тот же год погибли при взрыве около Пенуэлла пятеро железнодорожных рабочих китайцев. Все двадцать пять саженцев сломала буря. А рассказ её – бесстыдная ложь. Все знают, что посадила деревья бабушка миссис Шепард, Виола Тиллмен, но никто не хочет об этом вспоминать. Сюзанна рассказала мне, что шесть лет назад Корине после легкой склоки с Барби Хендрикс предложили покинуть клуб. Её бы простили или хотя бы продолжали терпеть, учитывая старые корни Корины в общине, но она перестала делать прическу по четвергам к собранию. С меня хватит, сказала она добрым женщинам клуба. Сама буду как-нибудь пробираться к Иисусу.

Миссис Кауден находит меня в дамской комнате – я нагнулась над раковиной и стараюсь не заплакать. Она молча прислоняется к двери, я

плещу себе в лицо теплой водой и бормочу. Что за брех... Что за брехня. Просто не верится.

Принести вам холодного чая? спрашивает миссис Кауден.

Нет, спасибо.

Послушайте, говорит она, люди знают, что девочка рассказала о произошедшем. Просто не надо нам все время напоминать. И слово это такое безобразное.

Я выключаю воду и поворачиваюсь к ней. Вы – об изнасиловании?

Она морщится. Да.

Когда у меня начались схватки за несколько недель до срока, а коробки в новом доме стояли нераспакованные, и Роберт сходил с ума из-за пропажи быка, Грейс Кауден принесла нам на неделю обеда и пачку комиксов для Эйми. Сколько я знаю, она в жизни не сказала никому недоброго слова. Я протянула ей руку. Простите, Грейс.

Она берет мою руку и прижимает к своему сердцу. И вы меня простите, Мэри Роз. Усмехается смущенно. Какие месяцы нам выпали. Сын священника сидит в тюрьме. Джинни Пирс сбежала бог знает куда, бросила семью. И вы с грудным сыночком, а впереди суд. И жара эта, злая, как змея.

Она не отпускает мою руку и размышляет вслух: разрешит ли мне судья обойтись просто письмом или как-то так. Чтобы меньше беспокойства вашим родным и вам. Кроме того – она наклоняется ближе – Лу Коннели слышала, что мать девушки депортировали, а саму её отправили в Ларедо к родным. Да может быть, она и на суд не явится. Если ей не светят деньги.

Я мягко отнимаю руку от груди Грейс, поворачиваюсь к раковине, открываю кран, а она продолжает жужжать. Что касается нашего клуба, говорит она, наши собрания должны нести радость. Никто не приходит сюда, чтобы огорчаться.

Миссис Кауден говорит, что она и еще некоторые дамы думают, что я, возможно, не захочу какое-то время посещать собрания, пока не уляжется пыль и вся эта печальная история не останется позади. И я немного приду в себя.

Да, думаю я, в прежнюю Мэри Роз. Держу пальцы под краном, смотрю, как водичка льется по коже; из раковины – запах серы и земли. В то утро у меня на веранде, когда он сидел уже в наручниках

на заднем сиденье машины помощника шерифа, один из фельдшеров, молодой человек с глазами цвета песчаника, пощупал шишку у меня на затылке. Второй дал мне стакан ледяной воды, пахнувшей холодом и серой. Что за чертовщина у вас тут, спрашивали оба. А я только мотала головой. Мотала и мотала и не могла выдать ни слова. Медики сказали мне, что не могли уговорить девочек открыть дверь, а когда все-таки уговорили, Глория не позволила им подойти к себе. Я выпила воду, пока эти двое ждали на веранде, намочила махровую тряпочку и осторожно приложила к щеке девушки.

Теперь всё будет хорошо, сказала я ей, а дочь стояла молча в другом конце комнаты и смотрела на нас. Всё будет хорошо, сказала я еще раз, обращаясь уже к обеим. Я обтирала девушке лицо и повторяла ей: всё у нас будет хорошо, у нас всё будет хорошо.

Там, на ранчо, вода из крана идет ледяная, даже летом, а в городе она теплая, без песка и осадка, как в колодце. С чистой водой, с чистой страницы, новая жизнь. Девочка не плакала, не заплакала ни разу, но когда медики попытались завести её в санитарную машину и один из них дотронулся до её поясицы, она закричала так, словно её резали. Могли поставить её на пень и рубить вдоль тела – крик был бы такой же. Она дралась и лягалась, звала мать. Подбежала и вцепилась в меня, как будто налетело торнадо и я – последний устоявший заборный столб. Но я была измучена, подавлена и отвернулась от неё. Она цеплялась за меня, а я отвернулась, вошла в дом и закрыла дверь. Слышала, как мужчины схватили её, затащили в санитарную машину и захлопнули дверь.

А теперь здесь, в городе, люди изображают эту девочку какой-то вруньей, или шантажисткой, или шлюхой. Прости нам наши прегрешения, да уж. Я набираю воду в пригоршню. Чем я буду в их одесском обществе? Как потекут мои дни, в кого превращусь? В прежнюю Мэри Роз? В Грейс Кауден? Улыбаюсь слегка, вода просачивается между пальцами, сдвигаю их плотнее. Могу попить из пригоршни, если потороплюсь, – и пью. Пью шумно, чмокаю, вода стекает по подбородку, и Грейс, глядя на меня, тоже сглатывает. Снова набираю пригоршню. Может быть, и вправду осторожность – сестра доблести. А может быть, и нет. И сознавая, что я во всем, что важно, не помогла дочери другой женщины, очень хочу сейчас проявить доблесть.

И в каком же замечательном поступке она выразится?

Вот в каком: когда почтенная миссис Л.Д. Кауден начинает толковать о том, что мне надо больше отдыхать и, может быть, подумать о прикорме для ребенка, я поднимаю голову от раковины и всю пригоршню выплескиваю ей в лицо.

Грейс застыла на месте. Наконец-то ей нечего сказать. Через несколько секунд она поднимает руку, сгоняет воду со лба и стряхивает на пол уборной. Это грубо, говорит она.

Идите к черту, отвечаю я. Собрали бы вещичек для бедных, которых беспрерывно судите.

У меня могли бы болеть оба ребенка, и в кухне пустые полки, а Роберт сокрушался бы, что вынужден бросить ранчо. Но тут, только услышав об этом, сразу примчался в город. Мне ничего не стоит закрыть глаза и представить себе, как телефон трезвонит там, на кухне, чуть не срываясь с полки, а Роберт стоит, в руке бутерброд с вареной колбасой, и какая-то женщина или её муж выражает глубокую озабоченность моим состоянием. Дети уложены, он ходит за мной из комнаты в комнату и орет, а я собираю книжки и игрушки Эйми. Грудь будто жгут паяльной лампой. Борюсь с желанием сорвать лифчик и швырнуть на ковер.

Можешь ты хоть немного постараться? говорит он. Каждый день я из кожи лезу, чтобы не остаться нам голыми на земле, где мои предки трудились восемьдесят лет. Он идет за мной на кухню, смотрит, как я складываю консервы в бумажный мешок, ему на ферму. Думаешь, это большая честь для нашей семьи, что ты выставляешь себя городской сумасшедшей?

Я стала на колени, смотрю на полку с консервами, занимаюсь арифметикой. Могу поклясться, были еще две банки чили и банка кукурузы.

Сапог Роберта около моей ноги, так близко, что чувствую запах коровьего навоза, вьевшийся в кожу. За последние двое суток у него погибло больше дюжины коров из-за личинок мясной мухи. Тех, которые не сдохли сразу, ему пришлось пристрелить. Мухи откладывают яйца в свежие трупы, поэтому он сгреб их бульдозером в кучу и облил керосином.

Я складываю обеденные тарелки в раковину и пускаю горячую воду. Роберт, что ты хочешь от меня услышать? Люди в этом городе

желают и будут верить, что всё это — какое-то недоразумение, любовная размолвка.

А почему ты знаешь, что не так?

Я погружаю обе руки в раковину с водой, такой горячей, что едва терплю. От воды несет отбеливателем, кажется, переборщила с ним, — когда вынимаю руки, они темно-красные.

Что ты несешь, Роберт? Ты слышал, как он её изуродовал? Ей селезенку пришлось удалить. А что я тебе говорила, ты слышал, черт возьми?

Да, Мэри Роз. Я слышал — все тридцать раз.

Я прижимаю обе ладони к посудному полотенцу, чтобы хоть немного остудить. Вся кухня пропахла отбеливателем. Стараюсь говорить с мужем как можно спокойнее. Роберт, Глории Рамирес четырнадцать лет. А если бы это была Эйми?

Не сравнивай эту девочку с моей дочерью.

Почему, черт возьми?

Потому что это не одно и то же. Он почти кричит. Ты знаешь, что это за девки.

Я беру стопку вчерашней посуды с сушилки и ставлю на стол с таким стуком, что вздрагивает дверца шкафчика. Нет, говорю я. Заткни свой поганный рот.

Роберт стискивает губы. Глаза прищурены, руки сжимаются в кулаки, и я отдергиваю занавеску на окне, ищу большую деревянную ложку. Если дойдет до драки, хочу ударить первой. И не помешали бы свидетели.

Извини меня, Мэри Роз, но я не думаю, что заткнусь.

Он кричит, и в это время начинает трезвонить телефон. Не подходи, говорю ему, это коммивояжер привязался. Телефон звонит и звонит, замолкает на полминуты и снова звонит. Роберт стоит и смотрит на меня так, словно я лишилась рассудка. Не подходи, кричу я, когда он делает шаг к телефону. Это торговец, чтоб ему пусто было.

Телефон умолк, и он спрашивает меня, долго ли я буду держать Эйми под домашним арестом, и я вру, что она уже со всеми перезнакомилась на Лакспер-Лейн. Он бочком подходит ко мне и спрашивает, не скучаю ли я по нему хоть немного. А я хватаюсь за грудь и говорю, что у меня мастит.

В десятку.

Я видела, как мой муж по локоть засунул руку в корову, когда там было неправильное предлежание, и плакал из-за того, что корова и теленок не пережили ночь. Но тут одно слово о груднице, и его как ветром сдуло.

Он забирает консервы и одну замороженную запеканку Сюзанны и выезжает на улицу, библикнув, чтобы я учла. Я съедаю таблетку аспирина и заново наливаю раковину. Напротив, через улицу, сидит на веранде Корина Шепард. Я вынимаю руку из мыльной воды и поднимаю перед окном – она поднимает свою с сигаретой, вишневый огонек весело пляшет в темноте. Привет, Мэри Роз.

Снова начинает звонить телефон, и я собираю волю в кулак, чтобы не подбежать и не сорвать трубку. Ладно, давай, приходи, сволочь, хочу сказать ему. Встречу тебя на веранде с винчестером.

Глори

Шесть часов утра, и Альма устала после ночной уборки кабинетов и отдела дорожной безопасности, кредитного союза и бытовок, уборных, где мужчины иногда писают мимо унитаза, урн, полных протухшей еды и пустых аэрозольных банок. Но сегодня пятница, и она, вместе с шестью другими женщинами из бригады, ожидает полочки – денег на продукты и аренду жилья, денег на всякие мелочи, которые вечно требуются дочке, денег, которые надо послать домой, и, если останется несколько долларов, на какой-нибудь пустяк для себя: крем для рук, новые четки, шоколадку – и в ожидании этого Альма и остальные женщины чуть меньше чувствуют усталость.

Фургон пограничного контроля уже стоит за воротами, задняя дверь открыта и ждет их, и поскольку они женщины – самой молодой восемнадцать, самой старшей почти шестьдесят, и у неё шесть внуков – и поскольку четыре агента, стоящие у машины, крупнее и сильнее их и у каждого на правом бедре красуется табельный пистолет, отправка женщин под стражу проходит быстро и, по большей части, спокойно. Женщин высадят на том конце моста Сарагоса, и Альма так и не успеет сказать брату о деньгах, припрятанных в шкафу в спальне, не успеет взять бутылку воды в запас и вторую пару туфель для долгой дороги в Пуэрто-Анхель, не попрощается с Глори. Альма произносит имя дочери с трудом. Глори – требует, чтобы так её звали. Глори, отрезан последний слог. Его не хватает Альме.

Слух о полицейской облаве быстро разносится по общине благодаря сеньоре Домингес. Она забыла в бытовке кофту, вернулась за ней и увидела в окошко, как забирают женщин. После того как фургон уехал, она почти час стояла, словно её ноги прибили к полу. Потом, когда заступала новая смена, она тихонько вышла за ворота. И месяцами люди будут говорить, что не было бы счастья, да несчастье помогло: Луча Домингес забыла кофту, легкий бумажный кардиган, с которым не расстанется даже весной и летом, – не только потому, что часто мерзнет, но и потому еще, что своим темно-синим цветом он напоминает ночное небо её родины Оахаки. Если бы не она, мужья и дети неделями пребывали бы в неведении о судьбе Альмы Рамирес и

Мэри Васкес, Хуаниты Гонзалес, Селии Муньос и шестнадцатилетней девушки, пришедшей в бригаду всего неделю назад – женщины знали только, что зовут её Нинфа и она из города Таско-де-Аларкон в штате Герреро.

* * *

Через три дня после облавы в квартиру Альмы стучится Виктор. Не беспокойся, номер в отеле «Ритц» я оставил за собой, говорит он племяннице, опустив на ковер два вещевых мешка и сумку с продуктами. В бараке в Биг-Лейке капает кран, и сверчки величиной с jalapeño^[11]. Он раздвигает указательные пальцы на дюйм, потом на два, показывая, какие сверчки большие, потом одобрительным взглядом обводит квартиру, как будто не обедал здесь дважды в неделю как минимум, вернувшись с войны. Как будто не видит сухой кладки стену, с оспинами и разводами, ковролин, загнувшийся кверху на плинтусах, жалюзи на окнах, такие ветхие, что развалятся тут же, если откроешь их или закроешь неосторожно. Как будто кран не капает размеренно, и летом вода не пахнет тухлыми яйцами. И не кишат сверчки за стеной.

Los grillos, назвала их Альма несколько недель назад, а Глори выкатила глаза. Господи, неужели трудно выговорить «сверчки»? *Au miija, no maldigas al Señor*^[12].

Говори по-английски, сказала Глори. Веди себя как здешняя хоть раз в жизни.

Глори наблюдает за тем, как дядя приносит остальные вещи с тротуара и подходит к её диван-кровати. Он кладет третий вещмешок и небольшой ящик с двумя книгами, пакетом чипсов, коробкой хлопьев и двумя упаковками светлого пива. Здесь приятнее, чем у меня, говорит он, парковка крытая. Мою «Эль камино» не побьет градом. А, Глория?

Глори закрывает ладонями уши и пятится к материнской спальне. Когда она ему напоминает про имя, он смотрит на неё с недоумением. Зовите меня как угодно, просила она мать и дядю, даже прокурора один раз на допросе – только не так. Слушай, говорит Виктор, но

почему? Ведь это твое имя. Ей хочется закричать: потому что каждый раз, когда слышу это имя, я слышу его голос.

Пять минут четвертого, и жилой комплекс поет и вздыхает голосами детишек, возвращающихся из детских садов и летних библейских школ. Матери и старшие сестры кричат им, чтобы скорее шли помогать по хозяйству. Вентиляторы в открытых окнах гонят горячий воздух во двор. Ранчера^[13] плывет над парковкой, и Глори опять борется с желанием уйти в спальню матери, лечь на кровать и спрятать голову от мира под всеми подушками. Там, на нефтяном участке, он громко завел музыку, переключаясь с одной станции кантри-энд-вестерн на другую, и раз – на её любимую радиостанцию колледжа, передававшую панк. А почему не заводить музыку громко? Кто тут услышит? Никто не придет тебя выручать, сказал он и был прав.

В дверь стучит управляющий, мистер Наварро. Глори еще в материнской спальне. Они не могут здесь оставаться, говорит мистер Наварро Виктору. Он слышал про облаву на заводе и не хочет, чтобы в комплексе жили нелегальные иммигранты. Виктор говорит, что его племянница Глори родилась здесь, в Одессе, в медицинском центре.

А ты? – говорит старик.

Виктор отвечает по-испански, Глори его не понимает. Здесь, в Техасе, втолковывала ей мать, испанский – это язык уборщиц и прислуги, а не её дочери, и дети, говорящие по-испански в школе, кончают за решеткой, а то и похуже. Тем не менее Глори понимает суть, если не содержание речи Виктора. Он, как и племянница, тоже американец, говорит он управляющему. Он заработал гражданство, отслужив два срока во Вьетнаме, *sabron*^[14].

Минут через пять дядя стучится в спальню и говорит, что намерен найти им другое жилье, получше. Так что собирайся, Глори.

Собрать пожитки им недолго. Четыре года назад Глори и Альма вошли в меблированную квартиру с тремя чемоданами и ящиком кухонной утвари. Сейчас Глори складывает свою одежду в один чемодан, вещи Альмы – в другой. В третий – покрывало матери, белье с постели, подушки и свой нож. Есть еще деревянный ящичек из-под сигар, пахнувший кедровой сосной, в нем семейные фотографии с родины, из Оахаки. Где песок на берегу, белый, как соль, говорит Тио,

а рыба луциан нежная, как масло. Ящичек Глори кладет в чемодан матери, между джинсами и её любимой блузкой.

На кухне она открывает шкафчик рядом с плитой. В ящик из-под молока отправляется кастрюля Альмы, столовые ложки и кофейные чашки, щербатые тарелки, найденные ими в церковной лавке, и большая деревянная ложка, которую Альма привезла с собой из Мексики восемнадцать лет назад. Ею мешали бобы и жаркое, когда Альма делила однокомнатную квартиру с шестью другими женщинами, посылавшими деньги домой. Когда Глори была маленькой, эта ложка прохаживалась по её заду, а когда ей было десять лет, Альма швырнула ее через всю кухню и велела Глори больше никогда не спрашивать об отце, которого она не знала. Ну, а где он? спросила Глори. Pues quién sabe?^[15] Может, в Калифорнии, а может, умер. Ya mí qué me importa?^[16]

А через несколько лет, когда Глори стала выше и сильнее матери, и мать заподозрила, что она прогуливает школу, Альма показала ложкой на голову Глори и попросила Виктора перевести, что она просит дочь взяться за ум, данный ей Богом, и заняться в жизни чем-то еще, кроме кражи пива в винном магазине Пинки и болтания возле бизоньей лужи. Из-за этой старой деревянной ложки Глори и садится в слезах за кухонный столик и, поджав по-турецки ноги, трет яркие красные шрамы на ступнях, думая, сколько времени уйдет у Альмы, чтобы скопить денег, набраться храбрости и дожждаться подходящего случая, чтобы пересечь реку.

* * *

Мотель «Джеронимо» построен дугой, в нем тридцать шесть комнат, и стоит он на пересечении улиц Перл и Петролеум, меньше чем в миле от нефтеперегонного завода. В жаркую ночь, когда жильцы выбивают пробки, включив кондиционер одновременно с плиткой и телевизором, они выходят из комнат и, облокотясь на железные перила, смотрят на оранжево-синие факелы над трубами. Тут ненамного прохладнее, но бывает ветерок в их сторону.

Виктор ставит свой длинный белый «Эль камино» (он называет его «El Tiburón» – Акула) недалеко от бассейна. Вот, можешь плавать

здесь целый день, говорит он племяннице, которая прижалась щекой к теплему стеклу пассажирской двери. Одиннадцатый час, и стоянка уже забита дизельными грузовиками, пикапами, седанами, универсалами. По ту сторону бассейна два стояночных места занял дом на колесах, желтый огонек над дверью зыбко отражается в воде. В бассейне плывет женщина, от её головы и рук расходятся мелкие волны. На середине она переворачивается на спину и продолжает плыть по инерции; верхняя часть тела высовывается над водой, желтые волосы извиваются около лица, как угри. На ней обрезанные джинсы и футболка, толстые руки и ноги белеют в темноте, как акульи зубы.

Виктор помог внести вещи на второй этаж и отдает Глори ключ с пластиковым брелком в форме Техаса. Самое лучшее здесь то, что мотель дешев и у Глори своя комната. В мотеле «Дикси» на шоссе Эндрюс комнаты вдвое дороже. Он взял ей номер 15. Это не просто так, говорит он, – осенью тебе стукнет пятнадцать. Этот год пройдет, милая, и скоро тебе станет легче. Это не твоя жизнь.

Номер 15 пропах сигаретами и жареным, но на ковре свежие следы от пылесоса, и в ванной лимонный запах чистящего средства. На длинном низком коричневом комодe стоит телевизор, на двуспальной кровати полиэстеровое покрывало морковного цвета. Виктор пошел искать автомат с кока-колой, а Глори тем временем перестилает кровать. Стелет белье Альмы с цветочной отдушкой и покрывало, купленное матерью прошлой осенью, на заработок от нескольких сверхурочных смен. Оно украшено тexasскими люпинами, любимым цветами Альмы, хотя она никогда их не видела живьем. Простой осенью Виктор пообещал Альме и Глори свозить их в апреле в район холмов, чтобы Альма сфотографировала дочь на поле лиловых цветов, вставила снимок в рамку и повесила на стену, как делают все родители в великом штате Техас. Спасибо, сказала Глори дяде, но я лучше посижу дома, почитаю «Алую букву». Видишь, какая она неблагодарная, сказала Альма, и они смотрели друг на дружку, пока Глори не отвела взгляд. А сейчас июнь, думает Глори. Мы опоздали.

Приходит Виктор с бутылкой холодного «Доктора Пеппера» и обещает принести ей утром пончик перед отъездом на работу. Он выходит на площадку, которая тянется по всей длине здания, а Глори закрывает дверь и накидывает латунную цепочку. Между их комнатами тоже дверь, но он говорит, что она только на крайний

случай. А так он будет стучать в эту входную, как всякий другой. Глори почти всю жизнь мечтала о собственной комнате, о собственной двери с замком, и, несмотря на то страшное, что привело их сюда, мерцает в душе искорка удовольствия.

Через щель в занавесках падает на ковер узкий прямоугольник солнечного света, и в луче плавают пылинки. Она сдвигает занавески, и свет исчезает. Окно едва ли больше коробки от пиццы, в него не пролезть даже мелкому мужчине. Но Глори все равно проверяет запор на окне и палку, вставленную кем-то между верхней и нижней створками. Желтоволосая женщина вылезла из бассейна. Она сидит в шезлонге с сигаретой, голова обмотана полотенцем, мокрая одежда облепила её крупное тело. В других комнатах темно, мотель «Джеронимо» спокоен и тих.

Хозяин не терпит здесь глупостей, сказал Виктор, когда они въезжали на стоянку и она удивленно смотрела на ряды грузовых машин. Сдаёт только рабочим и семьям. Ты тут в безопасности – он протянул было руку, чтобы потрепать её по плечу, но до плеча не донес, – всё будет хорошо.

Может быть, он прав, но, забравшись в постель, Глори лезет рукой под подушку и проводит пальцами по спрятанному ножу. Если кто-то полезет в дверь или в окно – она готова. Раз, другой, третий она проводит пальцами по гладкой стали ножа и кожаной рукоятке. Все еще держа его в руке, мысленно повторяя движения – взять, нажать кнопку, встряхнуть, чтобы лезвие встало на место, – она засыпает.

В каждом сне оживает пустыня. Она идет осторожно, но луна скрылась в облаке, и она не видит кучу камней и змеиного гнезда за камнями. Она падает с криком, встает, а они её уже обвили – лодыжки, колени, лезут к животу и груди. Одна обвила шею, и Глори чувствует легкое, быстрое прикосновение языка к реснице. Она замерла, ждет, когда они с неё слезут, вернуться во тьму. В окно пикапа светит луна. Его зрачки – черные дырки в голубом небе. Пора рассчитаться, Глория, говорит он, пора заплатить за выпитое пиво, за бензин, который я потратил, чтобы привезти нас сюда. Подожди, говорит она. Подожди! И лезет в карман джинсов, сжимает в пальцах кожаную рукоятку. Нож раскрывается легко и безошибочно находит его глотку.

Проснувшись в темноте, Глория водит пальцем по выпуклому шраму на животе. Толщиной со стебель одуванчика, он начинается под

грудью и, извиваясь, тянется по телу вниз, словно её разрезали пополам и сшили заново. Шрам огибает пупок и продолжается до лобка. Она проснулась в больнице, выбритой, с разрезом на животе, скрепленным металлическими скобками. Разрыв селезенки, сказал Виктору хирург, вероятно, от одного из ударов в живот. Она дралась, дралась, дралась. Ступни и руки были забинтованы, голова обрита и поперек макушки швы. Виктор наклонился и шепотом сказал, что мама не могла прийти в больницу – слишком много полицейских, слишком много вопросов – но она ждет Глори дома. Слушай, прошептал он племяннице, ты это пережила. Он еще что-то сказал, но Глори уже погрузилась в сон и боль, и смысл ускользнул от неё. Как будто он сказал: Это война. Или: Твоя вина.

* * *

Каждое утро в 4.30 Виктор стучит в дверь и приносит пончик с шоколадом и пакет молока. Дверь запирай, говорит он. Если нужна помощь, набери ноль – офис мотеля. Он уходит. Глори ложится и слушает шум оживающей стоянки. Заводятся дизели, хлопают двери. Сонные, невнятные голоса мужчин за её дверью. Слышен стук грубых башмаков по стальной лестнице, и вдруг громкий автомобильный гудок – кто-то из рабочих заспался. Она свернулась калачиком под одеялом, в пальцах рукоятка ножа. К пяти стоянка почти пуста. Пока не проснутся дети, жены и подруги, отель «Джеронимо» тих и безлюден, как заброшенная церковь, – тут-то Глори и спится покойней всего.

Поздним утром, когда начинается беготня по лестницам и дети ныряют в глубокий конец бассейна, когда жены и подруги отправляются работать в обеденную смену или за продуктами, когда уборщица стучит в дверь, дает ей стопку чистых полотенец и хочет войти, поменять постельное белье, Глори говорит, нет, спасибо. К этому времени у неё уже несколько часов работает телевизор. Под жужжание мыльных опер и реклам стирального порошка она спит, завтракает, моется, принимает душ, выглядывает за занавеску, наблюдает, как ползет по полу полоска солнечного света. Раза два снимает телефонную трубку, думает позвонить Сильвии, но с февраля

она ни с кем не говорила из одноклассниц. И что она скажет? Привет – от самой глупой девчонки на свете, которая залезла в пикап незнакомца и захлопнула дверь? Чье фото появилось в газете и ославило её навсегда?

Дядя возвращается каждый вечер в семь часов, приносит пакет из «Уотабургера» или KFC и какой-нибудь подарочек – журнал, гигиеническую помаду, электрическую плитку, банки с супом ей на обед, арахисовую пасту, коробку крекеров, незаполненный сборник упражнений по испанскому, найденный возле качалки. Каждый вечер что-нибудь приносит, и когда отдает ей, она видит, что он изо всех сил старался отмыть руки от нефти.

Однажды вечером он приносит солнечные очки, портативный кассетник и три кассеты: Кэрол Кинг, Флитвуд Мак и Лидия Мендоса. Проехал всю западную Одессу, чтобы эту найти, говорит он. А машинка портативная. Можно ходить с ней куда хочешь, и штепселя не нужно. Показывает ей, куда кладутся батарейки и как подогнать по росту плечевой ремешок.

Не нужен он мне, говорит Глори. Не хочу никакой музыки, а если бы хотела, то не эту ерунду.

Ладно, Виктор складывает их в бумажный пакет. Оставлю на комод, вдруг передумаешь. Сейчас приму душ и посмотрим телевизор. Скоро Альма вернется, говорит племяннице Виктор, сядем вместе и будем смотреть передачи. Он послал родным в Пуэрто-Анхель письма с их новым адресом. Скоро Альма ответит, скажет, что всё у неё благополучно. У твоей мамы будет план, говорит он. Попытаемся перейти границу в сентябре, когда спадет жара.

Июнь, и островки волос на голове у Глори не гуще, чем пеньки перьев на куриной тушке. Волосы, как и остальное в ней, потихоньку оживают. Как Бренди Хендерсон, персонаж мыльной оперы «Край ночи», вынужден скрыться и исчезает из сюжета, жизнь Глори – долгая пауза, остановленная магнитная лента. Но скоро она будет готова двинуться. Наступит август, говорит дядя, ей надо будет дать показания. Наденешь красивое платье, войдешь в зал суда и скажешь правду. Я не пойду, говорит она. Мне все равно, что с ним будет.

На улице тридцать три градуса; кондиционер выключается, пощелкивает несколько секунд и замолкает. И скоро, словно ждал случая напасть, жар начинает просачиваться в окно, пробираться через трещины в подоконнике. Ползет из щели между дверью и ковром, лезет из отдушины над кроватью.

Обычно Глори переживает жару в ванне с холодной водой, но сегодня так жарко, что вода из крана идет теплая. Её смущают шрамы и отсутствие волос, она не хочет показываться людям, ей страшно и горько от того, что она потеряла себя, что она ранена, может быть, смертельно – всё это складывается в ощущение остановки, неопределенности, которого она не испытывала с февраля. Ей скучно. По крайней мере, так она сказала бы сегодня утром. Через несколько лет, возможно, назовет это одиночеством. Днем, порывшись в коробке, она находит купальник, купленный Виктором, – простой, синий, с крепкими лямками. Натягивает его, стараясь не смотреть на свой живот, на ступни и щиколотки, на звездообразный шрам посреди ладони.

Схватила за колючую проволоку, чтобы не упасть? – спросил Виктор, когда она показала ему ладонь в больнице. Девочка, это покруче, чем в армии. Но я все равно упала, сказала она. Ну, эту часть твоей истории не надо рассказывать. Скажи, схватила за изгородь так, что шипы согнулись в ладони.

Истории? Нет. Это не моя история.

Она нажимает дверную ручку, хватается за железные перила галереи второго этажа. Сердце стучит, одна рука в кармане шорт, на ноже, прижатом к паху; Глори пытается вести себя так, как будто ходит в бассейн каждый день, как будто по десять раз на дню спускается с этой металлической лестницы, как будто она нормальная девушка.

Она сидит в шезлонге у дальнего конца бассейна, по-прежнему в футболке с «Лед Зеппелин» и джинсовых шортах поверх купальника. Перед тем как выйти, она завернула бутылку колы в махровое полотенце, и бутылка лежит рядом с её ногами. Глори быстро ее выпивает. Сколько недель уже она наблюдает из-за занавески за женщиной, которую увидела еще в их первый вечер в мотеле. Женщина каждый день приходит к бассейну с двумя детьми – пухленьким мальчиком, с такими же, как у матери, соломенными волосами, – он всегда в одних и тех же синих плавках, – и девочкой,

длинной и тонкой, как хвостинка, – её веснушки и рыжие пряди будто светятся на солнце.

Сегодня они проходят к мелкой стороне бассейна и, задержавшись, бросают взгляд на Глори, как будто она вступила на их территорию. Девочка ложится в шезлонг и раскрывает толстую книгу, а мальчик прыгает в бассейн с плавучими игрушками – выгоревшей пластиковой лодкой, теннисным мячом и надувным плотиком, заплатанным серебряной клейкой лентой. Мать несколько раз проплывает бассейн, потом обматывает волосы полотенцем, надевает темные очки и садится рядом с дочерью. Мать и дочь смазывают детским маслом ноги и руки. Потом ложатся и ждут, когда солнце сделает их розовыми, потом ярко-розовыми, потом красными, как вареный омар. На них одинаковые купальники с крупными желтыми и красными цветами: тощей девочке он великоват, а матери чуть мал.

Они, наверное, самые симпатичные люди из всех, кто встречался ей когда-либо. У мальчика дырка на месте двух передних зубов. Девочка снимает чешуйки кожи с обгорелых плеч и украдкой отправляет в рот, не отрываясь от чтения. У матери руки и ноги округлые, безволосые и розовые, будто вынуты из какой-то раковины.

Глори откидывается в кресле, закрывает глаза, но солнце печет ей веки, и нагревается нож, прижатый к телу. Она прячет его в белое полотенце, но через несколько минут снова убирает в шорты. Зной всё усиливается, она идет к кромке бассейна, окунает полотенце, отжимает, а затем накрывает им ноги, руки и лицо.

Мальчик подгоняет свой плотик к глубокой стороне бассейна и плещется у бортика, недалеко от Глори. Можете разменять доллар? вдруг спрашивает он, как будто бумажка спрятана у него в плавках, и сейчас он достанет её, смятую и мокрую, чтобы обменять на горсть монет. Глори смотрит на него, раскрыв рот, словно ошеломлен от его появления, в особенности – голоса.

Вы *по-английски* говорите? спрашивает он с растяжкой.

Ти-Джей! Не приставай к девушке. Женщина вскакивает, большая и стремительная, как фестивальная баржа, подхваченная ветром. Полотенце у неё на голове разматывается, сползает по спине, и она бросает его на пол. При своих размерах она двигается на удивление быстро и в несколько секунд покрывает расстояние до мальчика и Глори.

Ти-Джей отводит плотик от стенки. Почему вы не лезете купаться? с ухмылкой спрашивает он Глори. Бойтесь в воде запачкаться? Бойтесь спину намочить? Он хихикает и затыкает себе рот кулачком, словно проболтался. Бойтесь побелеете? По виду в нем килограммов тридцать пять, и Глори, хотя не умеет плавать, думает, что могла бы его утопить.

Мать опускается на четвереньки, протягивает руку и хватается его плотик. Это что еще, маленький ты поганец? Немедленно вылезай из воды. Она подтягивает плотик к стенке, хватается сына за руку выше локтя, и он сразу начинает выть. С улыбкой уже она поднимает его в воздух, а он машет руками и сучит ногами. Сила её вызывает изумление.

Глори уже на ногах, поднимает полотенце и смотрит на калитку. Ей надо пройти мимо женщины и мальчика или же длинным путем вокруг бассейна, мимо девочки, которая опустила книгу и смеется, сидя в шезлонге.

Подождите, говорит женщина. Можете подождать минутку? Раскрасневшаяся, тяжело дыша, она ставит сына на ноги и наклоняется над ним. Пальцами прихватывает мякоть его руки над локтем и щиплет так, что он вскрикивает. Ты у меня три дня не сможешь сесть на задницу, если еще услышу такое. Она еще сильнее сжимает пальцы, мальчик сопит.

Слышишь? Она не отпускает его руку.

Да, мама.

А теперь пошел наверх. Спать. Тамми! Отведи его в комнату, – она гневно смотрит на сына, – он устал. Последнее слово звучит неразборчиво. Он *усал*.

Девочка встает с книгой в руке и кричит маме: Там жарко, ты обещала отвести меня в библиотеку на колесах.

Посмотрим, может, попозже. Грудь женщины вздымается под футболкой. Марш в комнату. Живо!

Они смотрят, как мальчик, скандаля, топает по парковке. Потом женщина подает руку. Вы уж простите. Набралась этого от папашиной родни. Глори засовывает руки в карманы. Да мне все равно.

Я Тина Аллен из Лейк-Чарльза в Луизиане, а эти двое негодяев маленьких – Ти-Джей и Тамми. Мой муж работает на вышке около Озоны.

Глори смотрит на нее молча; Тина вздыхает и возвращается к своему шезлонгу. Роется в сумочке. Пойду куплю холодного попить. Тебе что-нибудь принести?

Нет, спасибо.

Да брось. Принесу тебе «Доктора Пеппера». Мне самой полегчает. Смех у Тины грубый, хриплый, напоминает Глори об одной ненавистной учительнице, когда она, троечница, мечтала научиться играть на гитаре, самой зарабатывать деньги и жить как хочет, когда эта учительница называла мексиканских детей «мои маленькие коричневые беженцы», когда Глори с подругой Сильвией украли резак из столярной мастерской и порезали у неё две шины. Жалко, не знаем, как порезать гадине тормозные шланги, сказала Сильвия и сделала руками так, как будто держит руль. Спасите меня, мои коричневые беженки! Глори до сих пор смеется в голос и ужасно скучает по подруге.

Можно попросить у вас сигарету? спрашивает она Тину.

Извини, но, кажется, тебе еще рано курить.

Мне не рано. Такой длинной речи от неё никто еще не слышал после больницы, кроме матери и дяди. Ей вдруг очень захотелось закурить и, может быть, посидеть с сигаретой, спустив ноги в воду.

Да, пожалуй, ты права. Тина подходит и дает тонкую, изящную «Бенсон и Хеджес». Можно присесть с тобой на минуту?

Они сидят и смотрят на парковку. Первый час дня, и солнце со всей силы хлещет их по телу. Кондиционеры так и не включились, на дворе тише обычного, но за дорогой подъезжают и отъезжают от склада труб и складов нефтяного оборудования безбортовые грузовики. За мотелем желто-коричневое поле, где ловят свет осколки стекла, зеленые, красные, синие. Дальше – деревянные домишки с голыми дворами и жиденькими занавесками, пропахшими противным заводским дымом.

Тина глубоко затягивается и, подняв лицо, выдувает дым в направлении солнца. Скучаю по Лейк-Чарльзу, хотя не сказать, что это земной рай. Куда ни плюнь, непременно попадешь в славного старикана с поганым характером, а в заболоченной протоке кишат аллигаторы, москиты и крысы с собаку ростом, называются нутриями, – она стряхивает пепел на пол и растирает большим пальцем ноги, – но рыбалка хорошая, и люди встречаются славные. И

деревья там растут – кизил, ирга, кипарис. Соскучилась по деревьям, и так иногда раков хочется... Мы с Терри приехали сюда, чтобы заработать на катерок. Креветок ловить. Больше ничего мне не надо: только лодку для Терри, чтобы на жизнь зарабатывать, да ребятам вернуться в школу. Не так уж много просим.

Она с улыбкой смотрит на Глори. А ты? Ты давно здесь?

Глори внимательно её слушала и понимает, что та ждет от неё каких-то слов, рассказа о своей жизни, откровенности в обмен. Я тут с дядей, говорит она. Он работает в Биг-Лейке, возит воду, промывает цистерны. Я поправляюсь после... несчастного случая.

Pauvre ti bête, говорит Тина. И в ответ на взгляд Глори: бедная девочка. Что у тебя с ногами?

Глори смотрит на них. Десятки мелких шрамов на ступнях и щиколотках – от кактусовых игл, случайных железок, осколков стекла, гнутых гвоздей, шипов, случайных обрывков колючей проволоки – от всего, на что наступала, уходя от его пикапа, – и у неё перехватывает горло.

Ничего, детка, говорит Тина.

Глори открывает рот, закрывает. Качает головой и смотрит на свою сигарету. На меня напал мужчина на нефтяном участке...

Черт бы всё это взял, говорит Тина. И после долгой паузы: Извини.

Я села к нему в машину и поехала с ним.

Да, беда, милая, говорит Тина. Ты ни при чем тут. Всё зло от него, ты ни в чем не виновата.

Несколько минут они сидят молча; потом Тина начинает рассказывать о том, какие деревья растут у них во Флориде, о корявых болотных кипарисах, роняющих зелень зимой, и живут по тысяче лет, о ниссе, об огичи с красными лаймами. Для еды они ни черта не годятся, но деревья дают хороший мед. Тина бросает окурок к загородке и тут же закуривает новую сигарету. Но ты не думай, что там сплошь зелень да хорошая рыбалка, говорит она и протягивает Глори пачку. Хочешь послушать анекдот?

Хочу. Глори берет сигарету и закуривает.

Знаешь, кто такая девственница в Лейк-Чарльзе? Тина затачивается и выпускает три ровных колечка к солнцу. На секунду они повисают в горячем воздухе, как дождевые облака.

Не знаю. Кто такая девственница в Лейк-Чарльзе?

Тина всхрипывает. Уродка двенадцати лет, которая умеет быстро бегать. Она умолкает и смотрит на воду. Кажется, я была не такая страшная и не такая быстрая.

Ха, откликается Глори. Ха-ха. И обе хохочут. Под жарким солнцем, с сигаретами, они чуть не катаются от смеха.

Ну и жара здесь – как в яйцах у землекопа, говорит Тина. Я иду плавать. Она встает, тушит недокуренную сигарету об пол, идет к столику и оставляет недокуренную на потом. Купальник обтягивает её большие груди, и она медленно опускается в воду. А ты, Глори? Здесь приятно.

Футболка и шорты Глори мгновенно набирают воду и тянут на дно, словно подбадривая: давай, тони. Она неважный пловец. Бассейны здесь – для белых детей; её подруги часто купались в резервуарах для скота, когда выезжали из города, но она никогда не залезала с ними. А сейчас оказывается, что может держаться на воде, если раздвинуть руки и тихонько подгрести ладонями. Тина и Глори лежат в воде рядом, с закрытыми глазами; солнце молотит по векам, грузом лежит на открытых местах тела. Они почти не шевелятся, и Тина вздыхает время от времени: черт, черт.

Когда они совсем сближаются, и ладонь Тины задевает её ладонь, Глори отдергивает руку, словно от прикосновения змеи. В конце февраля одна медсестра взяла её за подбородок и велела закрыть глаза, а другая осторожно перерезала швы у неё на макушке. Она вытаскивала пинцетом нити одну за другой и клала рядом в маленькую чашку около столика. С тех пор никто не прикасался к её коже.

Один раз я нарочно прожгла любимое покрывало матери, говорит Глори, и теперь жалею. Мы ссорились из-за школы. Я больше не хотела учиться. Хотела работать с ней, зарабатывать деньги. Хотела покупать вещи, купить гитару и брать уроки.

Дети много глупостей творят, говорит Тина. На моих посмотри. Твоей маме, может, плевать было на эту дырку в покрывале. Она вытягивает руки над головой. Глори в жизни не встречала такого легкого человека.

Так когда думаешь вернуться в школу? спрашивает Тина. Что хочешь делать, когда вырастешь?

Глори вынимает руку из воды и поднимает один палец. Первый вопрос: никогда. Разгибает другой палец. Второй вопрос: не знаю. Она часто уходила из школы в обеденный перерыв и уже не возвращалась. Бывало, кто-нибудь подвозил её и Сильвию до чьего-нибудь дома, и там они проводили остаток дня: слушали музыку, передавая друг другу косяк, смотрели, как та или другая парочка, обняв друг друга за талию, уходят по коридору в какую-нибудь из спален.

Тина вздыхает, её большое тело приподнимается и опадает в воде. Не пойдешь в школу? Правда? А я жду не дождусь, когда отправлю моих ангелочков в школу. Твоя мама права.

Может быть. Глори медленно плывет с закрытыми глазами, руки её медленно описывают круги в воде. Когда они снова сближаются, она берет Тину за руку и крепко сжимает. Ждет, и чуть погодя Тина мягко пожимает ей руку в ответ.

Больше они не увидятся. Этот день станет слишком значительным для Глори, и она замкнется в комнате 15 на целую неделю. Муж Тины найдет лучше оплачиваемую работу на буровой в море, ближе к дому, и после некоторых споров они среди ночи перенесут спящих детей в машину. К тому времени, когда Глори со своим ножом, полотенцем и бутылкой холодного «Доктора Пеппера» снова выйдет к бассейну, Тина уже будет дома в Лейк-Чарльзе. Но Глори никогда не забудет её доброту, её хриплый смех, прикосновение теплой, скользкой руки к её руке, когда они переплели пальцы и Тина спросила: когда это случилось?

* * *

В феврале, когда Альма и Глори ссорились каждый день из-за домашних заданий и из-за денег. Когда Глори сказала: я хочу бросить школу и пойти работать, хочу, чтобы у меня были свои деньги, и Альма сердито мотала головой. Работать должна она, а Глори должна учиться. Когда ребята заезжали в проулок за их квартирой и сигналили, пока Глори, схватив кроличий жакет, не выскакивала во двор, но не раньше, чем замолотит в дверь мистер Наварро и не закричит, чтобы Глори и Альма перестали лаяться. В Валентинов вечер, когда Альма ругала дочь по-испански, дожидаясь фургона,

который подберет её и повезет на работу, Глори ушла в спальню и, постояв над кроватью матери, небрежно, словно в горшке с цветами, загасила сигарету о её новое покрывало. Я тебя не понимаю, Альма. Не позволяешь мне учить его, и школа не учит, так по-английски говори, черт бы тебя побрал. И через два часа, когда последним долгим взглядом окинула парковку, Глори решила, что ей нечего терять. Когда влезла в пикап Дейла Стрикленда и захлопнула тяжелую дверь. Когда утро — как труп, неподвижно. Когда перекаати-поле, только что оторвавшись от корней, несутся по земле. Когда поднимается ветер и говорит тебе: встань. И она встает. Когда сучок мескита ломается под её босой ногой, и в тихом отзвуке хруста слышится голос дяди. Иди тихо, Глори. Когда она думает, что будет скучать по этому туго натянутому, пришитому к горизонту небу, потому что ей нельзя здесь оставаться — после этого. Где ветер вечно толкает и тянет, слабеет и набирает силу, поднимает в воздух, держит и роняет, когда все голоса и рассказы начинают и кончают одним и тем же. *Слушай, это война. Или: твоя вина.*

Сюзанна

В первую и третью пятницу каждого месяца Сюзанна Ледбеттер с дочерью приезжают в кредитный союз, чтобы положить на счета зарплатный чек Джона и наличные и чеки от продажи товаров компаний «Эйвон» и «Таппервэр»^[17]. Приезжают за несколько минут до девяти утра, чтобы избежать очередей: рабочие завода, расположенного за шоссе, обычно скопляются здесь в обеденный перерыв. Лорали ждет в машине или выходит на стоянку упражняться с жезлом, а Сюзанна заполняет приходные ордера для расходного счета, накопительного, пенсионного, отпускного, на колледж, свадьбу Лорали и еще на один счет, который значится в её записях как благотворительный. Этот счет она завела, еще когда работала в страховой компании, продавала полисы, и о нем никто не знает, даже Джон. Это её страховочная сетка. Если сильно припрет, у неё будет выбор.

Когда Сюзанна отдает ордера, чеки и деньги кассирше, та, как всегда, восхищается вслух четким почерком Сюзанны и аккуратностью стопки документов. Более организованного человека я не встречала, говорит она, и Сюзанна отвечает: Вы очень милы, миссис Ордоньес, и достает из сумки визитную карточку и образчик духов. Она предпочитает продавать товары, которые помогают женщине чувствовать себя красивой, поэтому не упоминает сейчас о новом контейнере для продуктов, который лежит у неё в багажнике. Но перед тем как уехать, подсовывает под дворник на ветровом стекле машины миссис Ордоньес каталог.

Конец июня, солнце убийственно. Каблуки Сюзанны вминаются в гудрон и гравий площадки; она идет к машине с закрытыми окнами и работающим мотором, где ее ждёт Лорали. Волосы прядками обрамляют её лицо. Они у неё рыжие, как у матери, а у Сюзанны – как у её матери.

Сюзанна захлопнула дверь, достает из сумочки салфетку, промокает лоб и подмышки. Сколько мы заработали за эту неделю? спрашивает дочь.

Сорок пять долларов. Нам надо добавить сегодня на тренировке.

Ты сможешь, говорит Лорали. Её жезл скатывается на пол, она наклоняется за ним и кряхтит – ремень безопасности врезается в живот. Она тянется к жезлу, толкнув ногами спинку кресла впереди. Ты лучшая продавщица в Одессе.

Это потому, что нет ничего приятнее, чем самой зарабатывать деньги, говорит Сюзанна. Её товар в белых пакетиках разложен на переднем сиденье, жалюзи вентиляции направлены точно на них. Она вынимает из сумки спиральный блокнотик и заносит в него выручку. Пять долларов нехватки до двухнедельного плана. За прошлые две недели она недобрала десять. Сюзанна последний раз промокает подмышки, надевает темные очки и освежает помаду на губах. Пора связаться с Арлин, думает она, откладывает блокнотик и берет большой линованный со списком дел. Отвезти Лорали на урок фортепьяно, завезти Мэри Роз запеканку, забрать Лорали, повесить вышивку в спальне Л., раздать подарочные пакетики дамам на тренировочном поле, заехать к доктору Бауману, съездить в кредитный союз. *Есть.*

Они опаздывают, поэтому она резко берет с места и, взвизгнув шинами, выезжает с парковки. Под зеленый свет на углу Дикси и Саут-Петролеум-стрит они проезжают на скорости шестьдесят миль, но все равно дорогу им преграждает поезд, Сюзанна тормозит и, постукивая ногтем по рулю, смотрит на проезжающие вагоны. Поезд ползет, останавливается совсем; пожевав палец, она дает задний ход и меняет маршрут. Никогда не полагайся на заботу мужчины, говорит она дочери. Даже такого хорошего, как твой папа.

Не буду. Дочь туго пристегнута, рядом с ней на сиденье ноты. Её туфли для чечетки и балетные в багажнике, там же сумка с купальником и большая пластиковая коробка с кухонными принадлежностями «Таппервэр».

Мне посчастливилось, потому что твой папа – самый хороший человек в Одессе, говорит Сюзанна. Но не все такие. Ты добьешься всего, чего хочешь в жизни, – она хочет встретиться с её глазами в зеркальце, – но ни на минуту не упускай из виду мяч. Кто упустил его из виду, получает им в лицо.

Сюзанна твердо верит в ясность и не признает даже мелкой лжи во спасение. Чем скорее Лорали получит полное представление об их месте в жизни, тем лучше. Поэтому говорит ей: Голь перекатная – так

говорят люди о моей родне. Голью были наши предки, арендаторы в Англии, голью – батраки в Шотландии, голью – издольщики, сначала в Кентукки, потом в Алабаме, и голью здесь, в Техасе, где мужчины становились конокрадами и охотниками на бизонов, куклуксклановцами и вигилантами, а женщины становились лгуньями и конфедератками. Вот почему нас только трое, когда садимся за обед в День благодарения. Вот почему никто не приедет в город на празднование Двухсотлетия. Я не пущу этих людей за стол даже под дулом пистолета.

Когда дочь немного подрастет, Сюзанна расскажет ей, что меньше ста лет назад они еще жили в землянках, прятались от сборщиков налогов и техасских рейнджеров и ждали, что придут команчи и нашьпигуют их стрелами. Предки Сюзанны были темными, существовали на отшибе и не знали, что война на Ред-Ривер закончилась пять лет назад и остатки команчей, по большей части женщины, дети и старики, согнаны в Форд-Силл. До самой смерти прапрадед Сюзанны носил кисет из мошонки апачи мескалери, которого он убил на Ллано-Эстакадо. Двоюродный брат Сюзанны Алтон Ли хранит его в кедровом сундуке, покрытом пятнами от потушенных сигарет и наклейками в виде флага Конфедерации.

Мне не хочется ходить на фортепьяно, говорит Лорали. Скучно.

Сюзанна стискивает зубы, потом прикусывает щеку. Девочка, ты думаешь, тебе тяжело достается? Когда я была в твоём возрасте, мальчика съел аллигатор. Нашли только его футболку «Даллас ковбойс» и один тапок.

Почему он его съел? Лорали слышала эту историю десять раз и знает, какой задать следующий вопрос.

Ну, он не обращал внимания на то, куда идет. Когда люди не смотрят, куда идут, их съедают аллигаторы. В общем, мама мальчика – её звали миссис Гудроу, и семья их жила в восточном Техасе с тех пор, как их выгнали из Луизианы, – она это пережила. У неё было еще восемь детей и особенно горевать было некогда, а вот папа его не мог оправиться. Так, по крайней мере, рассказывала нам, детям, твоя бабушка Арлин. Твоя бабушка могла продать стакан воды со льдом полярному медведю. И выторговать сладость у куска сахара. И хорошенькая была, как лужайка колокольчиков. Пять лет подряд она была королевой родео в округе Гаррисон.

Жалко, её нет с нами, говорит Лорали.

Нам всем жалко, милая. Перестань сутулиться, говорит она вслед уходящей дочери. Вдовый горб наживешь. Уроки фортепьяно. *Есть*.

Арлин и Лари Комптон таскали Сюзанну с братьями по всему западному Техасу в погоне за бумом. Стентон, Эндрюс, Озона, Биг-Лейк – всё время пытались отложить на черный день, но когда нефть дешевела или накапливались у торговцев необеспеченные чеки и это доходило до внимания шерифа, семейство живо укладывалось в машину. Сюзанна с братьями теснились сзади, а родители курили впереди, ругались, обвиняли друг друга. Если поторопиться, говаривал папа, увидим, как луна восходит над болотом. Мать сказала: черт возьми, Сьюзи. Перестань пинать мою спинку, или получишь у меня по первое число.

В восточном Техасе нашли обитую толем лачугу на краю болота, хозяин их фамилии не знал. А Комптоны – это вот кто: ребята Комптонов вернулись в город, так что не выпускайте кошек из дома, запирайте двери, спрячьте серебро, дочерей предупредите, – а если и знал хозяин, ему было плевать. Никто больше здесь жить не захотел бы.

Мама её была непредсказуема, как бродячие собаки, заходившие к ним во двор, когда Сюзанна забывала закрыть калитку. Папа отправлял её обратно, она выходила на темный двор, обещая себе, что в следующий раз не забудет закрыть. Что-то двигалось в темноте, и хотелось верить, что это просто лунные тени на голой земле. Утром, перед тем как уйти на поиски работы, когда братья еще спали или не вернулись со вчерашнего дня, папа, случалось, давал Сюзанне десять центов. Поменьше толкись тут, говорил он. Маме надо отдохнуть.

В такие дни она шла в город, возле которого они сейчас жили, тратила свои центы, и, когда солнце собиралось на боковую или сама проголодалась, Сюзанна возвращалась домой и, взявшись за ручку двери, прижавшись ухом к её щербатому занозистому дереву, рядом с похлопывающим по стене листом толя, пыталась понять, что ожидает её внутри.

Если верить доктору Бауману, Сюзанна вряд ли выносит еще одного ребенка. Матка у неё полна фиброзных опухолей, говорит он, а выкидыши плохо сказываются на организме, на душевном состоянии, на семье. Можно всё это убрать. Попрощаться с ними, говорит он, если все равно ими не будете пользоваться. «Ими» – это яичниками Сюзанны. Она почти не заметит разницы, говорит он, только прекратятся месячные. Тоже облегчение.

Сюзанна стучится в дверь к Мэри Роз, запеканка с курицей в той руке, на которой не кусала заусеницы. Она восхищается младенцем, его весом и ростом, и Мэри Роз, не колеблясь, отдаёт ребенка ей в руки. Когда Сюзанна рассказывает о визите к доктору, Мэри Роз огорчается, но смотрит она мимо Сюзанны – озирает двор и улицу. Они не разговаривали с тех пор, как Корина Шепард фактически обвинила Сюзанну в нетерпимости – дурацкий вымысел. А исходит это – слышала Сюзанна – от Д.Э. Пирс.

Да нет, говорит она Мэри Роз, у меня всё хорошо. В Камбодже вон люди голодают. Она смотрит на худую фигурку Мэри Роз, замечает синяки под глазами. У вас самой вид голодающей.

Мэри Роз смотрит на тарелку с запеканкой, как-то очутившуюся у неё в руке, на младенца, повисшего на сгибе другой руки, как сумка с продуктами. Хорошо, спасибо, произносит она без выражения.

Я прилепила там скотчем ко дну маленький каталог от «Таппервэра».

Мэри Роз проводит пальцем по дну стеклянной тарелки. А, поняла.

Еще один я дала подруге в кредитном союзе.

Сюзанна смотрит на обкусанный палец и быстро прячет руку за спину. Вы знакомы с миссис Ордоньес?

Мы держим деньги в Скотоводческом банке, говорит Мэри Роз.

Она симпатичнейшее существо. Сюзанна бросает взгляд на свои часы. Добавьте зеленый салат – и у вас готовый ужин.

Запеканка. *Есть.*

У Сюзанны намерения самые лучшие, но она не может не удивляться вслух, как могут люди быть такими глупыми. При всяком бедствии она изрекает что-то неуместное. В прошлом году, когда смерч пронесся по трейлерному посёлку на западе Одессы, убив троих и еще десяток человек оставив с травмами, она удивлялась вслух, зачем

соглашаются люди жить в таких ненадежных жилищах. Тех, которые уцелели, сказала она Рите Нанелли, следовало бы судить за то, что подвергают жизнь родных такому риску. А домашние запеканки, они что значат – что кому-то не надо самой готовить сегодня ужин. На это она способна. Если по рецепту требуется банка грибного крем-супа, она сама тушит свежие молодые грибки и вливает молоко, размешанное со столовой ложкой муки. И пусть её запеканка не вполне киш-лорен, в ней полный ужин – мясо, овощи и паста или крупа.

Печенье с шоколадной стружкой у неё на сливочном масле, а не на маргарине, и на коричневом сахаре она не экономит. Всё свежее, никаких консервов. Таков её девиз. Коричневая фасоль, кукурузный хлеб – это не для моей дочери, любит говорить она соседям, – и никаких детей, пока не закончит колледж. Её дочь никогда не будет есть тушеные одуванчики, мясо аллигатора, гремучей змеи, кормовую капусту. Не будет есть сома, и карпа, и другую рыбу, где надо вырезать красное мясо, пахнущее илом, и всегда будет после ужина десерт, пусть самый немудрящий. Каждый вечер перед ужином она зажигает две свечи, ставит их посередине стола и отступает, любуясь картиной. Красиво, говорит она Джону и дочери. Придают вечеру особый уют, даже в среду. И при этом свете не видна красная шишечка – назревающий прыщ на подбородке, и зуб со сколом – после падения в пятнадцать лет, и постоянно обкусываемые заусеницы.

Когда я была маленькой, говорит она дочери, что угодно отдала бы за дом с ковром, ванной, в которой можно лежать во весь рост, и с пианино, которое купила мама, лизнув и наклеив четыреста пятьдесят шесть *тысяч* зеленых марок S&H^[18]. Твой папа и я, мы в наших семьях первые за пять поколений смогли обзавестись собственным домом. Но когда-нибудь у тебя будет дом лучше этого. Ты выучишься в колледже и купишь дом еще больше этого, со вторым этажом и множеством окон, и будешь смотреть из них, как живет вокруг тебя мир.

Они вернулись с урока фортепьяно, *Есть*, и Сюзанна вешает вышивку над плетеным белым изголовьем дочериной кровати. Это единственная законченная работа за весь недолгий приступ рукоделия прошлой весной после выкидыша, такого раннего, что она не поняла, была это оборвавшаяся беременность или особенно болезненные,

тяжелые месячные. Вышивку она закрепила в латунной рамке: цепочка из тонких зеленых стеблей и белых роз вокруг слов «Чистый дом, Чистая жизнь, Чистое сердце». Взяв лишний гвоздик в зубы, она стоит на двуспальной кровати дочери и легонько постукивает рамку то по одному углу, то по другому, добиваясь идеального положения. Отступает на середину кровати, оценивает результат, потом чуть-чуть поправляет рамку, подвинув правый верхний угол. Идеально.

Лорали сидит на ковре, ссутулившись и скрестив ноги, слушает на своем маленьком розовом проигрывателе Гордона Лайтфута. С тех пор как выпустили эту чертову пластинку, она которую неделю крутится по двадцать четыре часа в сутки, каждый раз доводя Лорали до слез песней про корабль, затонувший в озере Верхнем.

Смотри, как удачно расположилась на стене эта маленькая вышивка, говорит Сюзанна, коснувшись легких волос дочери. Милая, не хочешь выключить ненадолго? Очень сентиментальная.

Может быть, им с Джоном съездить в Даллас, послушать мнение еще одного специалиста? Может быть, взять приёмного ребенка или, если снова позвонит кто-нибудь из братьев или двоюродных и попросит поддержать их ребенка, пока они там разбираются между собой, – Сюзанна согласится, при условии, что оставят ей ребенка насовсем? Если она согласится на процедуру, то никому ничего не скажет, пока всё не закончится. Ляжет в больницу. Сделает операцию и вернется в любимую кухню до того, как Лорали приедет домой, до заводского гудка, когда придет со смены Джон.

Сюзанна идет к кухонному столу за желтым блокнотом и подарочными пакетами, принесенными сегодня из машины. Выглянув в окно, она видит Д.Э. Пирс, на велосипеде наматывающую круги перед её домом. Бросив всё, она выбегает наружу и зовет: Эй, Дебра Энн Пирс, поди-ка сюда. Я хочу с тобой поговорить. С пронзительным визгом девочка уносится по улице, крепкие ноги работают, как шатуны паровой машины. Она круто сворачивает перед носом грузовика, проехавшего знак «стоп» на углу, и гонит дальше.

Чтобы не сшиб кто-нибудь из игроков, не спускающих глаз с мяча, они идут по краю поля. Когда Лорали задумывается и начинает отставать, Сюзанна напоминает ей: будь внимательнее. Теряешь внимание – и раз, кто-то пришел и угнал вашу машину, или приходишь из церкви, а вся твоя мебель на лужайке и тихо погружается в трясину.

В одной руке она несет пластиковый контейнер для еды, в другой шесть пакетиков от «Эйвона». Еще три подарочных пакета у неё в тяжелой сумке через плечо. Жара на поле – как у черта под мышкой, но рыжие волосы Сюзанны аккуратно убраны за уши. Её оранжевые бриджи отутюжены, блузка белая, как цветок магнолии. Даже здесь, на жарком пыльном футбольном поле, она хочет выглядеть так, чтобы соседи сказали: Сюзанна Ледбеттер выглядит так, словно только что вышла из самолета.

Лорали идет чуть сзади, опустив голову; жезл – в локтевом сгибе, прижат к груди. Ноги у неё – как у зайца, веснушек на лице так густо, как будто перед ним взорвался красный фломастер. Перед выходом Сюзанна снова завила ей волосы, но они уже распрямились, и посреди лба висит одна непокорная прядь. Не горбись, говорит Сюзанна, и Лорали вышагивает по полю, вскинув голову и сжав жезл, как Юдифь – меч.

На футбольном поле команда делает «упал – отжался – прыгнул». Когда доходит до пятидесяти, тренер Аллен приказывает повторить. По лицам ребят течет пот, фуфайки и щитки потемнели от влаги. Один падает и лежит. Кто-то плещет ему в лицо холодной водой, зрители смеются. Подумаешь, когда был матч, тренер вылил им на головы *ведро воды со льдом*. Однажды у парня был тепловой удар, и он не ушел в раздевалку. Так и доигрывал.

Сюзанна и Лорали подходят к трибуне, где сидят болельщики с банками холодного пива и пластиковыми стаканами чая со льдом, которые они держат между колен. Кто-то из них говорит вполголоса: Бог её не обидел, – и Сюзанна понимает, что говорят о её дочери. А Лорали возвращается к краю поля и начинает выписывать жезлом восьмерки.

Молодец, детка, кричит ей мать. Попробуй обратный флеш и следом флип «Маленький Джо».

Лорали заводит руку за спину и вертит жезл; в конце концов он отлетает и падает на землю с мягким стуком. Какая способная, говорит

одна из женщин. Надеюсь еще увидеть её через несколько лет в перерыве матча. И *высокая*, замечает другая. Благослови её Бог. Попробуй вертушку, подает голос Сюзанна. Попробуй двойной пируэт. Лорали бросает жезл к солнцу, делает два оборота на месте, жезл падает и откатывается к боковой линии.

Сюзанна поднимается по трибуне и раздает бело-розовые пакетики «Эйвона». В каждом каталог на будущий месяц, помада, тень для век, духи, крем, лосьон. Каждая вещь завернута в розовую папиросную бумагу и аккуратно перевязана узкой белой ленточкой. С улыбкой благодаря каждую покупательницу, Сюзанна складывает их чеки и деньги в белый конверт и прячет его в сумку.

Почти наверняка какой-нибудь из родственников Сюзанны задолжал кому-то из мужчин, сидящих на другом краю трибуны. Почти наверняка в добрые старые дни её мама всучила необеспеченный чек кому-нибудь из их отцов. К ней они, конечно, не в претензии, но женщина может всю жизнь потратить, доказывая, что все вокруг неправы. Так что Сюзанна всегда в движении. Она собирает, возит, доставляет. Она предлагает помощь, считает, планирует, становится на колени, чтобы подобрать крошки, не видимые другим. Всегда нужно привести что-то в божеский вид – стол, окно, лицо дочери.

Встречай жестче! – кричит болельщик. – С таким настроем вам «Мидленд Ли» не обыграть, говорит другой. Два парня врезаются друг в друга с глухим шлепком и несколько секунд лежат не шевелясь. Ерунда, кричит еще один с алюминиевой скамьи, подумалось, чуть-чуть звякнулись. Вставайте, ребята, кричит тренер, и они медленно перекатываются на бок, поднимаются на колени, встают.

Раздав пакеты «Эйвона», Сюзанна отпирает пластиковый контейнер, который принесла ей из машины Лорали. Там три дюжины шоколадных кексиков – будут розданы команде после тренировки. Одна из женщин заинтересовалась контейнером, и Сюзанна раздает каталоги. На будущей неделе у неё рекламный вечер. Будут сэндвичи с сыром и чай. Захватите чековые книжки. Она подмигивает им, точно так, как подмигнула бы Арлин.

В удачный день мать Сюзанны могла выговорить семечки из огурца. Все знакомые возлагали на неё большие надежды. Она мастерски оценивала ситуацию и могла выступить в любой роли –

адвентистки, карточного шулера, отчаявшейся мамы, нуждающейся в небольшой помощи. В Бланко она была примерной католичкой. В Лаббоке говорила на незнакомых языках^[19] и ходила босиком по углям. Пока они жили в Пекосе, она убедила всех, что лишилась зрения из-за взрыва газа. Семья смеялась всю дорогу до границы округа.

Всё это пойдет на обучение Лорали в колледже, говорит женщинам Сюзанна. Это не совсем точно, но более или менее правда.

Чем бы она ни решила заняться, она добьётся успеха в любой области, говорит одна из женщин и поворачивается к соседке, чтобы обсудить погоду, футбольную команду, цену на нефть. Одна из женщин сообщает новости о деле Рамирес, другая недоумевает вслух, чем занималась мать девушки, когда её дочь болталась на улицах. Скажу вам, чем она *не* занималась, вступает Сюзанна. Не обращала на неё внимания.

Мм-даа – отзывается другая.

На её месте могла оказаться любая из наших дочерей, говорит третья.

Моя нет, – говорит Сюзанна. – Я ни на минуту с неё глаз не спускаю.

Тут один из футболистов выходит за боковую линию на траву, и его рвет. Лорали бросает жезл высоко в воздух, трижды поворачивается кругом и с улыбкой смотрит в небо. Жезл ударяет её в глаз с такой силой, что даже тренер Аллен охает. Вопль Лорали несется над полем, как пыльный вихрь. Пронзительный, он бьёт по ушам и прямо по сознанию.

Сюзанна сбегает по трибуне, алюминиевые ряды вздрагивают под её тяжелым шагом, сумка бьет по бедру, в верхнем ряду тают забытые кексы. Она хватает дочь за плечи, заглядывает в глаз. Глаз только чуть-чуть покраснел. Похоже, обойдется синяком.

Ничего страшного, говорит она дочери. Приложи немного земли. Но Лорали воет и воет, и тут всё как будто застывает: тренер Аллен перестает кричать игрокам, женщины перестают заглядывать в подарочные пакетики, болельщики перестают руководить игрой с трибуны, и даже команда останавливается – и все они, кажется Сюзанне, устремляют взгляд на неё, словно требуя: сделай же что-нибудь.

Ненавижу этот жезл, кричит Лорали.

Нет-нет. Сюзанна грызет палец и оглядывается на ряд, занятый болельщиками, – они сидят, разинув рты, ждут, как она распорядится ситуацией. Нет, она любит, кричит Сюзанна.

Лорали опять взывает, валится на землю и катается, прижав ладонь к глазу: *Ой, ой, ой*.

Прекрати, яростно шепчет Сюзанна. Хочешь, чтобы все увидели, как ты плачешь? Она поднимает дочь на ноги, быстро ведет через поле, заталкивает на переднее сиденье машины, все время уговаривая её замолчать, черт возьми, и вести себя как взрослая. Она включает зажигание, направляет жалюзи вентиляции на лицо дочери и теперь видит, что глаз начал заплывать. Шишка будет с грецкий орех.

Поедем домой? тихо спрашивает Лорали.

Одну минуту, детка. Сюзанна осторожно закрывает дверь. Она идет к задку машины и, прислонясь к багажнику, ждет окончания тренировки.

Через несколько минут футболисты вбегают в раздевалку, а тренер идет в кабинет смотреть запись. Болельщики спускаются с трибуны и расходятся по своим машинам и грузовикам, продолжая обсуждать футбольный сезон, цену на нефть и прошлогодний мартовский концерт Элвиса Пресли на стадионе. Три человека подходят к её машине, один за другим, смущенно задерживаются, глядя на переднее сиденье; Сюзанна извиняется за поведение дочери, потом лезет в сумку и вручает каждому пакет с подарками: один для жены, один для подружки, один – для него самого, хотя и не подаст виду, что знает. Она улыбается, подмигивает и прячет денежки в белый конверт. Показывает им товары «Таппервэра» в багажнике.

Когда-нибудь Сюзанна умрет – и что скажут о ней люди? Что она задолжала половине города? Что была законченной пьяницей? Что умерла, не имея ночного горшка и окна, куда его вылить? Нет, нет и нет. Скажут, что Сюзанна была хорошей женщиной, умной, деловой, держалась правил. Ангелом земным была, скажут, и город наш осиротел с её уходом. Она смотрит на свой список, вздыхает, берет ручку и, наклонившись, гладит дочь по спине. Никогда не плачь при чужих, родная. Вот что я хотела сказать.

Лорали садится прямее, вытирает нос тыльной стороной ладони. Знаю.

Ты должна быть крепче их.

До знакомства с Джоном Сюзанне не раз приходилось уворачиваться от кулака или пощечины. Уворачиваться от пальцев, прихвативших зад, ползущих по спине, глядящих по плечу. Ей было двенадцать лет, когда её впервые взял за грудь мальчишка, но подробностей она дочери не сообщит, мала еще. А сейчас, сидя рядом с ней в кабине с включенным кондиционером, она скажет вот что:

Когда я была чуть старше тебя, один мальчик хотел меня полапать. Он подошел и у Бога и людей на глазах схватил меня.

А ты?

А я взяла доску и огрела его по голове. Он упал. И три дня не приходил в себя. Его зашивали – пятнадцать швов или двадцать, не помню.

Тебе что-то было за это?

Да ничего. Его мама послала шерифа, чтобы выяснил у меня, как это было. Я рассказала, и знаешь, что он мне сказал? Сказал: в другой раз возьми доску со ржавыми гвоздями и попроси кого-нибудь из братьев отволочь его в болото к аллигаторам. А потом дал мне доллар – это как теперешние пять. Он погладил меня по голове и сказал, чтобы мама зашла к нему завтра, поговорить о другом деле. Сьюзи Комптон, он сказал, ты самое лучшее, что у нас есть. И знаешь, что я сделала с тем долларом?

Купила конфет?

Нет, моя милая. Я положила его в шкатулку с замочком и ключ от неё носила на шнурке на шее, пока не ушла из дома совсем.

Корина

Когда Дебра Энн спрашивает, нельзя ли взять на время армейскую палатку Поттера, двадцать лет пылящуюся в гараже, Корина рассказывает девочке, что они с Поттером провели в ней много счастливых ночей, когда охотились на белохвостых оленей в Биг-Бенде или любовались ночным небом в Гуадалупских горах. Первый настоящий семейный отпуск был у них летом 1949 года: они втроем смотрели в Большой каньон – Поттер и Корина так крепко держали Алису за руки, что она захныкала. Когда возвращались в палаточный лагерь, Алиса стояла между ними на сиденье, и всякий раз, когда попадали в рытвину, они смеялись и протягивали руки перед ней, чтобы не упала, и говорили: смешно было бы, если бы Алиса вылетела в окно. Когда она спустилась с сиденья и уснула на полу в ногах у Корины, Поттер выключил радио и поехал тихим ходом. Потом они перенесли дочь в палатку, застегнули в спальном мешке и положили между собой.

Д.Э. зевает, шаркает ногами, трет глаза и щиплет бровь. Ага, миссис Шепард. Можно взять палатку?

Вот что происходит, когда ты такая старая: все время вспоминаешь, что еще осталось в памяти. А у тебя как дела, мисс Пирс? спрашивает Корина, и Дебра Энн улыбается. Первая искренняя улыбка у девочки с Четвертого июля; праздник наступил и прошел, а от Джинни никаких вестей.

У меня дела хорошие. Я хочу помочь моему другу Джесси вернуться домой в Теннесси.

Кому? начинает было Корина, потому что Дебре Энн пора бы уже расстаться с выдуманными друзьями, – но решает не продолжать. Кто знает, какую историю сочиняла Д.Э. все лето, какими фантазиями развлекала себя? Кто поймет, что у ребенка в голове?

Дела *идут* хорошо, детка. А как там Питер и Лили?

Они выдуманные. А Джесси – настоящий человек.

Хм-м. Корина отодвигает волосы от глаз девочки. Приходи завтра, подстрижем тебе челку.

Дебра Энн уходит с палаткой по улице, в свободной руке держа бутерброд с маслом и сахаром, а Корина наливает себе стакан пахты и делает сэндвич с яичницей, поглядывая на экран телевизора, вполуха слушая новости. Джимми Картер, утечка газа, нефть дорожает, говядина дешевеет, ни слова о Глории Рамирес и о суде, до которого осталось меньше месяца, – зато новый ужас. Ведущий подключает репортера на нефтяном участке под Абилином. Обнаружен труп местной жительницы, четвертый за последние два года. Вот что несет городу нефтяной бум, жаловалась Корина мужу. Съезжаются отъявленные психопаты. А если верить прогнозам, бум еще только начинается. Она выключает телевизор и выходит, чтобы передвинуть разбрызгиватель.

Лето выдалось сухое, как порох. Корина утром включает разбрызгиватели и постепенно перемещает их по двору. В середине дня она съедает сэндвич, пьет чай со льдом и виски, потом едет в «Страйк-ит-рич» за сигаретами. Несколько недель назад она загнала пикап Поттера в гараж навсегда. Влезать в кабину и вылезать – пытка для её коленей. В нем нет приемника, нет темно-красного плюша, которым обит её «Линкольн», нет ощущения, будто плывешь по Восьмой улице на яхте. Иногда она ставит в гнездо стакан с чем-нибудь приятным и ездит по городу с открытыми окнами, сердито переглядываясь с дальнобойщиками и шоферами трейлеров, которые мешают ей сменить полосу. Пусть противна ей нефть, но она обожает эту жару и землю, её скудную красоту и неумолимое солнце. Это чувство она разделяла с бабушкой и так же любила выпить за ужином кофе с шоколадным пончиком.

И еще одно обыкновение у Корины: каждый вечер в десятом часу, когда стемнеет, она садится в пикап Поттера за закрытыми воротами гаража, с ключом в зажигании. Час или дольше она сидит так, жалея, что не хватает ей решимости. Потом возвращается в дом, оставив ключ в зажигании, наливает себе еще, закуривает и выходит на веранду. Пять месяцев как ушел Поттер – до чего же отвратное слово – *ушел* – как будто забрел далековато в пустыню и сейчас спохватится, повернет назад, вернется к ней.

Алиса звонит каждое воскресенье, всё собирается приехать, проведать её. Хочет, чтобы Корина подумала о переезде на Аляску. Я ужасно беспокоюсь о тебе, говорит она матери в конце июля.

Если перееду на Аляску, на мои-то похороны придешь?

Мама, как ты можешь так говорить? Ты не представляешь себе, каково мне тут.

Но Корина не хочет длить этот разговор – глядишь, так на годы растянется. Наверное, не представляю. Пока, моя милая.

* * *

Каждый август, почти тридцать лет, преподавая английский в душном классе сыновьям фермеров, девушкам из группы поддержки, неотесанным задавалам, пахнущим лосьоном после бритья, Корина находила в осеннем списке, по крайней мере, одного какого-нибудь нескладёху и мечтателя. В хороший год таких бывало и два, и три – чудаков, отщепенцев, виолончелистов, гениев, прыщавых валторнистов, поэтов, астматиков, лишенных радостей футбола; девушек, не научившихся скрывать свой ум. Истории спасают жизнь, говорила таким Корина. А остальным говорила: вас разбужу, когда закончим.

Пока маленький вентилятор и тюремного размера окошко, открываемое по утрам, героически трудились, выгоняя запах пота, жвачки и злобности, Корина обводила взглядом класс, оценивая настроение своих разнообразных пленников. Неизбежно какой-нибудь мелкий засранец надувал жвачку, или рыгал, или пукал, но один из ребят, или двое, или трое запоминали её слова навсегда. Они заканчивали школу, уезжали к чертям из Доджа^[20] и слали ей письма из Техасского университета, или из Технологического, или из армии, а один – даже из Индии. И по большей части Корине-учительнице этого было достаточно. Когда я говорю «истории», объясняла она этим грешным душам, я имею в виду еще и стихи, и гимны, и пение птиц, и шум ветра в деревьях. И крики погони, и зов, и отклик, и тишину между ними. Я имею в виду память. Так что держитесь за это, когда вас кто-то будет лупить после школы.

Истории могут спасти вам жизнь. В это Корина верит и сейчас, хотя с тех пор, как Поттер умер, не может сосредоточиться на книге. И память блуждает – иногда ветерок над безлесной равниной, иногда

смерч поздней весны. Вечерами она сидит на веранде, и эти истории чуть-чуть продлевают ей жизнь.

В жизни Корины было много месяцев и лет таких непримечательных или неприятных, что почти ничем не запомнились. Она не помнит, например, рождения дочери зимой 1946 года и почти ничего о первом месяце после этого, зато помнит до мелочей 25 сентября 1945-го, когда вернулся из Японии Поттер, невредимый, если не считать ночных кошмаров и отвращения к полетам. Трех лет в кабине В-29 хватило по горло, сказал он Корине, отныне ноги моей не будет в самолете. Пять месяцев, как Поттер умер, но голос его отчетлив в ушах Корины, как удар грома.

* * *

Он дома на трехдневной побывке, и в первый раз они сошлись на заднем сиденье машины её отца. Сидят лицом друг к другу, испачканные кровью, улыбаются, и больно черт знает как. Это было ужасно, говорит Корина. Поттер смеется и обещает, что в следующий раз будет лучше. Целует её в веснушчатое плечо и запел: «Как мне радостно думать о большой пестрой птице... и знать, что записан в её священной книге»^[21].

* * *

Корине десять лет, сидит в первом ряду на похоронах бабушки. Отец так плачет, что не может сказать надгробное слово, и вместо него говорит священник. Только тут она осознает весь ужас их потери.

Ей одиннадцать, и впервые она присутствует при рождении теленка: шаткие ножки, жалобный плач – и она думает, с какой радостью наблюдала бы это бабушка.

Ей двенадцать, папа приходит с буровой без двух пальцев и с бутылкой самогона. Не плачь, малышка, говорит он ей. Да они мне не нужны, эти два пальца. Вот если бы без этих двух – он показывает другую руку и шевелит пальцами – и оба закатываются смехом. Но она

помнит, что сказала бабушка, когда они впервые увидели нефтяную вышку. Помоги нам всем, Господи.

Ей двадцать восемь лет, звонит бригадир и говорит, что был взрыв на стэнтонской скважине. Она едет в больницу со спящей рядом Алисой, думая, что Поттер уже мертв, и не представляя себе, как сможет дальше жить без него. Но вот он – сидит в постели с дурацкой ухмылкой на лице. Лицо и шея в уродливых ожогах. Милая, говорит он, я свалился с платформы перед самым взрывом. И улыбка гаснет. Не всем так повезло.

Октябрь 1929 года, отец Корины приехал домой, обедает. Человек, не терпящий пустых разговоров – «трепотни», – сегодня говорит без умолку, не успевает даже прожевать сэндвич. Выброс на скважине Пенна такой сильный, что куски буровой колонны, земля и камни взлетели на пятьдесят футов. Взорвалось в девять часов утра, и нефть до сих пор вытекает. Не представляю, сколько баррелей вылилось в пустыню. Буровой мастер не знает, когда удастся запечатать скважину. Это исторический день для нас, говорит Престидж Корине и её бабушке Виоле Тиллмен. Одесса станет знаменитой.

Корина и Виола уже берут свои шляпы и перчатки, но Престидж качает головой и отправляет в рот последний кусок сэндвича с яичницей. Нефтяная скважина не место для девочек и – он смотрит на Виолу – пожилых дам. Оставайтесь дома. Я серьезно говорю.

Корина рослая для своих лет, но все-таки должна сесть на краешек сиденья в отцовском «Форде-Т», чтобы достать ногой до педали стартера. Кренясь и подсакивая на сиденьях, девочка и старуха едут по плато Ллано-Эстакадо; герефорды Престиджа смотрят на них и жуют, жуют. Еще за милю до скважины Пенна небо становится черным, и земля под машиной начинает дрожать. Воздух мусорный, им приходится закрывать рот носовым платком. Помоги нам всем, Господи, говорит Виола.

Нефть падает с неба, разливается по земле, покрывая всё вокруг – полынь, голубую грамову траву, любимую Виолы, бородач и бизонову траву, достающую Корине почти до пояса. Семья луговых собачек стоит поодаль от расширяющейся ямы, они перелаиваются, подняв морды. Маленькая самка подбегает к яме и заглядывает в неё, а Корина представляет себе, что на пять миль вокруг в каждой норке сидят испуганные существа и так и не успеют понять, что на них свалилось.

А полсотни мужчин и парней вокруг вышки не смотрят ни на траву, ни на зверьков, ни на землю. Они смотрят на небо, как зачарованные. Она всё живое убьет, говорит Виола.

Корина хмурится, нюхает воздух, а бабушка привалилась к двери. Лицо у Виолы побледнело, глаза мутные. Кашляет, прикрывает ладонью рот и нос. Запах этот, говорит она. Как будто все коровы в западном Техасе пёрднули разом. А наши деревья, кричит Виола, увидев, что купа молодых пеканов оказалась на пути у нефтяной реки. Что с ними будет?

Зато теперь западный Техас станет знаменитым, отвечает Корина, и папа говорит, что здешняя земля все равно ломаного гроша не стоит. Виола Тиллмен смотрит на внучку так, как будто видит её впервые в жизни. На Ллано-Эстадо, может, и нет ничего хорошего, кроме звезд, простора и тишины, зимних певчих птиц да острого запаха кедровой сосны после дождика, но она его любит. Старуха и девочка ездили на лошадях по сухим руслам и зарослям креозотового кустарника, потом сидели тихо, наблюдая, как семья пекари кормится среди опунций. Они вдвоем нашли и окрестили самое большое дерево на ранчо: Скачущий Призрак – за косматую кору, похожую на енотовую шубу Реда Грэнджа^[22]. Сейчас лицо у Виолы – цвета золы, и руки у неё трясутся. Отвези меня домой, говорит она.

Хорошо, бабушка.

Можешь отвезти меня обратно в Джорджию?

Через три месяца Виола умрет, и к тому времени её внучка так насмотрится на нефтяной бум, что будет всех их ненавидеть до самой смерти.

Три дня скважина Пенна будет без отдыха извергать сырую нефть. Лужа величиной в дом образуется за считанные часы и, прорвав берег, уничтожит всё на своем пути. Больше тридцати тысяч баррелей^[23] выльется на землю, прежде чем людям удастся заглушить скважину. А когда заглушат, будут стоять на скользкой платформе, чернолицые, чернорукие, будут кричать, пожимать друг другу руки, хлопать друг друга по спине. Оседлали её, будут говорить друг другу. Укротили.

С тех пор как умер Поттер, Корина изучила ночное небо не хуже, чем его лицо. Сегодня на Ларкспер-Лейн лунный серп поднимается на середину неба; он побудет там час-другой и начнет свой долгий спуск к западному краю земли. Лишь редкие звезды видны – «Ночь вскипает одиннадцатью звездами»^[24], и два часа уже, как закрылись бары. Улица темна, только дом Мэри Роз светится, как буровая платформа посреди черного моря.

Корина слышит Джона Ледбеттера раньше, чем он появляется сам. Его хэтчбек выезжает на перекресток Восьмой улицы и Кастера и, круто повернув, мчится сюда. Окна у него открыты, и музыка включена на полную громкость. Хриплый баритон Криса Кристоферсона того и гляди вышибет динамики из гнезд. От запотевшего стакана чая со льдом на бетонном полу веранды темное кольцо. Старухе Корине уже тяжело сидеть на полу, скрестив ноги, и, вставая с трудом, она чуть не разбивает стакан. Сейчас перейдет улицу и скажет Джону Ледбеттеру, чтобы выключил к черту радио.

Она уже на полпути, но в это время Джон сам убавляет громкость – улица снова безмолвна. В окне появилось лицо Мэри Роз; при кухонном свете её волосы выглядят белыми. Несколько секунд она стоит за стеклом, потом задерживает занавеску. Нога у Корины занемела, каждая капля виски, добавленного в чай, дает себя знать, но она все-таки переходит улицу. Джон сидит в машине, положив руки на руль, по радио – грустная песня.

Корина почти не знакома с молодым соседом, мужем Сюзанны – он вечно на работе, выезжает на завод среди ночи, после гудка, но ей привычно видеть этот наклон плеч и пятна на руках. Иногда так выглядел Поттер в первые недели и месяцы после возвращения с войны.

Она подходит к машине, но сидящего боится побеспокоить. Тихим голосом спрашивает, не хочет ли он посидеть у неё на веранде, выпить холодной воды или чего-нибудь покрепче. У неё есть эта пластинка – если Джону захочется послушать еще раз.

Большой послевоенный бум только начинается, война позади, и люди уже заглядывают с надеждой в будущее. Корина и Поттер, взявшись за руки, ходят по площадке нового автомагазина на Восьмой улице. Иногда пинают шину, раза два садятся в автомобиль, проверить его на ходу, и, наконец, платят наличными за «Додж»-пикап, очень собой довольные. Это прекрасная машина, новая модель «Пайлотхаус», с рядным шестицилиндровым двигателем. Поттер убеждает Корину потратить немного лишнего за удлиненный кузов, для дальних поездок, чтобы можно было лежать там и смотреть на Млечный Путь.

* * *

Едва обозначился живот у Корины, как директор пожимает ей на прощание руку и отправляет домой с банкой знаменитого овощного маринада, приготовленного его женой. Какого черта я буду делать шесть месяцев, кричит она в кабинете школьной секретарши – вязать пинетки? Секретарше видеть такое не впервой. Её дети покинули дом десять лет назад, и хотя любит их безумно, до сих пор просыпаясь по утрам, благодарит Бога за то, что ей не надо готовить никому обед и отыскивать вместе с ними тетради. Детка, говорит она, ты выбыла больше, чем на шесть месяцев.

Девочка Алиса плачет каждую ночь с двенадцати до трех. Поттер и Корина не понимают, почему, и успокоить её не могут. Оба так утомлены, что у Поттера тик на левом глазу, и временами слышит то, чего нет. Корина плачет и проклинает себя за это, потому что, до того как стала матерью, никогда не плакала, никогда, никогда, ни разу.

* * *

В такие ночи, говорит Корина Джону, она не находит себе места в доме. Ни в гостиной, ни на кухне и уж, конечно, не в спальне. Ни одну вещь не может переложить – ни стопку телевизионных программ рядом с его креслом, ни полотенца, до сих пор висящего на крючке в ванной. До сих пор видит на ковре отпечаток от его банки с

нюхательным табаком, за который сорок лет его пилила. До сих пор видит на чехле руля ямку от его большого пальца и на матрасе слабую вмятину от его тела. Повсюду его туфли. Не может переключить телевизор на другой канал.

Не хочет ли Джон выпить? Она-то – очень.

Джон берет книжечку стихов, которую она оставила на веранде. Держит её осторожно, двумя пальцами, словно она может взорваться у него в руке. «Жить или умереть»^[25]. Он смеется. Это всерьез спрашивается?

Еще как всерьез, говорит она. Сигарету?

* * *

Все разговоры у них с Поттером – о деньгах и младенце. Ночами, лежа в постели, они спорят обо всем, что их злит. Она с ума сходит из-за того, что должна безвылазно сидеть дома. Он работает шестьдесят часов в неделю и не может взять в толк, почему Корина не радуется своей свободе. Оказалось, что она была совершенно не готова к скуке материнства. Он считает, что ухода за Алисой и домашнего хозяйства вполне достаточно для женщины. Почему не познакомиться с другими молодыми мамами, не сходить на церковное собрание или еще куда-то? Корина фыркает, закатывает глаза. Ладно, это займет, ну, два часа в день, говорит она. Вся эта болтовня насчет того, чтобы женщины сидели дома с детьми, если позволяют средства, – собачья чушь и бред сивой кобылы. Поттер говорит, что не представляет себе, как он скажет товарищам, что жена пошла работать. Мне насрать два раза, что там подумают товарищи. Они отворачиваются друг от друга и смотрят на противоположные стены. Такие вот дела.

* * *

Рабочий оступился, рассказывает Джон Корине. Может быть, от усталости. Может быть, поссорился с женой перед работой, или кто-то из детей заболел, или не спал ночами из-за неоплаченного счета. Может, работал вторую смену подряд, заменял заболевшего – человек

опытный, знал, что бум не длится вечно. Насчет сверхурочных у него философия простая. Бери, пока есть.

Может быть, всё просто: оступился, упал. Этим делом он занимался сотни раз и мог работать с закрытыми глазами – обычная проверка цистерн на наливной эстакаде перед тем, как их заполняют жидким этиленом и отправят в Калифорнию. Он стоял на верхней перекладине стальной лесенки, рассказывали Джону, когда машинист продвинул состав, чтобы подогнать еще одну цистерну. Сцепка натянулась, вагон дернулся, ноги у него соскользнули, и он упал на рельс. В обычный день он мог бы успеть откатиться, но колесо перерезало ему бедра. Мог бы успеть. Мысли об этом мучают Джона, но что в них пользы погибшему в его дежурство. Это моя обязанность – обеспечивать им безопасность, говорит он Корине.

* * *

Алисе шесть месяцев, и она не спит. Корина стоит под горячим душем и стучается головой о кафель, чтобы стало больно. Она не спит. Она не спит. Она не спит.

* * *

Их новый грузовичок летит, как облако, говорит ей Поттер, передвигая тугой рычаг скоростей. А послушай радио! Это хай-фай, высокая верность воспроизведения. Он поворачивает ручку громкости вправо до отказа. Поет Хэнк Уильямс и его «Бродячие ковбои»; Поттер шлепает ладонью по рулю и гикает. «Я попал к тебе в немилость так чертовски давно, что, когда меня целуешь, знаю – что-то не то». Поттер умолк.

Мм-м, – отзывается Корина.

Она посылает Поттера за чем-то в магазин и несколько минут слушает плач Алисы. Звонит директору школы. У нас бум, говорит она ему, и я подумала, вам могут понадобиться люди. Корина права: набор в школу увеличился вдвое, позарез нужен учитель английского. Как

отнесется Поттер к её возвращению на работу? – спрашивает секретарша. Пусть Корина попросит его позвонить директору.

Они не спят друг с другом месяцами – месяцами! – и это из-за Поттера. Махнул на себя рукой, так считает Корина. После того, как родила, Корина прошла, наверное, пятьсот миль, чтобы восстановить фигуру. Питалась кочанным салатом и яблоками – а сама мечтала о бифштексе с печеной картошкой и всеми приправами. Курила сигарету, а думала о шоколадке. С Поттером всё иначе. За время её беременности он потолстел – на тридцать фунтов, если быть точными, – вечерами в постели поедая мороженое, пока Алиса норовила выбраться на свободу из живота Корины. Он до сих пор лакомится им по вечерам – приносит чашку в спальню и ложится с ней на кровать.

Всё из-за ребенка, считает Корина. Она любит Алису до иступления, и в первые дни и недели после того, как им разрешили забрать дочь домой, была сама не своя. Самим отвечать за это хрупкое, драгоценное существо казалось Корине и Поттеру и чудом, и безрассудством; но в сознании самой Корины была неразрывная связь между причиной и следствием, между рождением дочери и тем, что муж перестал с ней спать. Он больше не берет её за бока, не смотрит на неё снизу, не проводит пальцем по красному пятну, которое проступает у неё на шее, когда она кончает, темнеющему, разливающемуся по подбородку и щекам.

Ребенок в постели, они сидят в креслах и слушают Боба Уиллса по радио. Корина пробует читать книгу, но все время прислушивается к малышке. А ведь читала когда-то, думает она. Стихи запоминала и, бывало, плакала, читая их вслух. Выходила из дому, когда захочется, и подолгу каталась на машине. Приносила домой зарплату.

Поттер решает кроссворд. Он кладет карандаш и несколько минут смотрит на жену. Слушай, тихо говорит он. Кори, можно тебя кое о чем спросить?

– М-мм. Пожалуй.

– Что тебе нужно?

– Нужно? Мне?

– Да. Что тебе нужно, Корина, чтобы быть счастливой со мной и Алисой?

Она не задумывается. Поттер, мне нужно вернуться на работу.

Милая, ты *работаешь*, ты ухаживаешь за Алисой и за мной.

Да. А предпочла бы учить гормональных обалдуев английскому.

Боюсь, школа будет непосильной ношей.

Едва договорив, Поттер уже жалеет о своих словах. И действительно, Корина тут же ощетиливается. Поттер, что ты несешь? Что за хреновину ты несешь тут? Мне нужно, чтобы люди перестали разговаривать со мной, как с записной идиоткой, с тех пор, как родила. Мне нужно, чтобы добрые дамы Одессы перестали советовать мне отелиться снова. Ха! Она захлопывает книгу и поднимает над головой. Поттеру кажется, что она его сейчас огреет.

Мне нужно вернуться к преподаванию, говорит Корина, потому что мне нравится держать полный класс заложников-подростков и читать им вслух «Мою Антонию» Уиллы Кэсер. Пусть сидит здесь какая-нибудь другая, и восемь часов в день – каждый день, Поттер, – строит глазки Алисе. Почему ты не задумаешься на минуту, каково это, если сам ты ни на день не оставлял работу?

Ты была прекрасной учительницей, говорит он, но кто будет ухаживать за Алисой?

Я до сих пор прекрасная учительница.

Они сидят и слушают тиканье часов. Лает соседская собака. На кухне включился новый холодильник, ровное гудение проникает в каждый уголок дома. До последнего дня жизни Поттер будет сожалеть о своих словах, но сейчас намерения у него самые лучшие; он кладет кроссворд на журнальный столик, подходит, садится на ковер в ногах у жены и размышляет вслух: рано нам или уже пора подумать о втором ребенке?

* * *

Утром первая мысль у неё – об Алисе; о ней же – последняя перед куцом ночным сном, и все часы в промежутке – тоже о ней. Она – вспышка молнии, огонь, нисходящий на можжевельник, на мескитовую рощу. Она – любовь, и Корина никак к этому не подготовлена. Вот человек, ради которого создан весь мир, и без неё этот мир невообразим. Если что-то случится с Алисой, если заболит, если несчастный случай, если змея проберется на задний двор, где

Алиса лежит на одеяльце, – этого достаточно, чтобы бросить женщину в объятия ближайшей церкви, а в случае Корины – в библиотечный фургон, который на прошлой неделе пригнали на свободный участок совсем недалеко от их нового дома.

* * *

Это долг Джона – приехать среди ночи к дому погибшего рабочего, постучать в дверь и ждать, когда жена ему откроет. Она боялась разбудить детей, рассказывает он Корине, поэтому они сидели на кушетке и ждали, когда приедет её сестра. Он держал руки на коленях, спрятав ногти. На заводе он вымылся в душе и надел чистую рубашку из своего шкафчика. Но кровь въедлива и, сидя на кушетке погибшего, он различал её под ногтями и в морщинах на суставах пальцев. Жена что-то спрашивала, и он что-то врал: кончился мгновенно, не мучился, даже не понял, что произошло. Джон смотрел на жену – она прижимала обе ладони ко рту. Но одно мог сказать честно: тот был не один. Джон был с ним, держал его лицо в ладонях и говорил, что всё обойдется.

* * *

Алиса уже ходит, и они решают выехать на шоссе, опробовать грузовичок на ходу, посмотреть, как тянет двигатель. Поттер звонит тестю – не возьмет ли он девочку на ночь. Ему хвалили горы в окрестностях Солт-Флэта, говорит он Корине. Там есть кемпинг, но лучше съездить туда до весны, пока не началась жара.

Поттер проветривает на заднем дворе свою старую армейскую палатку, проверяет швы, а Алиса на нетвердых ножках входит под тяжелый клапан и выходит, говоря нараспев единственную законченную фразу. А как же я? А как же я?

Корина складывает в сумку-холодильник пиво, холодного жареного цыпленка и картофельный салат и ставит в кузов три фляги с водой. Поттер прячет в бардачок бутылку бурбона, фонарь, два фальшфейера и свой армейский пистолет. Корина кладет туда же свой

карманный. Поттер засовывает в бумажник две резинки. Корина в свою сумочку – спермицидный крем, диафрагму и бумажные салфетки.

Пока Поттер кормит Алису, Корина стоит у кровати и смотрит на маленькое черное шифоновое платье, которое она носила до родов. Может быть, и налезет, но нелепо брать его в такую поездку. Надев кардиган и красную расклешенную юбку чуть ниже колена – Поттер обожает эту юбку, – она ищет в стенном шкафу черные туфли на высоком каблуке. По крайней мере, ехать в них можно. Сапоги она ставит рядом со своим чемоданчиком. В последнюю минуту она снимает трусы, оставив на себе только черные чулки и пояс. За тридцать лет своей жизни Корина ни разу не вышла из дому без трусов. Ощущение восхитительное. Она надевает свои новые очки, снимает их и, прищурясь, смотрит в зеркало туалетного столика. Снова надевает очки и выходит в гостиную. Оп-па! Она вскидывает руку.

У Поттера расширяются глаза. Со смешком протягивает к ней руки. Ого! Малыш, ты прямо библиотекарь.

Корина роняет руку. Благодарю покорно.

Кори, нет! Милая, просто хотел...

Но тут заплакала Алиса – идет к маме, подняв руки, как маленький разбойник под фарами шерифа. Корина торопливо обходит Поттера, он трогает её за рукав кофты. Мягкая, говорит он, но она его не слышит. Она пытается успокоить дочку, а Поттер так и стоит в дверях, протягивая к ней руку.

Они целуют дочь, глядят и разговаривают с ней так, как будто отплывают на пароходе в Африку. Потом передают её дедушке, вместе с листком инструкций. Взглянув на бумажку, Престидж складывает её пополам и прячет в карман рубашки. Ну, отлично, говорит он. Приятного путешествия. Не торопитесь обратно.

Они выезжают на новое шоссе в сторону Нотриса, едут мимо палаток, выросших на парковке за стадионом, – не всем еще построено жилье. Палатки стоят на голой земле, худые перепачканные дети играют, дерутся, валяются в пыли. Корина смотрит на них, прикусив большой палец. Наверное, большинство даже не записались в школу. Стыд, говорит она. Какое безобразие.

Почему? Поттер проверяет фары: включает, выключает, включает снова. Людям надо как-то зарабатывать.

Это позор – что люди живут в палатках на голой земле. Компании должны больше заботиться о них.

Думаю, они делают всё, что могут в нынешних обстоятельствах. Сюда съезжается много народу, очень быстро.

Ерунда. Нефтяные компании не заботятся об этих людях, ты себя не обманывай. Кроме того – она ищет в сумке помаду и пудреницу, – тебя не тревожит то, что они здесь делают с землей?

Поттер нажимает на газ. Меня гораздо больше тревожило бы, если бы не мог принести вам с Алисой еду на стол, если бы не мог откладывать немного денег на тот случай, если наша дочь решит поступить в колледж, как её мама.

Корина проводит густо-красной помадой по нижней губе и осматривает зубы в зеркальце. Она думает о том, что на ней нет трусов. Кожа сиденья ласкова под коленями. Не гони, говорит она. Мы не хотим попасть в аварию.

Слушаюсь, Корина. Поттер включает радио, и оба закуривают. Дым выходит в окна, они проезжают мимо грузовичков с полными кузовами людей. Некоторые смотрят тебе в лицо. Некоторые отворачиваются, словно бегут от кого-то – от полиции, от бандитов, от жен и малолетних детей, оставленных дома в Галф-Шорсе или в Джексоне, в каком-то унылом городишке, где нет работы и никаких перспектив.

Они проезжают мимо рулонов колючей проволоки и штабелей стальных балок, лежащих у самой дороги. Впереди, за четверть мили от них, останавливается пикап, и на дорогу спрыгивают две женщины. Они стоят на обочине, отчаянно машут руками, подъезжает другой пикап, и они залезают в кузов. Мужчины встречают их веселыми криками. Корина хмурится и подсовывает ладони под колени. Подкладка юбки липнет к заду, бедра мокры от пота. Что сейчас делает Алиса? – думает она. Прыгает на животе у дедушки? У него несколько дней будет болеть.

Когда они подъезжают к Ментону, солнце горит уже над краем земли. Они останавливаются у складного стола над обрывом; внизу река – мелкий, ленивый Пекос. Год выдался засушливый – здесь не утонешь, как ни старайся. В рассеянном свете река цвета коры мескита; над головой розовеют перистые облака. Они по очереди уходят в кусты пописать. Каблуки Корины вязнут в песке, она громко

хлопает в ладоши – отпугивает змей. Она понимает: глупо, что до сих пор не переобулась в сапоги; но с другой стороны, когда она выходит из-за кустов и широкая юбка колышется на ходу, Поттер присвистывает.

Приветствую, миссис Шепард. Девушка моей мечты.

Впервые за день, а может, и впервые за несколько недель на лице у Корины широкая улыбка. Привет, мистер Шепард.

После спокойного ужина – жареный цыпленок и пиво – они едут дальше на север. Ночь сгустилась, но по обеим сторонам шоссе горят факелы попутного газа. Поттер говорит, что в иные ночи можно доехать от Одессы до Эль-Пасо, ни разу не включив фары, – столько газа сжигают нефтяники. Светят не хуже солнца в западном Техасе.

Еще бы пахло не так противно, отвечает Корина. Хотела бы я знать, из чего он родился.

Сворачивают с шоссе на грунтовую дорогу к горам, и он выключает фары; вдалеке мерцают факелы. Поттер поглядывает на жену. Глаза её поблескивают в газовом свете, золотится веснушка на щеке, и он тихо запекает: «Фрэнки доброй девушкой была. Сотню за костюм Альберта заплатила. Это знают все – но скверно обошелся парень с милой». Он протягивает руку, трогает жену за колено, она вздрагивает. С тех пор как передали ребенка её отцу, они ни разу не прикоснулись друг к другу.

Корина накрывает его ладонь своей и поглаживает костяшку пальца. Ты со мной заигрываешь?

Поттер смеется. Ага, может быть. Немного.

Ну. Она глубоко задышала. Хорошо.

Он неожиданно сворачивает на другую грунтовую дорогу – эта уходит в пустыню. Несколько минут тряски, головы их качаются, как поплавки, а Поттер вглядывается в поперечные дорожки, узкие, почти как колея их автомобиля. Корина, подавшись вперед, смотрит в ветровое стекло. Куда мы едем?

Я помню где-то в этой стороне небольшой взгорок. С него хорошо смотреть, как восходят луна и звезды. Хочешь, остановимся, разомнем ноги?

Давай.

Через несколько минут он останавливается у мескитовой рощи. Место как будто приятное.

Они сидят в кузове, свесив ноги, курят, смотрят, как зажигаются первые звезды. Месяц – улыбка над краем земли; видно, как едет по пустыне поезд Берлигтон-Нордерн. Но он далеко, гудок его слышится, как тихий стон. Поттер спрыгивает, просовывает руку в пассажирское окно, и Корина слышит, что он открывает бардачок. Будем друг в друга стрелять? – говорит она.

Ха-ха. Шутница. Он возвращается с бутылкой бурбона, садится рядом, ставит бутылку между ног. Трогает носком землю. Много всего мог бы сказать он сейчас Корине, и она думает – не в первый раз – что могла бы, наверное, выйти за Уолтера Хендриксона, местного парня, научившегося писать песни кантри и *зарабатывать* на них.

Хотел бы, чтобы ты была счастливой, сидя дома, говорит Поттер.

Корина встает и делает несколько длинных шагов прочь от машины. Оборачивается – на лице ярость. Пошел ты к черту, Поттер.

У Поттера такой вид, словно он готов удрать в кусты. Может, ей посчастливится, и он упадет в заброшенный колодец или в гнездо гремучих змей.

Я тебе вот что скажу, Поттер. Единственное, что противнее мне, чем сидеть дома с Алисой, это чувствовать себя виноватой в том, что я этого не хочу. Голос у неё прерывается, она прижимает ко рту кулак. Она старается не заплакать и от этого злится еще больше.

Он отвинчивает крышку на бутылке, делает большой глоток, потом второй. Где-то в кустах подает голос куропатка. *Кура-кура-кура!* – отзывается другая. В небе падучие звезды, одна, еще одна... – и нет их. Он протягивает ей бутылку, Корина мотает головой и закуривает. Он наблюдает за ней минуту, потом встает и ставит бутылку в кузов. Берет жену за плечи. Корина – высокая дама, с формами, и все-таки почти на фут меньше мужа. Он пригибается и смотрит в её красивые глаза. Корина, прости.

Если бы он объявил себя сейчас советским шпионом, она удивилась бы не больше. Она никогда не извиняется, ни перед кем, ни за что, это один из ее недостатков, но и Поттер не из тех, кто будет рассыпаться в извинениях.

Корина трогает его щеку большой теплой ладонью. Такого не было у них уже много месяцев.

Поттер, когда ты летал над Японией, я целыми днями учила детей английскому языку, а потом с другими женщинами выезжала в поле и

помогала загружать скот в вагоны. К ночи выжата, как тряпка – без сил, Поттер, едва жива. Даже грудь болела к концу дня. Но чувствовала себя *сильной*. А потом вы вернулись с войны, и надо было поскорее нас трахнуть и спровадить на кухню, как старых коров в коровник. Может быть, так и надо. Наверное, многие женщины довольны таким раскладом, а может, просто не так сволочатся, как я. Корина отходит от кузова на несколько шагов и поворачивается к мужу. Я люблю Алису. Она самое лучшее, что мы с тобой сделали в жизни. Но слышишь, Поттер, я потихоньку схожу с ума.

Она возвращается к нему и стоит рядом у кузова. Некоторые факелы погасли, небо снова полно звезд. Корина не шевелится, спина прямая, как всегда, но руки у неё дрожат.

Вернемся, говорит он, и сразу начнем подыскивать женщину, чтобы сидела с Алисой, какую-нибудь из этих нефтяных вдов, про которых ты мне все время рассказываешь.

Ну, наконец-то. Спасибо. Она тушит сигарету о бампер. Можно еще кое о чем тебя попросить?

Милая, если директор меня спросит – а спросит обязательно, – я скажу ему, что мы всё обсудили и решили, что тебе надо вернуться на работу.

Она невесело смеется и закатывает глаза. Он прав, конечно. Согласие мужа необходимо, но и тогда её могут не взять. От этой мысли Корине хочется плюнуть или разбить бутылку о чью-нибудь голову. Я не к тому, Поттер. Я хочу, чтобы ты поговорил со мной.

Поговорил?

Как раньше, до Алисы. Как будто мы недавно познакомились.

Она наблюдает за его лицом – энтузиазма на нем не больше, чем если бы предложила ему вырвать у себя зуб плоскогубцами.

А, к черту. Корина бросает окурок в сторону кустов, тяжело садится в кузов и болтает ногами.

Поттер несколько раз обходит пикап кругом. После третьего круга останавливается перед женой. Мягко останавливает её ноги. Миссис Шепард, не откажетесь со мной выпить?

Да, пожалуй что. Корина берет бутылку, отвинчивает крышку и делает два больших глотка. Капля виски стекает ей на шею.

У неё красивая шея, длинная, стройная, с бледными веснушками. Он трогает её горло одним пальцем и вслух восхищается нежностью

кожи; на шее у неё новая поперечная морщинка. Я говорил тебе, какая красивая у тебя шея?

Последнее время – нет.

Да. Он наклоняется и кончиком языка слизывает каплю виски у неё на ключице. Красивое слово – ключица.

Корина прислоняется к нему и смотрит на звезды. Думаешь, нас может кто-нибудь здесь увидеть?

Да нет, сами за десять миль его увидим.

Жена и муж смотрят друг на друга. *Поговори со мной*, думает она.

Позволь попробовать тебя на вкус, говорит он и целует её в губы. Прекрасная леди в новых очках и с узлом на макушке. Нежная Корина с теплым виски на губах.

Корина хочет снять очки.

Не снимай. Пожалуйста.

Она смотрит на него, потом делает еще глоток – это видно по движению горла. Можем увлечься и не заметим фар.

Наверное, тебе надо еще глотнуть, говорит он. Для храбрости.

Она прикладывается к бутылке и отдает её мужу. За храбрость.

Храбрость, повторяет Поттер. Он ставит бутылку, берёт Корину за руку и прижимает её ладонь сначала к сердцу, потом к переднему карману. Тверже не бывает.

Она тихо смеется, а он раздвигает ей ноги, проводит ладонью по чулку и удивленно раскрывает глаза, дойдя до голого места.

Можешь встать, Корина, показать мне твои черные чулки?

Корина отходит, лицо и волосы освещены луной, на лице полуулыбка. Она пальцами приподнимает юбку.

Ох ты. Милая, иди сюда. Он сажает её в кузов, икрами к заднему борту и подтягивает ближе к краю. Откинься, Корина.

* * *

Джон ни разу не закурил после возвращения с фронта и пообещал, что больше не закурит, но сейчас затягивается, чувствуя, как расширяется грудная клетка – и это дьявольски приятно, это такое наслаждение, что, кажется, он готов заплакать. Что ты скажешь человеку, умирающему у тебя на руках? Не бойся. Ты не один.

Пластинка закончилась. Джон и Кориная слышат щелчок звукоснимателя, вернувшегося на стойку.

Корина, хочешь еще послушать?

Музыку? спрашивает она.

Да.

Перевернешь пластинку?

Джон пробует встать, но оступается в темноте и приваливается к плечу Кориной. Хочет выпрямиться, но Корина хватается за рубашку и притягивает к себе, как ребенка, упавшего в воду с настила, или как будто она сама тонущий корабль, или оба они слабые пловцы в бурном море. Корина берет его за руку и прикладывает ладонь к своей щеке; чуть погодя он делает то же самое. Они сидят рядом, смотрят, как гаснут последние звезды. Скоро солнце взойдет, говорит кто-то из них. Пойдем-ка в дом.

* * *

На другой день они возвращаются домой. Корина снимает теплую руку Поттера с рычага скорости, прижимает к юбке, заводит под подол, мимо маленького синяка на правом колене и выше, на голую ляжку. Оба похмельные, выжатые, а до гор так и не доехали. Корина высовывает голову в окно, хочет увидеть себя в зеркале заднего вида. Дома их ждут все те же проблемы. Молодые мужчина и женщина, за плечами война, закончившаяся несколько лет назад, впереди новые заботы и страхи, маленькую дочь кормить и любить. Будут ссориться из-за денег и постели, из-за того, чья очередь стричь газон, мыть посуду, платить по счетам. Через несколько лет Корина готова будет всё поломать – влюбится в учителя обществоведения, а еще через несколько лет примерно то же случится с Поттером. Но и тогда, и тогда стиснут зубы и будут ждать, чтобы вернулась любовь, и когда вернется, это будет чудо. А сегодня волосы её развеваются в кабине пикапа и на красивой шее – легкая краснота. Милая, говорит он, сегодня ты красивая, как никогда.

Дебра Энн

Рассказы Джесси намного интереснее, чем её. Он был в армии и воевал в далекой стране. Когда вернулся в восточный Теннесси, рассказывает он, первое время носил увольнительные документы в грудном кармане рубашки, словно их могли потребовать, словно он преступник, раз вернулся живым. Он рассказал, что, когда поступил в армию, ему починили зубы, а после, когда мама в первый раз его увидела, стала прикрывать рот ладонью, если смеялась; её большие руки были в царапинах, костяшки пальцев распухшие и ободранные, в шрамах от молотка, мясных крючьев и фабричных швейных машин.

На вечеринке в честь его возвращения Джесси стоял в их семейном трейлере и смотрел, как люди улыбаются и пожимают друг другу руки. Он старался держаться к ним правым боком и все равно многого не мог расслышать. Кивал, улыбался, давал подливать себе в чашку, а когда кто-то спросил, где он был, Джесси ответил: черт его знает, я так и не научился выговаривать это название, а сам вспомнил двух парнишек, которых убил. Тетки говорили о сборе хлопка, о работе на текстильных фабриках. Дядья – о переезде в восточный Кентукки, на работу в шахте, и взгляд у них смягчался, когда видели, что Джесси смотрит на них. Нашел ты времечко вернуться в Белден-Холлоу. Тут ничего вообще не происходит.

А потом является его двоюродный брат Тревис, въезжает на новеньком «Форде» F-150, купленном в Техасе. *За наличные*, говорит он. На нем новые сапоги, и новое у него прозвище – Бумер, говорит он, потому что чуть не взорвался к чертям в первую же неделю на работе.

Дебра Энн – девочка, еще ребёнок, поэтому Джесси не рассказывает, что говорил дальше двоюродный брат. Ни хрена не надо знать про нефть. Делай, что велят, и забирай получку в пятницу. Триста в неделю, и все бабы в западном Техасе к твоим услугам. Запасись резинками, братан. И айда веселиться.

Вместо этого Джесси рассказывает ей, что уехал из Теннесси в январе, со своими вещами на сиденье грузовичка, телефонным номером Бумера в кармане и особенным шумом в голове, типа: Джесси – соберись, возьми себя в руки. Рассказывает, что за Далласом

кончились деревья, и он только удивлялся: бывают же на свете такие пыльные места, такие бурые. Когда ветер задувал покрепче, даже небо голубое становилось земляного цвета. Иногда понять не мог, где что – где небо, где земля, где пыль, где воздух.

И приехали в Одессу, говорит Д.Э.

Приехал. Бригадир у Бумера на участке посмотрел на меня и заржал, как ненормальный. Тесных помещений не боишься, а, малыш? Когда я сказал, что был туннельной крысой^[26] на фронте, мистер Стрикленд дал мне двадцать долларов – купить башмаки – и велел прийти завтра со сменной одеждой.

Мой папа чистил цистерны с соленой водой, когда я родилась, говорила Д.Э. Он рассказывал, что, когда первый раз влез в цистерну с респиратором, щеткой и железным скребком с него ростом, у него чуть не сделался сердечный приступ – так там было темно и тесно.

Они сидят рядышком в горловине трубы, подтянув к груди колени, боясь прикоснуться голой кожей к горячему бетону. Когда я влез в цистерну, говорит Джесси, я был похож на человека. Когда вылез, сделался, как эти статуи из оникса – видел их там, в Азии, на базарах. Весь в нефти, с головы до ног. Двадцать минут отмывался под душем на улице.

Мой папа её ненавидел. Говорил, что его прямо тошнит от неё.

Можно его понять, говорит Джесси и умолкает. Там, дома, нечего было делать – только рыбу удить в Клинч-Ривер да искать агаты у Пейнт-Рока или на речке Гризи-Коув. Ну, съездить раз в неделю в ветеранский госпиталь, проверить, не улучшился ли слух. А здесь, в Одессе – работа. Работает как человек. Джесси берет кусочек мела и делает какие-то отметки на бетоне.

Я откладываю почти всё, что зарабатываю, говорит он Дебре Энн, благодаря твоей гостеприимности. Деньги для Бумера наберутся через месяц или около того, и тогда он вернет мне машину.

Иногда он видит Бумера в стрип-клубе – сидит с теми же людьми, которые спихнули Джесси с грузовичка. Они пьют, глядят на женщин и, когда видят Джесси, подметающего битое стекло или подтирающего чью-то рвоту, прикрывают ладонями рты и смеются, но никогда с ним не заговаривают, даже не спросят, где он живет.

Д.Э. показывает ему открытку, пришедшую вскоре после Четвертого июля. Передают её друг другу, поворачивают лицом и

оборотом. Гипсовый ковбой в надвинутой на глаза шляпе прислонился к доске с надписью: Галлап, Нью-Мексико.

Но на штемпеле «Рино», говорит Джесси.

Знаю, говорит Д.Э., но понятия не имею, где моя мамаша, – выдергивает из руки у друга открытку и убегает вверх по крутому откосу, не попрощавшись. Спешит скрыться от него, уединиться, чтобы никто не увидел её горя.

* * *

Дебра Энн никогда не летала на самолёте и даже никогда не выезжала из Техаса. Но вместе с Джинни каждый месяц ездила в Уэст-Одессу, провести прабабушку, посидеть с ней час-другой. Джинни сидела на одном краю дивана, Д.Э. на другом, а старуха угощала их чаем со льдом и толковала о втором пришествии. Бывало, когда шли к машине, Джинни брала дочь за руку. А давай съездим в Эндрюс, поедим мороженого в «Дэйри Куин». А хочешь, поедем на песчаные холмы, посмотрим, как зажигаются звезды, а потом в Монаханс. Съедим по чизбургеру на открытом воздухе?

Сидели на капоте, слушали ветер, такой сильный, что чувствовался вкус песка во рту, – а ночью, когда мылись, увидели, что песок припорошил даже дно ванны – и казалось Дебре Энн, что каждая звезда в небе зажглась специально для них. Вон там Орион. Джинни показывала на южную сторону неба. А вон Плеяды. Считается, звезд семь, а на самом деле их девять и тысячи, которых мы не видим.

А однажды ночью они увидели, что в их сторону едет по грунтовке грузовик. Джинни выпрямилась, расправила плечи и, прищулив глаза, следила за машиной.

Уедем? спросила Д.Э.

Джинни сказала: нет. У нас такое же право быть здесь, как у любого. Она слезла с капота и через открытое окно вынула что-то из ящичка на панели. Потом включила радио и снова села на капот. Радио колледжа передавало джаз, они слушали Чета Бейкера и Нину Симон – труба, рояль, голоса разносились над песками и пропадали за дюнами.

Ты запомни эту ночь, сказала Джинни. На глазах у неё были слезы. Над бледными песками этого безлюдного уголка земли взошла большая оранжевая луна. Джинни улыбнулась дочери и отдала ключи от машины. Хочешь довезти нас до шоссе? До него тут миль десять по грунтовой дороге.

* * *

Он рассказывает ей, что был в подземелье, так близко к водоносному слою, что чувствовал запах минералов. И вдруг из бокового туннеля появился парень и встал прямо перед ним. Он опешил: тот возник из темноты, – хотя удивляться было нечему. Они стояли и смотрели друг на друга, разинув рты, – два испуганных парня – и Джесси не заметил второго, который ударил его прикладом в левое ухо.

Он не рассказывает Дебре Энн, как стоял и смотрел на двоих с одинаковыми дырками в груди, а в пещере еще звучало эхо выстрелов его револьвера, и он тряс головой, чтобы прогнать онемение в ухе, из которого текла кровь. Как будто вдруг выросла кирпичная стена между ним и миром. И неправильно было бы рассказывать ей, как он просыпается по ночам и думает о них. Братьями они были? И если да, просиживает ли их мать ночи в ожидании сыновей и гадает, что случилось?

Джесси накопил уже почти все деньги, чтобы выкупить пикап, и надеется, что успеет домой до зимы, но одна из танцовщиц говорит ему, что Бумер уехал из города. Она дает ему бумажную салфетку с новым телефоном Бумера и адресом. Он велел прийти, когда соберешь деньги.

Джесси смотрит на номер, написанный под логотипом клуба – смутной фигурой женщины с большими грудями и кроличьими ушами на голове. Пенуэлл, Техас, трейлер за старой бензозаправкой.

Как же я доберусь до Пенуэлла? спрашивает он женщину.

Это всего пятнадцать миль от города. Она ласково проводит ладонью по его руке. Прости, милый, помогла бы тебе, если б могла. И, несмотря на плохую новость, Джесси еще несколько часов ощущает тепло её прикосновения.

Дождя не было девять месяцев, и разбрызгиватели работают днем и ночью. Если кто согласен слушать, Д.Э. хвастает, что не мылась с середины июня. Только пробегает под ближайшим распылителем – и готово. Это самое лучшее в отсутствии мамы, объясняет она Эйми, а та говорит, что мать не выпускает её из виду ни на минуту.

Эйми на полголовы меньше Дебры Энн, и ресницы у неё такие светлые, что почти не видны. Девочки бегают под дождевателем на заднем дворе у Эйми, лица у них обгорели, конопатые, шелушатся. Когда челка у Д.Э. отрастает так, что лезет в глаза, она изображает овчарку: на четвереньках гоняется за Эйми по двору. Они передают друг дружке пакеты с чипсами, беспечно обмениваются небылицами, песчаными блохами и лишаями. Руки и ноги у них – в укусах насекомых, укусы превращаются в болячки, в струпья, в шрамики. Когда плечи у них приобретают цвет помидора, они сидят в тени шлакоблочного забора, не обращая внимания на мать Эйми, которая то и дело подходит к двери и настороженно оглядывает задний двор. Эйми говорит, что телефон у них звонит всё время. Вчера она слышала, как мать спрашивала кого-то, не надоело ли им, а потом так шваркнула трубкой, что у того, наверное, барабанные перепонки лопнули.

У бассейна Христианской ассоциации молодых людей, выпрямившись в кресле, сидит миссис Уайтхед с младенцем на руках, наблюдает за Эйми, впервые прыгающей с вышки. Наступает очередь Дебры Энн. Несколько долгих секунд она стоит на краю доски, дрожа, худая, испуганная, потом смотрит на Эйми, которая плывет стоя в глубокой стороне бассейна, подбадривает её, – и бросает свое тело в воздух. Она врезается в воду, всплывает, работая ногами, и эти несколько секунд ей кажется, что теперь она способна на всё. Эйми говорит, что у неё такое же чувство.

Этим ощущением проникнуты их тела, мышцы, жилы, кости, они велят: *двигайся*. Они звезды легкой атлетики, гимнастики, олимпийские пловцы, чемпионки по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Пока миссис Уайтхед меняет пеленку малышу и пытается кормить его из новой бутылочки, они притапливают друг дружку и ныряют с бортика. Сидя на шероховатом дне, смотрят снизу на стайку

детишек – их тощие ноги отбрасывают длинные тени на дно. Они задерживают дыхание сколько могут, и, когда всплывают, фыркая и пыхтя, миссис Уайтхед стоит на краю бассейна и кричит, призывая помощь.

Что ты выдумала? кричит Эйми и тут же, набрав воздуху, ныряет, сильно работая ногами, уплывает от матери.

Мы не тонем! говорит Дебра Энн. Мы играем.

Миссис Уайтхед перекладывает младенца на другое бедро и поправляет на нем чепчик. Вылезайте-ка, посидите минуту, говорит она Дебре Энн. Пожалуйста, сейчас же.

Эйми читает интервью Карен Карпентер в «Пипл» и дает зарок выпивать как минимум восемь стаканов воды в день. Уходят; Эйми в кабинке снимает купальник и одевается. Д.Э. огорчается вслух, что отец слишком много работает, а она его плохо кормит. Макароны с сыром не назовешь сбалансированным питанием. Эйми говорит, что мать не спит ночами и всякий раз, когда отец приезжает в город, они стоят на кухне и ругаются из-за суда. На прошлой неделе кто-то из них разбил лампу.

Папа хочет, чтобы мы вернулись на ранчо, немедленно, – говорит она Дебре Энн. Он сказал, что больше не будет платить и за аренду, и по закладным. Мать бывает настоящей стервой. Последнее слово Эйми произносит медленно, тянет его, оно повисает в воздухе между ними, как запах чего-то вкусного – масленого попкорна или размякшей шоколадки.

* * *

Когда она спрашивает Джесси, где он был недавно, почему хочет быть один, он говорит, что сам не знает. Может, из-за жары, но последнее время у него постоянный шум в здоровом ухе, легкая боль, и она не утихает, даже когда закрывается бар и вышибала выключает музыку.

Он не рассказывает ей, что шум не прекратился, когда одна из танцовщиц вынула из стопки чаевых несколько долларов и сказала: Спасибо, Джесси, ты очень милый. Не проходит, когда он протирает полы и выносит мусор в контейнер, когда получает зарплату и

прощается с барменом, тоже ветераном, который позволяет ему вымыться в душе до прихода танцовщиц. Джесси благодарен за это, очень. Но хорошо было бы, если бы тот предложил ему посидеть и выпить с остальной обслугой после долгой ночи.

Не рассказывает ей, что шум сопровождает его до дома и лежит с ним на соломенном тюфячке, пока он ждет, чтобы пришел бродячий кот и свернулся у него под боком, и продолжается утром, когда они с котом просыпаются и потягиваются, дивясь жаре, её злomu упорству. Зато говорит ей, что после службы за морем научился спать где угодно, только постель его за месяц сделалась жестче, и, бывает, проснувшись утром, он думает, что никогда не попадет домой. Лето – а он до сих пор не поудил рыбу в реке Клинч. И сестра Надин не крикнула ему, чтобы шляпу надел, пока не умер от солнечного удара. Отсюда до дома тысяча миль. Наверное, я просто устал, говорит он.

Я вас понимаю, отзывается Д.Э. – думает, что так сказал бы взрослый. Я то же самое. Она яростно чешет противную сыпь на щиколотке. Расчесывает до крови. Джесси встает и идет в свое убежище за салфеткой. Её он не пускает внутрь. Он объяснил, что негоже ей видеть его исподнее на земле, бритвенные принадлежности, валяющиеся на перевернутом молочном ящике. Я уже видела, могла бы сказать ему. Когда вы на работе, мы с котом иногда заходим подремать на вашем тюфячке.

Ты не расковыривай лишай, говорит Джесси. Он от этого распространяется. Грибок попадает тебе под ногти и заражает всё, к чему прикоснешься.

Д.Э. отдергивает руку и смотрит на ногти. Расскажите мне что-нибудь. Расскажите, как поймали сома с двумя головами. Расскажите про вашу сестру Надин, как её два раза крестили, потому что она думала, что первый раз не принялось. Расскажите про Белден-Холлоу и трилобитов.

Но у Джесси нет настроения, несколько недель уже нет. Может, в следующий раз Дебра Энн принесет помидорчиков с грядки миссис Ледбеттер и еще снотворных таблеток из буфета миссис Шепард. Может, если бы нормально выспался, то и чувствовал бы себя лучше.

Попробую, говорит Д.Э., но думаю, помидоры в этом году уже сошли. Она не говорит своему другу, что с тех пор, как пришла открытка от Джинни, она подумывает бросить воровство – она поняла,

что может быть совсем хорошей, может заботиться обо всех бедняках, застрявших в западном Техасе, – а что толку? Джинни не собирается обратно в Одессу, по крайней мере, не скоро.

Они лежат в тени на дне паводкового канала, макают махровые тряпочки в ведро со льдом, отжимают и прикладывают к лицу. Если вам надо в Пенуэлл, говорит она небрежно, могу вас отвезти.

Джесси смеется. Тебе еще рано водить машину. Он берет из ведра кубик льда и сосет. Д.Э. запускает руку в ведро, нащупывает самый большой кубик и швыряет его подальше. Кубик катится по бетону и растекается на глазах.

Подожди, говорит Джесси, и на несколько минут исчезает в трубе. Возвращается с пачкой денег – в ней семьсот долларов. Нужно еще сто, и тогда он поедет в Пенуэлл за своим грузовичком.

Можно поддержать? спрашивает она. Джесси дает ей деньги, она подпрыгивает, приговаривая: Мы богачи, мы богачи.

Он протягивает руку, Д.Э. неохотно отдает пачку. Могу принести резинку, чтобы не рассыпались, говорит она. Когда вы поедете к себе в Теннесси?

Там нет работы, говорит он, но когда верну машину, побуду еще здесь, заработаю много денег на вышке.

А не объясняет вот чего: если вернется к Надин и маме с пустыми руками, это будет еще один позор в жизни неудачника.

Несколько минут они молчат, время от времени окуная тряпку в ведро, чтобы выжать её и приложить к тому месту, где зной достает хуже всего. Ко лбу, к шее, к груди.

Я дня два уже не видел нашего кота, говорит Джесси. Надо дать ему имя.

Трики Дик^[27], говорит Дебра Энн. Элвис? Уолтер Кронкайт?

Не, коту нельзя давать человеческое имя, говорит Джесси. Он хороший охотник. Может, что-нибудь в этом духе?

Стрелец? предлагает Д.Э. Снайпер?

Стрелец, говорит Джесси. Так и назовем

Она обматывает тряпочкой запястье, считает до пяти и переносит на другое.

Скоро вечер, и тень переместилась чуть дальше по дну канала. Джесси пересаживается и на минуту замирает. Его мама никогда не знала, что они с Надин вытворяли в детстве. Чтобы к обеду явились, а

остальное её не интересовало. Д.Э. храбрая девчонка, думает он. Дома будет по ней скучать.

Она внимательно смотрела на него, наблюдала за сменой чувств на его узком лице. Мама разрешала мне водить машину, я гоняла по всей пустыне, говорит она.

Не может быть, говорит Джесси. Ты до педалей не достанешь.

Достаю. Если сидеть на краешке, достаю. Она шарит в ведре, но весь лед растаял. Мокрым пальцем она рисует на горячем бетоне сердечко. Оно почти сразу высыхает.

Если надо отвезти вас в Пенуэлл, говорит она, я могу взять на часик машину у миссис Шепард. Вы нас отвезете, заберем ваш пикап, а обратно я поеду за вами на её пикапе. Если правильно угадаем время – ну, она, там, уедет по делам – так она даже не узнает.

Если не узнает, что машины нет, это – воровство, говорит Джесси.

Не воровство, если вернуть машину.

А если попадешь в аварию на обратной дороге, я себе этого не прощу.

Не попаду.

Была бы ты чуть старше... тринадцать лет или хоть двенадцать.

Д.Э. встает и подходит к нему. Складывает руки на груди и прищуривается. Наверное, я достаточно взрослая, раз помогала вам все лето. Достаточно взрослая, если никому не сказала, что здесь человек живет, и ест запеканки миссис Ледбеттер, и работает в сисечном баре.

* * *

Четверо девочек прислоняют алюминиевую лестницу к новому шестифутовому бетонному забору Мэри Роз, и устанавливая мишени лезет Кейси – у неё самая маленькая нога, и она хорошо балансирует на бревне. Через каждые два фута она осторожно наклоняется и ставит на стену пустую банку из-под «Доктора Пеппера». Расставив штук десять, она доходит до конца и садится на стенку верхом. Девочки наблюдают за стрельбой Эйми. После каждого выстрела банка слетает со стены и падает в проулок. Когда упала последняя, Лорали собирает их, взлезает по лестнице и отдает Кейси. И всё повторяется.

Эйми дает свою мелкокалиберку свободно, но Кейси боится стрелять, а миссис Ледбеттер говорит, чтобы Лорали не смела прикасаться к огнестрельному оружию. Так что Лорали только ведет подсчет: сколько выстрелов, сколько дырок в банках. Очередь Д.Э. Но она попадает в стену, пулька рикошетирует непонятно куда, Кейси, запутавшись в длинной юбке, падает со стены, и Д.Э. решает, что будет только наблюдать за Эйми.

С каждым днем Эйми становится чуть дальше от стены и с каждым днем стреляет всё метче. Эйми рассказывает Дебре Энн, что вечерами, когда все разойдутся по домам, они с мамой, бывает, упражняются дотемна, когда и банок уже не видно.

Каждое утро, пока другие девочки на уроке плавания или в летней библейской школе, Д.Э. несет Джесси еду и спрашивает, накопились ли уже деньги на дорогу домой. А ближе к вечеру наблюдает, как Эйми, прижав приклад к плечу, сшибает со стены банку за банкой.

Начало августа; Мэри Роз стоит на дворе и наблюдает, как Эйми сбивает сорок банок подряд без промаха. Она уходит в дом и выносит два мотка пряжи и маленькое деревянное шило. Девочки устраивают конвейер: Д.Э. пробивает дырку в дне банки, Лорали продевает в неё нить и подпихивает, чтобы нить вылезла из горлышка, Кейси завязывает узел, чтобы банка не съезжала вверх, и так далее. Нанизано двадцать штук – рождественская гирлянда из банок, говорит Кейси. Половину гирлянды они располагают на нижних ветках молодого вяза – Мэри Роз посадила его в первую же неделю, как въехала сюда. Другая половина просто висит. Д.Э. подбегает, сильно толкает висящую часть и отскакивает с линии огня. На глазах у девочек Эйми простреливает каждую банку, не затратив всех патронов. Эйми снимает палец со спускового крючка, и Дебра Энн подсчитывает пробоины. Пять выстрелов, говорит она Лорали, пять дырок в одной банке. Пять банок, пять выстрелов, по дырке в каждой банке. Лорали записывает в блокнот.

Ты снайпер, говорит Д.Э. Может, будущим летом и меня научишь.

Вот хорошую историю рассказывала мне мама, говорит Дебра Энн, когда Джесси объясняет ей, что устал, не хочет выходить и сидеть с ней на молочных ящиках. Если ты не против, говорит он слабым голосом из трубы, полежу здесь на тюфяке и буду слушать.

У вас всё нормально с деньгами? – спрашивает она, и он отвечает, да, скоро наберутся, но сегодня он сильно устал. Ночами не спится из-за жары, и ухо болело. Д.Э. встает и подходит к зеву трубы. Можно я сяду с краешку? – спрашивает она. Так вам будет лучше слышно.

Голос у Джесси слабый. Можно, но сюда не заходи. Сейчас хочется побыть одному.

Потолок трубы дюймов на шесть выше Дебры Энн. Она становится на бетон и съезжает спиной по круглой стенке, садится. Сейчас начало августа, день утомлен, всё замерло. Даже в тени воздух пышет жарой на её лицо, шею и плечи.

У реки Пекос в те времена, когда в этой части Техаса еще разводили овец, рассказывает она, было ранчо. Жена старого хозяина была красивая женщина с такими густыми рыжими волосами, что, когда она стояла на солнце, казалось, будто она в огне.

Но она была несчастлива. Когда дети вместе с отцом объезжали изгородь, вдруг налетела снежная буря, и они замерзли насмерть. Детей нашли в сухом русле, они лежали, прижавшись к своим лошадям. А отец в нескольких шагах от них, головой на изгороди из колючей проволоки, которую жена помогала ему строить всего несколько недель назад.

Три года её никто не видел. Она не приезжала в город даже за кофе и крупой. Начальник станции хранил её почту в деревянном ящике у себя в служебной комнате. Мужчины поговаривали о том, что надо бы съездить, провести её, но никто не хотел нарушать её горе. К тому же последние годы выдались тяжелыми, хватало своих забот. Был большой падеж, запрет на продажу техасского скота, да и думали, что она, наверное, умерла.

Наконец кто-то придумал тянуть соломинки: проигравшему ехать её хоронить или отогнать стервятников от её костей, – и самую короткую вытянул шестнадцатилетний паренек. Приехал он к её дому и увидел, что она очень даже жива и работает у себя в саду. Она отошала, обгорела на солнце, и руки у неё были все в шрамах и веснушках. А брови и ресницы выгорели добела.

Но какой же она развела сад! Парень в жизни не видел ничего подобного. У них три года не было хорошего дождя, а у неё росло такое, чего они не видели с тех пор, как уехали из Огайо или Луизианы – персики, мускусные дыни, кукуруза, помидоры. Под окном кухни жимолость, а в одном углу сада – цветник. С цветка на цветок перелетали колибри. Парень смотрел и смотрел и не мог ничего понять. А потом увидел глубокую канаву от её сада до реки Пекос. Сама, одна, отвела к себе реку!

Она отправила его в город с двумя корзинами – одна полна дынь, другая с огурцами, и все, кто оказался возле станции к приезду парня, устроили веселый пир. Один достал складной нож и нарезал все огурцы. Другой принес мачете и разделил дыни на половинки, а потом на четвертинки. Мужчины выгребали нежную оранжевую мякоть руками и ели, ели – сок стекал по подбородку, пропитывал рубашку. Пировали. И поначалу все восхищались этой женщиной – и рука у неё легкая, и какая стойкость. Такой сад развести в пустыне!

Как-то вечером сидели возле станции, пили чье-то самогонное виски, лакомились персиками из корзины, которую она прислала в город, и кто-то из них пошутил, что она, возможно, ведьма. Может, чарами своими изменила русло Пекоса. А может, просто канаву прорыла, отозвался со своего стола в углу старик. Но был он известен как врун и сумасшедший, и никто его не слушал.

Шли месяцы, и всякий раз, когда кто-то приезжал её проведать, она отсылала в город корзину фруктов и овощей.

А потом, как и следовало ожидать, разразилась эпидемия инфлюэнцы.

– Следовало ожидать? – переспрашивает Джесси хриплым тихим голосом, почти шепотом.

Да, говорит Дебра Энн. Именно так всегда выражалась мама.

Как и следовало ожидать, говорила Джинни, и это значило, что в каждой были-небылице должна случаться какая-то беда.

А люди не могли поверить, что это просто невезение или собственная их глупость, и стали искать виноватого. Как это женщина, сама, могла вырастить такой удивительный сад? Как сумела повернуть реку? Как вообще выносит жизнь без мужа и детей? Любая уважающая себя женщина покончила бы с собой, сказал кто-то из мужчин, или хотя бы вернулась на Средний Запад.

Когда заболели и умерли несколько младенцев и малышей, судьба женщины была решена. Если она несет смерть их детям, решили пятеро горожан, то они желают убедиться в том лично.

Они принялись пить еще до заката и уже мало что соображали.

Выехали со станции после полуночи, и несчастье настигло их почти сразу. Один был так пьян, что упал с лошади, ударился головой о камень и захлебнулся собственной рвотой. Один захотел сделать крюк и показать остальным странные карманы в земле – в них газ, и если бросить спичку, в камнях запляшет огонь. Но в расщелине скопилось больше газа, чем он думал, и его охватило пламя.

Теперь только трое ехали к бедной женщине, спросить, ведьма ли она. Вдруг налетела гроза, словно кто-то её накликал, и в одного на лошади ударила молния. Один из двоих оставшихся хотел ему помочь – оба они не понимали в электричестве – и его тоже убило.

И вот после всего этого только один, пьяный, испуганный, злой, добрался до дома женщины.

И знаете, что было дальше? Д.Э. умолкает.

Что было? Голос у Джесси так слаб, что она наклоняется в трубу и повторяет вопрос. Знаете, что было дальше?

Что? Он как будто старается заговорить громче, но старания напрасны, и Дебра Энн думает, здоров ли он, не измотала ли его жара, одиночество, жизнь в трубе, или, может быть, ей самой не по силам помочь ему выправиться.

Ну, говорит она, стал стучать он в дверь, колотит со всей силы и кричит: открывай, открывай же, черт возьми!

Что с ней дальше было? – тихо спрашивает Джесси. Что-то плохое?

Вот так как раз я спрашивала маму.

И что сказала мама? – хочет знать Джесси, и Д.Э закрывает глаза.

Мать выдерживает паузу, встает с кровати дочери, отходит, поднимает кучку одежды с пола. Женщина взяла лампу и открыла дверь, говорит Джинни, и в неровном желтом свете её волосы горели, как костёр.

Дебра Энн видит круги под глазами у матери, ногти, обкусанные до мяса. И что эта женщина сделала?

Джинни тихо смеется. Ну, застрелила его тут же, а тело отволокла к границе участка. Джинни подходит к кровати дочери и поправляет

одеяло на ногах и на груди.

После этого ей не докучали. Она по-прежнему работала в саду, но больше не посылала в город корзины с угощением. Вечерами сидела на веранде, смотрела, как зажигаются в небе звезды, одна за другой. Она дожила до ста пяти лет и тихо умерла во сне. К тому времени, когда людям пришло в голову проведать её, от неё остался лишь сухой скелет на кровати.

А сад? – спрашивает маму Дебра Энн. С ним что стало?

Наверное, засох. Джинни пожимает плечами. Но был замечательный, пока не погиб.

В трубе слышится шорох, из темноты неторопливо выходит кот, выгибает спину и трётся о ногу Дебры Энн. Через несколько минут вылезает Джесси, садится с ней рядом, обхватывает колени. Глаза его блестят на ярком послеполуденном солнце. Хорошая история, говорит он. Жаль, что твоя мама уехала.

Д.Э. пожимает плечами и чешет лишай, распространившийся от щиколотки на икру. Мне плевать вообще-то. Она выдергивает несколько черных волосков из брови. А что с вашей машиной? Когда вы её заберете?

Джесси вынимает из кармана бумажную салфетку и показывает ей. Думаю, Бумер сейчас там живет.

Там глушь такая. Д.Э. хватает кота и переворачивает на спину. Пешком далеко идти.

Поглядите, какие яйца у парня. Она смеется; Джесси слегка покачивается, пытается засмеяться вместе с ней. Он протягивает руку, почесывает коту живот, и они сидят молча, пока не приходит время идти ему на работу, а Дебре Энн – домой.

Мэри Роз

Еще только девять часов утра, а уже жара, и жалею, что пришлось надеть колготки – но с голыми ногами в суд неприлично. Пока мы с Эйми идем через улицу к дому Корины, нижняя часть тела – словно мясо в вакуумной упаковке. Эйми плетется следом в нескольких шагах от меня, негодует, потому что хотела выступить свидетельницей в суде. Напоминает мне, что сидела с Глорией Рамирес на кухне. Звонила шерифу – не понимает, почему не хотят выслушать её показания. Потому что зал суда не место для девочки, говорю ей в сотый раз. Потому что я всё расскажу за нас обеих.

Когда я отдаю малыша Корине, она наклоняется к нему, заглядывает ему в глаза, делает гримасу и передает его Эйми. Она еще в ночной рубашке, жидкие волосы с одной стороны торчат перпендикулярно. Спасибо, что согласились побыть с ними, Корина, говорю я. У Карлы малыш заболел желудочным гриппом.

Эйми нацелилась щелкнуть малыша пальцем по лобику, но Корина обещает ей неограниченное количество «Доктора Пеппера», телевизор и общество Д.Э. Пирс, если она не разбудит ребенка, и дочь моя, повернувшись на пятках, даже не попрощавшись, уходит по коридору в гостиную. Малыша она перекинула через плечо, как мешок с картошкой; головка у него болтается, я хочу крикнуть «Осторожно», но вместо этого бегу домой за сумкой с подгузниками.

Кит Тейлор сказал, что мне придется пробыть там почти всё утро, и когда я сообщаю об этом Корине, она прищуривается и наклоняет голову набок. Глаз у неё по-воробьиному острый, словно она удивляется, где в такой день Роберт, почему не приехал, не отвезёт меня в суд, не поможет мне в трудный час, – и хочу сказать ей, что не нужна мне его помощь. Непорядки у нас начались задолго до того, как постучалась к нам Глория Рамирес. Но возмущаться мной из-за того, что открыла дверь ребенку? Винить меня в том, что там произошло? Его озлобленность, нетерпимость? Наверно, не замечала этого прежде, но теперь не могу подумать о нем, не подумав о ней. Хотела бы что-нибудь сказать об этом Корине, но куда там: стоим на жаре, мои дети и так уже отняли у неё утро.

Не знаю, что бы я делала без вас, Корина, говорю я. У Роберта коровы мрут там как мухи. Мухи, понимаете? Падальные мухи.

У Корины чуть приподнимаются краешки губ, лицо у неё в сложных морщинах, напоминают мне кору пекана у нас на ранчо или высохшие ручьи. Но приглядевшись, вижу слабую улыбку, едва заметную, говорящую: да бросьте вы, Мэри Роз. Мы обе понимаем – он наказывает вас за то, что согласились выступить свидетельницей.

Но вместо этого она говорит: вид у вас измотанный, мадам.

Правда? отвечаю я. А вы великолепно выглядите.

Она тихо смеется. Действительно.

У меня всё нормально. Я лезу в сумку, достаю салфетку, промокаю потное лицо – боюсь, что потечет макияж. Ну, ждем, когда свершится правосудие.

В самом деле? Корина лезет в карман домашнего платья, и я уже предвкушаю сигарету, хотя это значит простоять на пекле лишние несколько минут. Но она виновато пожимает плечами. Теряю всё подряд, говорит она. Сигареты, спички, снотворное. Черт, умудрилась даже потерять кастрюлю и банку с маринадом. От горя глупеешь, наверное. Она подмигивает мне, но спрашивает без улыбки, как мне спится.

Я могла бы ей рассказать, что телефон звонит днем и ночью, что оставляют сообщения на моем новом автоответчике, что малыш просит грудь каждые два-три часа. Когда засыпает, вынимаю сосок у него изо рта, встаю с кровати, иду проверить двери и везде зажигаю свет. Проверяю и перепроверяю окна, прислушиваюсь к каждому звуку: ветер прошуршит по сетке на окне, рванул с места пикап после закрытия бара, тоскливо завыл заводской гудок. Иногда мне чудится, что где-то в другом конце дома вскрывают окно и кто-то идет расправиться с нами. И каждую ночь думаю об одном и том же: когда Дейла Стрикленда приговорят и отправят в тюрьму в Форт-Уэрте, всё уляжется. Людям надоест, прекратятся ночные звонки, мой долг перед Глорией будет исполнен.

Я отдаю Корине сумку с подгузниками и говорю, что спала последнее время плохо, но надеюсь, что скоро сон наладится. И, кстати, у меня тоже всё куда-то пропадает – консервы, спички, аспирин и даже пара махровых полотенец.

Видно, что-то такое в воде, говорит она.

На парковке у суда Кит Тейлор дает мне бумажный стаканчик с кофе, таким густым по виду, что может засорить слив в раковине. Мистер Рамирес, дядя, звонил мне утром, говорит он. Она не приедет.

Это не должно бы меня удивить: Кит уже несколько недель предупреждал меня, что Виктор с июня не позволяет его сотрудникам побеседовать с племянницей – они не знают даже, где она живет. И все-таки я удивляюсь: Но почему?

Рядом с эвакуатором стоят и смотрят на нас двое мужчин. На них белые рубашки, спортивные куртки, ковбойские шляпы, дорогие сапоги змеиной кожи. Они перестают разговаривать, несколько секунд смотрят на нас, а потом тот, что в белом стетсоне, наклоняется к другому и тихо говорит ему что-то на ухо. Он показывает головой в нашу сторону, и я борюсь с желанием крикнуть: Хотите мне что-то сказать? Это вы, сукины дети, звоните мне по ночам?

Мэри Роз, я предупреждал вас, что подобное может случиться, говорит Тейлор. Мистер Рамирес не хочет подвергать её такому испытанию, и я его не осуждаю. Он поднимает свой стакан с кофе и пальцем приветствует этих двоих. Высокий, интересный мужчина, записной холостяк, он известен здесь своим неуклонным стремлением доводить каждое дело до суда. Он старше меня как минимум лет на десять, а нынче утром выглядит на десять лет моложе и вполтину не таким измотанным, как я.

Она должна дать показания, говорю ему. Мы стоим на солнце, я борюсь с желанием оттянуть пояс джинсовой юбки, тротуар прожигает дыры в подошвах туфель. Когда мимо нас проходит стенографистка миссис Хендерсон с ворохом папок, Кит разглаживает пальцем светлые усы и раздувает грудь.

Она входит в здание суда, он выдыхает и снова опускает плечи, чуть сутулясь.

Слушайте, Мэри Роз, девочка всего лишилась, даже матери, и мистер Рамирес знает, что говорят некоторые люди в городе, не может не знать – и, вероятно, считает, что она уже достаточно настрадалась. И может быть, не хочет подвергать её новым расспросам.

Не могу поверить своим ушам. Вот как? И вы готовы ему потакать?

Кит поддергивает брюки и вытирает пот со лба. Смотрит на солнце так, словно хотел бы сшибить его с неба. Я его не виню, честное слово, – ни капли.

Она должна прийти в суд, рассказать, что с ней сделал этот мерзавец. Вы можете заставить её дать показания.

Нет, Мэри Роз, я не могу её заставить.

Да как же это? Где у нас тогда правосудие?

У вас? – Кит смеется. Вас двое? У вас в кармане мышка? Он так долго стоит не шевелясь, что на рубашку ему садится несколько слепней, больших, как земляной орех. У него крупные руки с веснушками, и когда он хлопает по мухам, я чувствую легкое движение горячего воздуха между нами.

Знаете, чего я больше всего не люблю в моей работе?

Проигрывать дела?

Ха! Если бы. Нет, дорогая. – Он улыбается и кивает тем двоим, направившимся к двери суда. Больше всего, Мэри Роз, ненавижу, когда мне ставят клизму с острым соусом и говорят, что это чистая водичка. Прошу прощения за мой французский.

Кит отпивает кофе и морщится – какая гадость, – и отпивает еще. Уборщицы, с которыми работала миссис Рамирес? Они убирались в городских конторах годами, и никто не требовал у них карточку социального обеспечения. Черт возьми, они три года мыли полы в суде и вытряхивали урны, и только сейчас городской совет спохватился и озаботился. Пять недель прошло с тех пор, как Глория Рамирес постучалась в вашу дверь, и вот является иммиграционная служба и ждет у заводских ворот, когда у миссис Рамирес закончится смена. Собачий бред, говорит он. Прошу прощения за мой французский.

Он допивает кофе одним глотком и бросает стакан на землю. У нас есть отчет шерифа, говорит он, отчет больницы, и есть вы. Этого должно быть достаточно.

Я бросаю на него выразительный взгляд, демонстративно подбираю стакан и опускаю в урну, стоящую в шаге от нас. В который раз думаю, сказать ли ему о злобных звонках, не прекращавшихся все эти месяцы: Любите грязных мексиканцев, миссис Уайтхед? Знаешь, что бывает с изменниками расы, Мэри Роз? Может, сам приеду, изнасилую тебя, сука.

Я понимаю, всё это – трепотня, кучка расистов и пьяниц, и Кит, наверное, напомним мне, что у нас свободная страна, каждый может *говорить* что хочет. И помощи мне не нужно, ни от Кита, ни от кого. Хочу только, чтобы нас оставили в покое, меня, и Эйми Джо, и малыша. И хочу быть готовой, если кто появится у меня перед дверью.

Я готова, говорю Киту.

Хорошо. Давайте зайдем, постоим минутку под кондиционером. Он мягко кладет руку мне на поясницу, и мы идем через парковку к суду. Черт, до чего же жарко, говорит он. На лестнице нас обгоняет защитник Стрикленда. Здравствуйте, Скутер, говорит ему Кит.

На прошлой неделе, когда мы репетировали мои показания, Кит предупредил меня насчет него. Он сидел в столовой, я кормила маленького в кухне, и Кит задавал мне вопросы из-за двери.

Он нахрапистый маленький паразит, сказал Кит, когда я уложила ребенка и налила нам чая со льдом. Прошу прощения, – он подмигнул Эйми, которая стояла у меня за спиной с палочкой фруктового льда во рту. Она смотрела на него так, словно уже планировала их свадьбу. Я буду юристом, как вы, сказала она. Умница, сказал он. Поступай в Техасский университет, изучай торговое право. Уголовное порвет тебе душу.

Он протянул руку, чтобы взять её за нос. Эйми отбила руку и закатила глаза. Я не маленькая, мистер Тейлор.

Вижу. В общем, сказал он, из Далласа прибыл Скутер Клеменс. Из Хайленд-Парка, точнее. Стетсон у него такой чистый, что с него можно есть бутерброд. Только шляпа – скота нет. Кит наклонился и заглянул мне в глаза. Предки с незапамятных времен в Техасе. Наверное, в доме на чердаке сундук, полный белых капюшонов.

Зачем? – спросила Эйми, и Кит запнулся, подыскивая объяснение. Ну, для Хэллоуина, конечно.

Эйми, мороженое капает на ковер, сказала я. Иди доешь на дворе.

Она вздохнула, поджала губы – видно было, что готова заспорить, но, когда Кит пообещал ей серебряный доллар, если даст нам минутку поговорить, выбежала стрелой. Мы слышали, как захлопнулась за ней дверь кухни.

Скутер Клеменс – хладнокровный убийца, сказал Кит. Тридцать лет выгораживает молодцов. Отвечайте ему кратко. Не давайте себя

разозлить и, что бы ни происходило, не смотрите на Дейла Стрикленда, когда его приведут в зал.

* * *

Судья Райс – старый выпускник сельскохозяйственного колледжа, с густыми белыми бровями, толстой шеей и плечами атлета. Он напоминает мне бульдога, который гонялся за мной и братом по дороге домой из школы. Помимо суда он разводит скот на семейных землях, простирающихся от Плейнвью в Техасе до Эйды в Оклахоме.

Когда помощники шерифа приводят Дейла Стрикленда, я только слышу, как они усаживают его, но смотрю на свои колени. Скутер спрашивает, нельзя ли снять с него наручники, – он никуда не убежит, говорит Скутер самым задушевным простецким голосом, – и чувствую, как из груди у меня выходит немного воздуха. Но судья Райс говорит: категорически нет, этот человек находится под стражей, пока не будет доказана его невиновность или виновность. Я выдыхаю носом. Не смотрю на него.

Мы произносим молитву, судья Райс достаёт из-под мантии пистолет и кладет на стол. Западнотехасский молоточек, говорит он нам. Добро пожаловать в мой суд. Я смотрю на него, но он глядит поверх наших голов. Ведите себя хорошо, говорит он, показывая своим молотком на задние ряды.

Я встаю и приношу присягу, глядя на Кита. Смотрите на меня, повторял он, когда мы репетировали. Смотрите на меня, говорит он сейчас. Я рассказываю о произошедшем, и объявляют пятнадцатиминутный перерыв. Кроме присяжных, в зале всего несколько человек – мужчины разного возраста, роста и телосложения. Кит показывает на молодого человека, одиноко сидящего в заднем ряду. Он в белой рубашке с простым черным галстуком, руки сложены на широкой груди. Усы у него аккуратно подстрижены, волосы совсем короткие – даже проглядывает кожа на голове. Кит наклоняется ко мне. Это дядя девушки, шепчет он, и мне хочется вскочить, подбежать к нему, спросить, что с Глорией, где она, почему её нет.

Я снова на свидетельском месте и через минуту вспоминаю, что сказал мне напоследок у меня дома Кит перед тем, как сложить бумаги

в портфель и полюбоваться на малыша, который опять проснулся, заплакал и стал искать грудь. Мэри Роз, не смотрите на Стрикленда. Смотрите на кого угодно в зале, только не на него.

И смотрю на миссис Хендерсон, пока она не поднимает голову и не подмигивает мне. Колготки стягивают живот, хочется оттянуть их через юбку, но складываю руки на коленях и пытаюсь улыбнуться судьбе.

Как у вас дела сегодня, миссис Уайтхед? – Скутер Клеменс смотрит в свой блокнот, изображая сосредоточенность.

Отлично, говорю я. Спасибо.

Я слышал, у вас сейчас нелегкое время. Как вы себя чувствуете?

Хорошо, говорю я. Но не понимаю, что ему о нас наговорили.

Как дела на ранчо? Много коров потеряли из-за оводов?

Из-за мясных мух, уточняю я.

А, прошу прощения, миссис Уайтхед. Из-за мясных мух.

Муж потерял чуть не всё стадо.

Ох! – Клеменс вынимает платок и промокает лоб. Горько это слышать. Передайте Роберту мой поклон. Эти насекомые – просто беда. – Он складывает платок, прячет в пиджак и улыбается мне, – наверняка его поддерживает то, что с ним вы и дети. Какое утешение – прийти вечером домой и увидеть ваше красивое лицо. – Клеменс хлопает себя по лбу и оглядывается на присяжных. Я тоже смотрю на них и вдруг осознаю, что в зале всего две женщины: миссис Хендерсон и я. Зачем мы здесь? – думаю я. Нам не место в этом зале.

Ох, простите, миссис Уайтхед, говорит Клеменс. Совсем забыл, что вы с детьми переехали в город.

Да, говорю. Мы в апреле переехали. Переехали только из-за *него*, говорю я суду. Объясняю, что, увидев Дейла Стрикленда и то, что он сделал с Глорией Рамирес, я захотела забрать дочь и уехать с ранчо. Потом напоминаю о Джинни Пирс, уехавшей, возможно, навсегда. Вспоминаю Рейлин Макнайт, которая забрала половину семейных сбережений, два чемодана и десятилетнего сына и улетела из Мидленда в Даллас, оттуда в Атланту, потом в Лондон и в Мельбурн, в Австралию. Представьте, сколько пересадок... Но тут судья Райс просит меня – пожалуйста, пожалуйста – вернитесь к делу. Леди, говорит он, я не люблю сложных историй, и какое это имеет отношение к сегодняшнему разбирательству? Ответ – никакого,

никакого отношения к Глории Рамирес. Чувствую, что краснею, и думаю: это моя история, старый петух. Посидите, послушайте пять минуток. Но говорю: да, сэр, – и оттягиваю на животе резинку.

Да, прискорбно, что эта маленькая неприятность вынудила вас покинуть свой дом, говорит Скутер. Надеюсь, по завершении дела вы захотите вернуться туда, к мужу, к хозяйству.

Мистер Клеменс, мне кажется, это не ваше...

Кит качает головой, почти незаметно, и я представляю, что он сказал бы, если бы стоял рядом. Мэри Роз, не позволяйте себя провоцировать.

Как ваш малыш?

Спасибо. Прекрасно.

Вам уютно в вашем новом городском доме – он смотрит в блокнот, – на Лакспер-Лейн?

Когда он называет мою улицу, я бросаю взгляд на обвиняемого. Стрикленд смотрит на стол перед собой, но на лице у него слабая улыбка. Если будет возможность, он сразу поедет к моему дому. Остановит свой пикап у меня на дорожке, но на этот раз не успеет даже снять руки с руля – я выстрелю ему в лицо.

Лакспер-Лейн, говорит Клеменс. Не там ли живет и Корина Шепард?

Для приезжего, говорю ему я, вы прекрасно осведомлены обо всех и обо всем.

Он усмехается, и мне хочется выбить ему зубы.

Корина по-прежнему деятельна?

Кажется, да.

Я слышал, она забавница – любит подрезать на шоссе, раздражать дам в церкви, но, насколько знаю, её предки поселились здесь, когда Одесса была еще полустанком на железной дороге Техас – Тихий океан, так что вам надо её беречь. Он смотрит на присяжных. Некоторые улыбаются и качают головами.

Вы подружились с новыми соседями, миссис Уайтхед?

Кит Тейлор громко вздыхает и встаёт. Судья, есть ли смысл в этих расспросах?

Судья Райс сидел с закрытыми глазами, подперев голову рукой. Теперь он выпрямился и смотрит на меня. Я слышал, недавно вы устроили Грейс Кауден взбучку в церкви.

Кит пожимает плечами и нахмурясь смотрит в свой блокнот.

Жена до сих пор это вспоминает. Судья смеется. Эх, девочки! То ждете неприятностей, то их провожаете. И коль скоро речь о моей жене, я встречаюсь с миссис Райс ровно в час за обедом в «Загородном клубе». У вас есть вопросы к миссис Уайтхед, относящиеся к делу?

Скутер Клеменс важно кивает. Да, сэр, спасибо. Миссис Уайтхед, вы можете сказать нам, как далеко находится ваш дом от дороги местного значения Ферма – Рынок, номер сто восемьдесят два?

Старая дорога на ранчо? – спрашиваю я.

Дорога на ранчо? – говорит он. – Нет. Дорога Ферма – Рынок, номер сто восемьдесят два.

Я пожимаю плечами. Все называют её дорогой на ранчо.

Судья Райс не так называет. И я тоже. Он смотрит на присяжных, как будто сказал шутку, понятную только своим, и колготки на моем животе, еще дряблом после родов, тянут невыносимо. Думаю об Эйми Джо и о маленьком четырехмесячном сыне, оставленных дома с миссис Шепард, чтобы я могла прийти сюда, исполнить мой гражданский долг, рассказать о том кошмаре. Я не искала этой неприятности. Она сама ко мне пришла. Я на неё не напрашивалась. В груди начался зуд и жжение – я уже четыре часа не кормила маленького и боюсь опозориться перед этими мужчинами – если молоко просочится сквозь салфетки, которые я подложила в лифчик. И говорю Скутеру, что речь не о дороге Ферма – Рынок. Все знают, что она называется дорогой на ранчо. Кроме нездешних, к каким, вероятно, относится он, потому что башмаки его, похоже, никогда не ступали в коровью лепешку. Присяжные смеются, и я напоминаю им, что в то воскресное утро первой увидела живую Глорию Рамирес.

Дорога на ранчо, говорит Клеменс. Хорошо. Миссис Уайтхед, в то утро, когда мексиканская девушка, – он заглядывает в блокнот, – Глория Рамирес постучалась к вам в дверь, что она сказала?

Сказала?

Да. Что она вам сказала?

Да ничего она мне не сказала, говорю я.

То есть ни слова? – Клеменс снова оглядывается на присяжных, я тоже. Узнаю из двенадцати троих, которых встречала в городе. Смотрят благодушно и озадаченно, словно жалеют меня.

Она попросила воды, говорю ему, и сказала, что хочет к маме.

Она пила накануне вечером? Была с похмелья?
Сомневаюсь, мистер Клеменс. Она еще ребенок.
Ну, четырнадцать лет...

Я перебиваю его. Да, и четырнадцать лет – это ребенок.

Клеменс улыбается. – Одной четырнадцать – для другой это семнадцать, так мой отец говорил.

Мне хочется вскочить, схватить стул и огреть его по голове. Но сижу, слушаю, скручиваю руки сложными узлами.

Она сказала вам, что к ней приставали?

Простите?

Я пытаюсь быть деликатным, миссис Уайтхед. Глория сказала, что её изнасиловали?

Я её *видела*. *Видела*, что он с ней сделал.

Но эта юная дама сказала вам, что её изнасиловали? Она употребила это слово?

На девочке даже не было туфель. Она шла босиком три мили, чтобы только избавиться от него. Господи Иисусе, он так её бил, что порвал ей селезенку.

Судья Райс наклоняется и тихо говорит: будьте добры, у меня в суде не поминайте имени Господа всуе.

Ты что, меня разыгрываешь? – хочется мне сказать. Нашел время. Но опускаю голову и борюсь с желанием оттянуть резинку на поясе. Говорю: да, сэр.

Тут сказано – Скутер снова устоял в свой блокнот, – что у мисс Рамирес колотые повреждения и ссадины на ступнях и руках, полученные в результате падения. Не могла ли она повредить и селезенку, когда упала?

Не дожидаясь моего ответа, он напоминает мне, что я поклялась говорить правду, всю правду, и так далее, и поскольку он хочет, чтобы всё было предельно ясно, говорит со мной медленно, как с ребенком. Миссис Уайтхед, я задаю вам простой вопрос. Ответьте просто: да или нет. Она сказала, что он её изнасиловал?

Да, отвечаю. Она сказала.

Употребила именно это слово?

Да, употребила.

Кит Тейлор берет двумя пальцами за нижнюю губу и оттягивает её. Кажется, он готов заплакать. Я смотрю на задний ряд, где сидит

мистер Рамирес, но он смотрит на свои колени.

Извините меня, Мэри Роз, но прежде вы утверждали другое. Сейчас вы рассказываете нам маленькую сказку?

Нет, говорю я. Я только теперь вспомнила.

Понятно.

Тут встает Кит и просит разрешения поговорить со мной наедине. Судья Райс отказывает в просьбе – время позднее, и ему надо в комнату для мальчиков, – но говорит, что Кит может подойти к свидетельнице, если хочет. Кит пересекает зал в четыре длинных шага и встает передо мной. Мэри Роз, шепчет он, вы должны сказать правду.

Этого слова она не произнесла, говорю я суду. Но этого и не требовалось. Всем, у кого глаза на месте, и так было понятно.

Клеменс улыбается, как будто только что выиграл в футбольный тотализатор. – Итак, вы рассказали маленькую сказку. А что скажете вот об этом джентльмене, сидящем здесь? О мистере Стрикленде. Его вы видели в то утро?

Да, он тоже пришел к моей двери.

Чего он хотел?

Он её искал.

Он беспокоился о своей подруге?

Она ему не подруга. Она ребенок, а он взрослый мужчина.

Хм, говорит Скутер, не думаю, что мисс Рамирес назвала ему свой возраст. – Её имя он произносит с растяжкой, глядя на присяжных – убедиться, что все расслышали.

Итак, он искал эту молодую женщину, которая выехала с ним накануне вечером?

Она была до смерти напугана, когда пришла ко мне. Он убил бы её.

Откуда вы знаете? Это она вам сказала?

И говорить было не нужно. Я *видела* её.

Мистер Стрикленд вам угрожал? – спрашивает Клеменс.

Он кричал, чтобы я пошла в дом и привела её. Назвал меня сукой.

Миссис Уайтхед, говорит судья Райс, прошу избегать здесь таких выражений.

Итак, он был с похмелья, – Клеменс опять смотрит на присяжных так, словно все они однокашники, – полагаю, как и кое-кто из нас

наутро после Валентинова дня. И был несколько раздражителен из-за того, что у них случилась размолвка, и девушка ушла?

Протестую, говорит Кит Тейлор, – но судья Райс отвечает: Нет, Кит. Перестаньте. Вы же не первый день в суде.

Протестую, судья! Он пытается сочинить какую-то другую историю.

Вы против этого протестуете, Кит? – В глазах у Клеменса нет и намека на улыбку. Он змея. Если включить кондиционер посильнее, пульс у него упадет почти до нуля.

Ведь чем мы тут заняты? – говорит он. – Имеются ли достаточные улики для того, чтобы *за отсутствием обоснованных сомнений* вынести вердикт, который погубит жизнь молодому человеку?

Но с меня хватит. И я говорю: Она ребенок, слышите, говнюк?

Клеменс отходит, садится за свой стол и подпирает голову руками. Судья Райс ударяет по столу рукояткой пистолета и говорит так тихо, что все вынуждены податься к нему. Миссис Уайтхед, я понимаю, как тяжело далось это вам и вашим родным, но обещаю: если выругаетесь у меня в зале еще раз, то проведете сегодняшнюю ночь в тюремной камере. Вы поняли меня?

Да.

Да – что? Белобровое лицо судьи сделалось красным, как свекла.

Да, говорю я.

Да – *что?*

Я понимаю, чего он добивается. Когда я была девочкой года на два старше Эйми, у нас с отцом случались серьезные склоки – главным образом из-за того, что постоянно спорила с ним по всякому мелкому поводу. И однажды дошло до края. Мы стояли на дорожке друг против друга, он задавал вопросы, а я смотрела ему в глаза. Мне нравилось, что я уже такого роста и могу смотреть ему прямо в глаза. Он что-то спросил, а я сложила руки на груди и сказала: Да.

Он сказал: Да – что?

А я ухмыльнулась: Ага.

Он дал мне пощечину. Да – что?

Да. – Он снова ударил по щеке. – Да – что?

Да.

Когда папа ударил меня третий раз, я сказала то, что он хотел услышать – *да, сэр*, – но не забыла этого и никогда по-настоящему не

простила. И поклялась, что никогда не ударю моих детей. А сейчас оглядываю зал, ищу, кто встанет на мою сторону, поможет пережить это утро. Мистер Рамирес слегка кивает, и я думаю, каково ему живется здесь, в Одессе, после случившегося. Думаю, как там сейчас мать Глории и когда ей удастся снова увидеть дочь. Ведь это важнее всего, а вовсе не моя гордость. И я смотрю на судью, сжимаю губы и улыбаюсь. – Да, сэр.

Но он не отвечает: больно видеть, когда молодая женщина, мать, позволяет себе так выражаться в суде.

Да, сэр.

Благодарю. Этот молодой человек угрожал вам?

Судья, он так себя вел – я ничего подобного не видела. Это как будто сам дьявол приехал ко мне на двор. С таким злом я в жизни не сталкивалась.

Вскакивает Клеменс. – Протестую! Угрожал вам – да или нет?

Мэри Роз, угрожал ли он вам или вашим родным?

Нет. Сэр.

Вот, молодец, говорит Клеменс, и судья Райс откидывается в кресле. Заводит руки за голову. – Мистер Клеменс, у вас есть еще вопросы к свидетельнице?

Только один. Миссис Уайтхед, вы направляли ружье на мистера Стрикленда?

Вижу, как вздохнул Кит, перебирает свои бумаги и наклоняется вперед. Но на Стрикленда не смотрю. – Да, направляла.

* * *

Виктор Рамирес стоит возле своей машины, уже взявшись за ручку двери, и видит, что я бегу к нему по парковке. Через десять минут мы должны вернуться в суд, а я, не пробежав и десятка шагов, уже задыхаюсь. Смотрю на свою грудь – не просочилось ли молоко на блузку, – и подхожу к мистеру Рамиресу, как будто, если окажусь близко, мне станет легче.

Говорю: Простите. Я хочу помочь Глории.

Глори, поправляет он и смотрит на небо, как будто меня нет.

Можно с ней увидеться и поговорить, спросить, как она себя чувствует?

Он издает тихий смешок. Нет, мэм, говорит он. Нельзя. Он открывает дверь и садится за руль. Я хочу придержать дверь, но он мягко отводит мою руку.

Вы уезжаете?

Да, мэм.

Мистер Рамирес, пожалуйста, попросите её дать показания.

Вы все тут не услышите, что захочет сказать Глори. Понимаете, миссис Уайтхед? – Он закрывает дверь, заводит мотор и уезжает.

* * *

Кит встает и оттягивает воротничок на шее. Мэри Роз, вы можете еще раз описать нам, как выглядела Глория в то утро, когда появилась перед вашей дверью?

Да, могу.

Только давайте быстро, говорит судья Райс. Если заставлю мою мадам ждать и у них там кончится филе, мне придется ночевать на воздухе с лошадьми. – Зал разражается смехом. Смеется Дейл Стрикленд – глухо, монотонно, от этого звука сводит зубы. Даже миссис Хендерсон улыбается. Не смеемся только мы с Китом Тейлором.

Когда я возвращаюсь на свое место, Стрикленд протягивает руку и большим пальцем касается моей ладони. Волоски у меня на руках встают дыбом. Дверь в конце зала открывается, и в узкой полосе света видна плавающая в воздухе пыль.

К нам быстро идет Кит, а присяжные сидят спокойно, не обращая на нас внимания. А может быть, в зале шум, и все нас видят, но я запомню всё именно так: тишина, и при воспоминании о ней мне всякий раз хочется закричать.

Мэри Роз, – едва слышно говорит Стрикленд. Ноготь его большого пальца тихонько царапает мне ладонь. Наручники все еще на нем, и я чувствую прикосновение металла к моему запястью. – Мэри Роз, – говорит он – и как же мне противно, что он знает моё имя, – я хочу сказать вам, как я огорчен, что причинил вам и вашим родным

неприятности. Он улыбается, но губы сжаты. Когда всё это кончится, надеюсь снова вас увидеть в более приятной обстановке – у вас на ранчо или здесь, в городе.

Он говорил очень тихо; даже не уверена, что правильно расслышала. Но кое-что еще поняла про Дейла Стрикленда: он хитрее меня. Потому что, когда отвечаю ему, стараюсь, чтобы меня услышали все в зале. Ну, приходи, говорю я ему. С удовольствием разнесу твою поганую башку.

Сумасшедшая, говорит кто-то, и все начинают болтать одновременно, их бормотание наполняет зал, как далекие раскаты грома. Дейл Стрикленд ухмыляется, глядя на меня, а потом судья Райс ударяет по столу рукояткой пистолета. Губы у него сжались в ниточку. Миссис Уайтхед, говорит он, надеюсь, ваш муж присмотрит вечером за ребенком. Неуважение к суду.

Прекрасно, говорю я. Я вас не боюсь, старик. И пристав уводит меня.

На ночь я в тюрьме не останусь – только шесть часов в камере предварительного заключения. В четыре часа заседание закрывается, судья Райс подходит к камере и говорит: – Достаточно. Вы готовы идти домой, юная леди? Усвоили урок?

Да, отвечаю я.

Да – что?

Да.

Он смотрит на меня долгим взглядом, и я думаю, что опять будет столкновение, но он только качает головой и уходит.

Пока там ищут ключ и отпирают, блузка пропиталась насквозь, грудь тяжелая от молока, я с трудом могу выпрямиться. Прижав сумочку к боку, прохожу мимо дежурного полицейского и слышу, как за спиной в коридоре смеются. Смеются, когда выхожу из отделения, закрываю за собой дверь и иду через парковку к машине.

* * *

Когда подъезжаю к дому Корины, ребенок бушует так, что на ходу отрываю пуговицу на блузке – скорее его утихомирить. Он кричит, царапает грудь, от острых ногтей остаются длинные царапины.

Наконец, присосался — оба вздыхаем и закрываем глаза, успокаиваемся.

Уже дома, когда открываю банки к обеду, дочь не говорит мне ни слова — и ни слова, пока кормлю маленького, второй раз за два часа. И продолжает молчать, когда звонит телефон, а я не встаю с кресла, и её папа оставляет сообщение на автоответчике. Спать легли без капризов.

В сумерках Корина переходит улицу, и мы устраиваемся на задней веранде. Я приношу кувшин грейпфрутового сока с водкой и отдельно бутылку водки. Корина берет пепельницу. Выключаем на веранде свет, оставляем дверь приоткрытой и сидим под темнеющим небом. Небо с багровым оттенком — признак того, что может налететь пыльная буря.

Так где вы, черт возьми, пропадали весь день? — спрашивает Корина. Она зажигает спичку, вспышка отразилась в её глазах. Сегодня вечером поднялся ветерок и никак не решится, в какую сторону ему дуть и не подуть ли сильнее. Каждая вспыхнувшая и погасшая спичка, кажется, обладает собственной волей, как сжатый кулак.

Ну вот, думаю, есть возможность пробиться в темноте к другому человеку, рассказать правду. Но рассказываю Корине комедию о даме с подтекающим молоком, которая дерзит судьбе и попадает в кутузку. Рисую ей сцену — как обещаю Стрикленду застрелить его, а Кит Тейлор говорит: «Тьфу, черт», и судья стучит по столу пистолетом с такой силой, что, кажется, проломит дерево. И так хорошо рассказываю, что Корина смеется, не переставая. Забавнее рассказа про суд я не слышала, говорит она. Буду помнить до самой смерти.

И весь город тоже, говорю я.

Она протягивает мне бутылку с водкой, и я доливаю её в стакан, наполовину полный грейпфрутовым соком. Насчет этого не беспокойтесь, говорит она. Забудется быстро.

Ну да. Забудут через неделю-другую. И обе смеемся. Обе понимаем, что эта история прилипнет ко мне на годы — и к Эйми тоже. Она будет дочкой сумасшедшей матери, полдня просидевшей в тюрьме. Этот день изменит нас обеих. Теперь, когда сядем играть в карты, заставлю её сражаться до последнего, и, если проиграет, разьясню, почему — и не в самых любезных словах. Будем часами стрелять на дворе по консервным банкам, и, если заноеет, что устала и хочет поиграть с Деброй Энн или еще какой-нибудь соседской девочкой, велю ей бежать в проулок и подбирать банки. Расставь на

заборе и давай еще раз. Еще раз, скажу ей. Еще! Пока не научишься попадать с первого раза.

Когда отец захочет с ней повидаться, заставлю его приезжать в город, и двадцать лет пройдет, прежде чем снова ступлю на скудную красивую землю нашего ранчо, прежде чем сяду на нашей веранде и буду смотреть на закат, – и ничего между мной и небом, кроме грунтовой дороги и голосов: коровьих, птичьих, иногда – койота. А через несколько лет, когда Эйми вечером ускользнет из дома и поедет с друзьями на нефтеносный участок, я влеплю ей такую пощечину, что красный след будет виден еще и утром. И несколько лет не соберусь извиниться, а когда соберусь сказать «прости», каждое слово между нами будет как патрон в патроннике.

Небо уже черное, во дворе темно, только два огонька сигарет да на бетоне тусклое пятно света из кухни.

Вы подойдете? – спрашивает Корина, когда звонит телефон.

Да ну, говорю я. – Купила машинку, она и ответит за меня. Обошлась мне почти в двести долларов, а заказывать пришлось в Далласе.

Мы слушаем машинку, по двору разносится мой голос.

Господи, говорит Корина. Будет ли конец чудесам? Мне больше не придется бегать к телефону. Она хватает мою мухобойку, хлопает по столу – *попалась!* – и берет бутылку с водкой.

Ветер меняет направление, и нефтеперегонный завод дает о себе знать. Сидим выпрямившись, зажав носы, и ждем, что еще нам прилетит с ветром. В темноте раздается тягучий голос Кита Тейлора. Это Кит Тейлор, начинает он, и мы обе улыбаемся. Эх, девочка, говорит Корина, двумя пальцами зажимая нос. Была бы я лет на тридцать моложе. Ну, рожай там. И обе хохочем. Я чувствую, как уходит напряжение и отпускает спину.

Новости для вас. Он делает паузу, и слышно, как открывает банку с пивом. Молчит долго, можно подумать, что положил трубку на стол и пошел куда-то – или машинка испортилась.

Закончилось в четыре, говорит он. Нападение без отягчающих. Условное освобождение и денежная компенсация Рамиресам. Трудные эти дела. Извините, Мэри Роз. В пять часов его отпустили. Машинка выключается.

Мы с Кориной сидим в темноте и молчим, но могу догадаться, о чем она думает. Предполагал ли хоть кто-нибудь, что его осудят? Кто-нибудь, кроме меня?

Жаль, говорит она, но я уже на ногах – иду проверять окна и двери и как там дети. На обратном пути беру из чулана Старую Даму, проверяю, заряжена ли. Когда прихожу во двор, Корина видит у меня винтовку и со стоном встает. Вынимает из пачки две сигареты и кладет на стол.

Если хотите мне что-то сказать, говорю я, давайте, ну. Только не вздумайте сказать мне «не злись».

Да нет же, говорит Корина. Злитесь. Это единственное, что дает мне сил встать утром с кровати.

Ветер усиливается, и впервые за всё это время думаю, что завтра или через день может пойти дождь. Корина трогает Старую Даму, большим пальцем гладит ложе. Красивая винтовка, Мэри Роз. У Поттера была такая же. Когда он умер, я отправила её Алисе. Они такие красивые, иногда забываешь, что они могут сделать. В общем, трудно быть одной с детьми весь день и каждый день. Понадобится помощь – скажите.

Я смеюсь. А вы просили?

Не поняла?

Вы когда-нибудь просили помощи?

Нет, говорит Корина. Ветер подхватывает прядки её жидких волос и сбрасывает ей на лицо. Она поворачивается, чтобы идти домой, пошатывается, держится за стол и чуть не падает, споткнувшись об удлинитель.

Я берусь за шнур и прошу её подождать. Подхожу к штепселю и вставляю вилку. Свет заливает каждый уголок двора. Господи Боже! Корина моргает и закрывает лицо ладонями. У вас тут как тюремный двор.

По полу тянутся шесть белых удлинителей – каждый к алюминиевому софиту. Бабушка называла их «серебряными фонарями». Она развесила их, когда койоты стали воровать кур. Двор заполнен большими кругами света, только за края его цепляется темнота. Мне видно всё.

Корина ушла; я стою, свет пронизывает мою юбку. Здесь, во дворе, в этот поздний час я не могу стрелять из Старой Дамы, поэтому

беру ружье Эйми, мелкокалиберку. Расставляю банки из-под «Доктора Пеппера» на заднем заборе и выкуриваю Коринину сигарету. Потом сбиваю банки с забора, одну за другой, слушая, как они падают на землю. Когда приходит кот Дебры Энн, я прицеливаюсь в него. Он подкарауливает саранчу на шлакоблочном заборе, бьет лапой, и она падает в проулок. Я ставлю винтовку на предохранитель и думаю: каково это – убить кого-то просто из-за того, что можешь. Кот уходит, а я стою в темноте, смотрю на звезды, слушаю, как усиливается ветер. Потом просыпается малыш и плачет – опять проголодался, – убираю винтовку и иду к нему.

Дебра Энн

Небо сделалось цвета старого кровоподтёка, и видна за пятьдесят миль туча пыли, летящая по улицам городов еще меньше Одессы – городкам вроде Пекоса, Кермита и Ментона. Рыжая мгла подхватывает перекасти-поле, камешки, воробьев, всё, что может поднять, перенести и снова бросить на землю. Когда ветер налетает на эти иссохшие равнины, солнце исчезает и туча покрывает всё, что есть – водонапорные башни, загоны для скота, градирни нефтехимического завода, нефтяные вышки, поля сорго, рассеченные грунтовыми дорогами. За городом скот сбивается в кучу, коровы с безумными глазами мычат, призывая телят, чьи запахи унес ветер. На заводе люди слезают с башен и бегут что есть духу к бытовкам. Буровики бегут с платформ и прячутся в грузовиках, по трое втиснувшись в кабину. А новички, самые молодые в бригаде, и мексиканцы – те лежат в кузове, впопыхах накрывшись тяжелым брезентом, четверо или пятеро притиснувшись друг к другу, – задом к яйцам, стараясь не тереться друг об друга.

На Ларкспер-Лейн Дебра Энн стоит перед домом и смотрит, как над землей вырастает тысячефутовое облако. По улице кувыркаются газеты и катятся клубки перекасти-поля. От пеканов отрываются ветки; электрические провода будто дергает рука сумасшедшего кукольника. От окна спальни миссис Шепард отрывается рама с сеткой, падает на соседскую клумбу анютиных глазок, встает торчком и уносится по улице. Дебра Энн приходит к дому Эйми, и они стоят на дворе с Лорали и Кейси, в глаза и волосы им набиваются песок и пыль, одежда облепляет тело. Позже они узнают, что в трейлерном поселке в Вест-Одессе от торнадо погибли пять человек. На заводе в смену мистера Ледбеттера рабочий упал с градирни, сломал шею и умер почти мгновенно.

Пыль закрыла солнце, и желто-серое небо приняло цвет спелой сливы. Буря набрасывается на девочек, но они продолжают стоять на дворе. Миссис Шепард открывает дверь и кричит: Девочки, что у вас с головами? Живо в дом! Они продолжают стоять. Но когда ветер на минуту стихает и всё замирает вокруг, они поднимают головы и видят,

что небо стало лиловым – раскрашено под смерч, как говорит миссис Ледбеттер, – и птицы смолкли, и ветер гремит, как надвигающийся поезд. И тогда они бегут к дому Эйми.

Вчера Джесси заработал последние деньги для выкупа грузовика, и Д.Э. сказала ему, что теперь надо только дожидаться удобного момента. Сейчас она смотрит из кухонного окна у Эйми: интересно, чем он сейчас занят и думает ли о том же, о чем она? Лорали звонит домой и минуты две слушает крики матери. Отлупит меня, когда это кончится, говорит она девочкам. Кейси звонит в боулинг, сообщить матери, где она, а Д.Э. звонит на проходную олефинового завода, куда только что устроился папа. Она знает, что денег будет чуть меньше, зато приходиться раньше и субботы будут чаще всего свободными. Может быть, жизнь станет полегче, говорит она подругам, и они кивают. Может быть.

Они столпились перед окном на кухне у Эйми, смотрят на воронкообразные облака и поедают всё, что попадется под руку. Звонит телефон; в кухню вбегает мать Эйми и берет трубку. Середина дня, а она еще в халате. Она держит трубку, слушает, наматывает провод на палец – палец становится темно-красным. Всё же кончилось, говорит она ровным голосом. Зачем вы опять звоните? И мягко кладет трубку на рычаг.

В дальнем конце дома подает голос малыш, но миссис Уайтхед и не думает бежать к нему. Она достает из кармана сигарету и закуривает. На девочек, включая дочь, она глядит, как на незнакомых, думает Дебра Энн. И смотрит на часы над плитой. Еще только начало второго.

Мама, почему ты меня не позвала? – спрашивает Эйми. Сильная буря. Может, будет смерч.

Миссис Уайтхед подходит к раковине, отодвигает занавеску и смотрит в окошко. Значит, будет, говорит она и задергивает занавеску. Значит, будет. Несколько секунд она смотрит на сигарету и стряхивает пепел в раковину. Потом берет стакан и наливает холодный чай из кувшина.

Вы не заболели? – спрашивает Кейси, качаясь из стороны в сторону. Её длинная юбка чуть не задевает пол.

Нет, говорит миссис Уайтхед. Она отпивает чай и стоит, глядя на стакан. Её прямые волосы плотно прилегают к голове, глаза блестят,

вокруг глаз темные круги. Похоже выглядела иногда мать Дебры Энн во время месячных. Дебра Энн ходила за ней из комнаты в комнату и спрашивала: Хочешь расскажу анекдот? Хочешь посмотреть телевизор, или посидеть на дворе, или полежишь, а я тебе почитаю книгу? В плохую неделю Джинни иной раз вообще переставала разговаривать. Могла часами лежать в ванне, листала «Нэшнл джиографик» и вздыхала так громко, что слышно было через закрытую дверь. Сегодня мать Эйми похожа на тростинку в бурю, думает Дебра Энн, – цепляется за землю, гнется, надеясь уцелеть.

А может, и заболела, – у миссис Уайтхед вырывается лающий смехок. – Может, устала до смерти.

Эйми оглядывается на подруг, и они разводят руками. Мама, что случилось?

Она рассказывает девочкам, что вчера судья вынес решение: год условно и пять тысяч долларов в пользу семьи потерпевшей.

Подруги ахают. Пять тысяч долларов? – говорит Д.Э. Целое состояние.

Ага, говорит Кейси, – почувствует на своем кошельке.

Девочки, замолчите, говорит миссис Уайтхед. Прекратите сейчас же. Вы не понимаете, о чем говорите.

Справедливость восторжествовала, выкрикивает Дебра Энн. Ура! – Лорали смеётся, и они хлопают друг дружку ладонью о ладонь.

Да замолчите вы. Девочки, заткнитесь!

Год условно, говорит она, и в голосе её надрыв. Пять тысяч долларов. Господи. Мать твою.

Если бы из-под стола сейчас выползла гремучая змея, девочки были бы ошеломлены меньше. Эйми отступает на два шага, поднимая руки, словно мать готова выстрелить в неё. Мама, это ересь.

Нет, детка. Это богохульство. И кому там не насрать?

Она швыряет стакан с чаем в стену, он с треском разбивается. Чай стекает по цветочным обоям на линолеум. В другом конце дома закричал малыш, а она оседает на пол, словно из неё вынули хребет. Не знаю, что мне с собой делать, говорит она.

Дебра Энн тоже не знает, что делать, и никто из них не знает, но они уже достаточно взрослые и понимают, что смотреть на это неприлично. Все, как по команде, поворачиваются к стене. Ждут; проходит несколько минут, а миссис Уайтхед даже не пытается встать.

Дебра Энн снимает трубку телефона и хочет позвонить миссис Шепард. Слушает; потом несколько раз стучит пальцем по трубке. Телефон не работает, говорит она. Наверное, провода порвал ветер.

Ошибаешься, говорит мать Эйми. Он только что звонил.

Нет. Он молчит.

Голубые глаза Эйми стали огромными, щеки – белыми, как бумага. Что нам делать?

Детский крик пререзает воздух и переходит в ровный тоскливый вой. Дебре Энн хочется зажать ладонями уши. – Я пойду позову миссис Шепард, говорит она. Она подходит к Эйми и крепко обнимает её. Я поеду в Пенуэлл с моим другом, но скоро вернусь.

Она уходит, а Эйми опускается на колени возле матери. – Мама, ты можешь встать с пола? Дать тебе попить? Но Мэри Роз крепко прижимает ладони к бедрам. – Не стоит, милая.

Через несколько минут приходит миссис Шепард, прямо в домашних туфлях, оглядывает кухню, видит битое стекло, залитую чаем стену, лужу на полу, трех смущенных девочек у двери и слышит вой ребенка, такой отчаянный, как будто его поджаривают. Миссис Шепард хлопает в ладоши. Девочки, заберите чертова младенца и отнесите в комнату Эйми. Она наклоняется к Мэри Роз, сотрясающейся от рыданий, – сейчас их лица на одной высоте.

Девочки никогда не видели, чтобы взрослая женщина так плакала, даже на похоронах, – и по молодости лет не понимают, что плачет она от ярости.

Миссис Шепард гладит её по руке и кладет ладонь ей на спину. Ну, всё, говорит она. Вставайте уже.

Мать Эйми мотает головой.

Детка, я больше не могу стоять согнувшись. Вставайте же.

Мэри Роз молча встает и подходит к кухонному столу. Она садится и опускает голову на клеенку: её плечи вздрагивают от всхлипов. Корина вытирает залитую стену и замечает осколки в угол. Пока так, говорит она, потом уберем. Она наливает в два стакана холодный чай, переносит на стол и оглядывается на девочек, стоящих у двери с открытыми ртами. Почему вы еще здесь? – говорит Корина. Заберите, черт возьми, ребенка, пока у него сосуды не лопнули.

Девочки уходят в спальню Эйми. Ветер сотрясает весь дом, словно хочет выбросить их в окно, на двор. Они садятся на пол, строят

младенцу глазки, и Кейси предлагает поиграть в «О, могучая Изида», потому что Изида может повелевать ветру, а Лорали говорит, что надо играть в «Невероятного Халка», потому что он может превратить свой гнев в силу добра. Эйми ни во что не хочет играть. Она сидит, глядя то на маленького братика, то на окно. Она говорит подругам про условный срок – что он означает, что, как ей кажется, означает. Дейл Стрикленд может ходить куда захочет, есть мороженое, когда захочет, может ходить на футбол. А Глория Рамирес? С ней что будет? И с ними что?

Только через полчаса придет в комнату Эйми Корина с бутылочкой для малыша. Она оглядывает маленькую компанию: три бледных круглых лица и младенец, цепляющий сестру за волосы. Куда, к черту, подевалась Дебра Энн? – спрашивает она. – Почему её нет с вами?

Корина

Из-за воя ветра, из-за детского плача, из-за пыли в воздухе, такой густой, что задохнется бык, из-за того, что Мэри Роз не позволяет хоть на две минуты раздвинуть занавески и впустить в дом дневной свет, Корина не увидела и не услышала, как Джесси и Д.Э. открывают ворота гаража и задним ходом выезжают на пикапе. Теперь она стоит на пыльном бетоне, сжав кулаки, с потными подмышками, и смотрит на пустое место, где стоял грузовичок Поттера. Осталась от него только свежая лужица масла.

Мэри Роз бежит через улицу, застегивая на ходу блузку, сумка бьёт её по бедру. Она без носков, шнурки не завязаны. Увидев Корину в пустом гараже, она резко останавливается. Где пикап Поттера? Где Дебра Энн?

Не знаю. Еще похмельная после водки с соком, Корина сильно нажимает пальцами на веки, так что в глазах плавают звездочки. Она пытается вспомнить, когда сидела в пикапе последний раз. Слушала Боба Уиллса по радио, поставила на нейтральную перед тем, как включить зажигание, в надежде, что хватит мужества досидеть до конца. Когда последний раз посмотрела на приборный щиток, а потом, вздохнув, выключила зажигание, ушла в дом и налила себе холодного чая? Позапрошлым вечером. И, как всегда, оставила ключ в зажигании.

Мэри Роз торопливо входит в кухню и подносит к уху телефонную трубку. Придерживая открытую дверь ногой, стучит по рычагу телефона, слушает, снова стучит. Сколько бензина в баке? – кричит она в открытую дверь.

Кажется, меньше половины. Корина оглядывает гараж. Всё на месте, только пусто в углу, где Поттер хранил палатку. На полке надписанные коробки рождественских украшений; рядом – туристское снаряжение. Грабли и лопаты составлены в углу, покрыты свежей серой пылью, и вдруг Корине видится, как он идет по заднему двору с лопатой, а на ней лежит что-то – уж, или мышь, или воробей. И он копает яму, могилу для чертова зверька. Должен был пережить меня, думает она. Гораздо лучше ладил с жизнью.

Корина останавливается в центре гаража и медленно поворачивается, оглядывает помещение, то поднимая, то опуская взгляд. Пикапа нет, телефоны отключились, и хотя пыльная буря улеглась, воздух так засорен и горяч, что легкие будто сжаты железными тисками. Взгляд её снова останавливается на лужице масла, и рядом с ней на бетоне лежит листок бумаги.

Из кухни выходит Мэри Роз, останавливается и протягивает руку – Корина отдает ей листок. Это сложенная пополам салфетка из стрип-клуба, слова под логотипом немного смазаны, но женщинам удастся разобрать: «Пенуэлл» и «бензозаправка», а на обороте имя: «Джесси Белден». Слегка пошатываясь, одной рукой держась за живот, Мэри Роз наклоняется, её волосы задевают пол. – Мы должны забрать её.

Она убегает на кухню и стучит по рычагу телефона с такой силой, что слышно Корине в гараже. Когда Мэри Роз возвращается – молчит телефон, черт бы его взял, – лицо у неё цвета золы или серой пыли, покрывшей верстак Поттера. Это около нашего ранчо, говорит Мэри Роз. Голубые глаза её тусклы. Я знаю, кто её увез.

Вы знаете этого человека? Мистера Белдена? Корина смотрит на бумажку. Дебра Энн упоминала его раза два, но я думала, это один из её воображаемых друзей.

Его не так зовут, решительно отвечает Мэри Роз. Я знаю, кто это. Она бежит обратно и скрывается у себя в доме. Не проходит и пяти минут, как она уже стоит на дорожке перед домом Корины с винтовкой в одной руке и горстью патронов в другой. Я велела девочкам не уходить и позвонить Сюзанне Ледбеттер, как только телефон заработает, говорит она.

Корина поднимает руки, ладонями к ней. Надо положить ружье ко мне в багажник.

Мэри Роз трясет головой. Надо ехать.

По лбу у неё течет пот, волосы прилипли к затылку. Корина стоит в полушаге от соседки, так что слышен несвежий запах тела и видны расширенные зрачки, почти не оставившие места голубой радужке. Мы не хотим никого напугать, – говорит Корина, – и в бардачке у меня пистолет, если понадобится.

Он её убьет, говорит Мэри Роз, и у Корины мелькает мысль, что она может быть права. Но Дебра Энн была спокойна всё лето, сосредоточенна и деловита, даже перестала щипать брови. По ней не

скажешь, что этот человек мог как-то обижать её. И еще одно не дает покоя Корине – записка, которую показала ей Дебра Энн этим летом: «Спасибо, что помогаешь мне. Я тебе благодарен». Откуда это? спросила тогда Корина, а девочка ответила: это у меня такая летняя работа.

Мы ничего не знаем, говорит она Мэри Роз. Дебра Энн сказала, что он её друг.

А она-то что знает? кричит Мэри Роз. Она еще ребенок, а он, – голос изменяет ей, последнее слово она произносит глухо, – изверг.

Чудовище, хрипит Мэри Роз, словно проглотила стакан уксуса. Рука её сжала винтовку так, что побелели костяшки пальцев. В лице – яростная решимость.

Страшно, думает Корина. Она вздыхает и старается говорить спокойно. Мы еще не знаем, в чем дело. Может быть, Дебра Энн решила сбежать.

Да что у вас с головой? Мэри Роз смотрит на Корину так, словно старуха выжила из ума. Стрикленд хотел захватить Эйми, а вместо неё оказалась Дебра Энн. Это моя вина.

Сколько было воздуха у Корины в груди, он весь исчезает, и она хватается за верстак Поттера. Сдвигает в сторону садовые инструменты, опирается ладонью на доску, подняв в воздух паутину и пыль, скопившиеся за долгую весну и лето. Пыль и жаркий воздух наполняют ей легкие, и она кашляет, отвернув голову к плечу. Я не справлюсь, думает она.

Давайте положу ружье в багажник и поедem в Пенуэлл. Она выпрямляется и берет соседку за руку, но Мэри Роз отдергивает руку. – Вы на чьей стороне, не понимаю?

Успокойтесь, говорит Корина. Снова хочет взять её за руку, но Мэри Роз уже бежит через дорогу, прислоняет винтовку к своей машине и лихорадочно роется в сумке. Найдя ключи, хватает Старую Даму и кладет на пассажирское сиденье. И даже не взглянув в сторону Корины, отъезжает.

Ранчо Уайтхедов расположено в трех милях к югу от Пенуэлла. Нетрудно дойти пешком, как это было с Глори Рамирес, и если бы вы шли с ней, тоже могли бы схватиться за колючую проволоку, отгородившую от железной дороги самодельное кладбище – рядок больших камней, положенных друг на друга, – могилу младенца, умершего от лихорадки, ребенка, укушенного гремучей змеей, и чуть в стороне маленькую безымянную могилу собаки, принадлежавшей кому-то из рабочих. И если будете невнимательны или будете оглядываться назад, можете упасть на кучу камней, как это было с Глори. Может быть, вы с таким же животным страхом смотрели бы, как ветер волнами пробегает по траве. Может быть, оглянулись бы на то место, откуда ушли, и открыли рот, и оказалось бы, что не можете издать ни звука. Вот у этой маленькой могилы и сидела Глори, выковыривая из ладоней гравий, – и здесь Джесси Белден сажает Д.Э. Пирс к себе на плечи и несет по бурьяну, охлестываемому охвостьем уходящей пыльной бури, – чтобы могла разглядеть кладбище, про которое рассказывала ему всё лето.

* * *

Корина неисправимый лихач, привыкла гнать на двадцать миль быстрее дозволенной скорости, даже когда незачем спешить. Сейчас она мчится по шоссе I-20 так, словно за ней гонится сама смерть. Стрелка спидометра дрожит между восьмьюдесятью и восьмьюдесятью пятью милями в час. Но белый седан Мэри Роз едет быстрее, расстояние между машинами растет – почти уже полмили.

Буря уходит на юг со скоростью десяти миль в час, женщины мчатся сквозь тучу рыжей глиняной пыли и светлой известковой. Перед Пенуэллом ветер звереет, трясет машину Корины. Желудок у неё начинает бунтовать, напоминая, что не ела сегодня, что обезвожена, что напилась вчера вечером и каждый вечер напивалась с тех пор, как умер Поттер, что она старуха, бессильная удержать мир, готовый лопнуть по швам.

Когда они стояли перед домом Корины и Мэри Роз произнесла слово «изверг», голос её был ровным, как пустыня, простершаяся сейчас перед Кориной, и душа у Корины ушла в пятки. Несколько раз в

жизни довелось ей слышать такой тон, и не обязательно у мужчины или в мужской компании. И хотя Мэри Роз рассержена и испугана, и где-то едет девочка с неизвестным мужчиной, Корина вспоминает, почему тон Мэри Роз кажется ей таким знакомым.

Это не опьянение яростью, какое владеет толпой, сжигающей книгу или бросающей камни в окно, или поджигающей облитый керосином крест на чьем-то дворе. Ровный голос Мэри Роз глухой, твердый – за этим страх и ярость, превратившиеся в холодный гнев. Это голос человека, принявшего решение. Осталось ждать лишь искры, которая оправдает то, что произойдет дальше. Всю жизнь Корина наблюдала, как этот яд расходится по жилам её учеников и их родителей, мужчин, сидящих в баре или на трибуне, усердных прихожан, соседей, отцов и матерей города. Наблюдала, как её родные и близкие вливали этот яд в свой лучший хрусталь, вываливали в миски и тарелки, привезенные их предками в фургонах из Джорджии и Алабамы, заявляя, что сами добыли всё нажитое, и никто им никогда ничего не давал, заработали на заводе, на полях и ни черта не могут сделать с теми, у кого в руках кошельки, кто платит им жалованье и одним кивком может выгнать их с работы – но всегда готовы показать на другого виноватого. Если долго говорить одно и то же и на разные лады, перестанешь видеть дитя Божье, стоящее по ту сторону твоих слов или сгорбившееся под их тяжестью. Лишь бы это помогло тебе скоротать ночь или отвернуться, чтобы пребывать во лжи. Помогло тебе поднести спичку или перебросить веревку через крепкий сук, а потом поспеть домой к ужину и к футбольному матчу. И хотя у Мэри Роз может быть больше оснований дать волю гневу, чем у этих глупцов и грешников, Корина знает: так или иначе это тебя убьет. Но, черт возьми, до тех пор ты успеешь наделать делов.

Корина жмёт на газ, пытается сократить расстояние до машины Мэри Роз. На девяноста пяти её «Линкольн» трясется и ревет, как реактивный самолет. Когда Мэри Роз сбавляет ход, чтобы свернуть на подъездную дорогу, и снова прибавляет скорость, ветровое стекло у Корины накрывает туча пыли. Корина тормозит и съезжает на грунтовую дорогу, в последний раз взглянув в зеркало заднего вида, и впервые в жизни ей хочется, чтобы какой-нибудь полицейский оторвался от газеты и обеда и хотя бы минуту внимания уделил ей.

Сейчас почти три часа, прошло меньше часа с тех пор, как Корина зашла в свой гараж, и давно пора бы налить себе виски и холодного чая и расположиться на веранде. У неё начинают дрожать руки – напоминание, что ей абсолютно незачем тут быть, и она смеется, стуча кулаком по рулю. Надо было ехать прямо в полицию или зайти в «7-Eleven» и спросить, исправен ли у них телефон. Одного она хочет – с тех пор, как умер Поттер, только одного: чтобы её оставили в покое, и потихоньку спиться и скуриться до сладкого небытия. Но вот она здесь, старуха с испорченными легкими, безмужняя, едет в «Линкольне» по чертовой глуши спасать мир. До того это нелепо, что Корина стучает себя по лбу и смеется так, что слёзы проделывают два ручейка на запыленных щеках. Эх, черт, думает она. Дожили.

* * *

Корина уже на хвосте у Мэри Роз; они с ревом мчатся по Пенуэллу, захудалому городку посреди пустынной местности, где нет ничего, кроме качалок, железнодорожной колеи и вереницы телефонных столбов, уходящей в вечность. Здесь примерно семьдесят пять постоянных жителей, многие из них ютятся в трейлерах, привезенных из Одессы и стоящих среди останков деревянных буровых вышек. Всё, что осталось от старой бензозаправки и танцевального зала, – это груда досок и битого стекла да кучка перекасти-поля возле упавшей ржавой вывески. СЕГОДНЯ ТАНЦЫ.

На обочине два мальчика весело кричат, когда женщины проносятся мимо светофора, не действующего уже сорок лет. Они проезжают мимо заправки, но поттеровского пикапа не видно. За городом дорога сворачивает на юг и бежит вдоль железнодорожных путей. Асфальт кончился, пошли пыльные колеи и шары перекасти-поля. Туча пыли всё еще впереди, но ветер неустойчив. Налетит и уляжется; яростно затрясет машину и вдруг отпустит. Мэри Роз круто сворачивает перед куском трубы, упавшим поперек дороги, и Корина делает то же самое.

Мэри Роз опять тормозит, резко берет в сторону, и Корина видит броненосца-маму с четырьмя детенышами, идущих через дорогу. Она

жмет на тормоз и резко поворачивает вправо; лицо её утыкается в руль с такой силой, что на периферии зрения плавают искры.

Обе машины, кренясь, съезжают на край дороги и останавливаются. Впереди стоит пикап Поттера и рядом другой, постарше. Корина сигналиит и хочет встать рядом с Мэри Роз, но дорога узкая, Мэри Роз не смотрит в её сторону, и тогда Корина тянется через широкое сиденье к бардачку, открывает его и кладет пистолет рядом с коробкой сигарет. Если обойдется сегодня без смертоубийства, она приедет домой и выкурит всю пачку. Напьется до умопомрачения, а после проспит три дня.

Машина Мэри Роз медленно катится по дороге, останавливается в нескольких шагах от пикапов, и только теперь Корина замечает идущих вдоль рельсов мужчину и девочку. Он худой и малорослый, сутуловатый, с черными волосами, – ничего общего с мужчиной, чьи фотографии показывали без конца после нападения на Глорию Рамирес. Челка у Дебры Энн лезет в глаза; на ней любимые махровые шорты и розовая с блеском футболка. У мужчины в одной руке банка с водой – о, чего бы только не отдала Корина за глоток воды! Другой рукой он бережно держит за пальцы грязную лапку Д.Э.

Корина опускает стекло и, высунувшись, хочет окликнуть их, но видит, что распахнулась дверь машины Мэри Роз, и вместо этого нажимает сигнал. Долгий унылый гудок, похожий на заводской, заставляет их оглянуться. Джесси и Д.Э. останавливаются, поворачиваются, и через несколько мгновений он наклоняется к девочке и что-то говорит. Она пожимает плечами, трёт глаза и смотрит в землю.

Мэри Роз выскакивает из машины и бежит к ним, роняя патроны; винтовка стучается о её плечо. У Корины ёкает сердце, словно она схватилась за изгородь под током. Корина несколько месяцев жила через улицу от этой молодой женщины и наблюдала, как та сохнет, словно мескитовый лист, и ложатся тени вокруг глаз, когда она сидит на веранде и следит за дочерью так, словно та в любую минуту может исчезнуть.

За несколько недель до суда, когда девочки купали ребенка, а женщины курили на заднем дворике у Мэри Роз, Корине показалось, что в глазах соседки мелькнуло – совсем коротко – что-то похожее на отчаяние.

Вы в чем-нибудь нуждаетесь? спросила она.

Нет, сказала Мэри Роз. Ни в чем, кажется.

Когда вы в последний раз высыпались?

И Мэри Роз ответила смешком, больше похожим на рычание. Ну, я из тех женщин, сказала она, которые встают пописать каждые десять минут. Началось это с первых дней беременности, а ребенку три месяца, так что, выходит, почти тринадцать месяцев, как не могу спокойно проспать ночь.

А что же Роберт, милая? Уверена, он приехал бы помочь, если бы вы позвали.

Роберт занят коровами. Мэри Роз посмотрела на газон и пнула один из удлинитель, тянувшихся через веранду. И не нужен он мне здесь.

Она подошла к краю веранды и наступила на большого черного паука.

Тут на днях приезжал Кит Тейлор, помогал подготовиться к суду, сказала она, и спросил, как мне живется в городе, не скучаю ли по мужу, — а я не знала, что ответить.

В доме крикнула одна из девочек, женщины замолчали и насторожили слух, ожидая, что их позовут разобраться с каким-то делом, важным или маленьким, но девочки поболтали минуту и умолкли.

Когда спрашиваю себя, что ушло между мной и Робертом... Мэри Роз замолчала и смотрела на свои ладони, поворачивая их так и эдак. Вот. И как понять? Первый наряд для группы поддержки мне справили, когда я была еще в пеленках. Да всем нам. Если повезет, успеем дожить до двенадцати, прежде чем какой-нибудь мужчина, или парень, или дама доброжелательная решит, что пора нам знать, что к чему в этой жизни и зачем нас поселили на Земле. Чтобы *их* ободрять. Улыбаться этаким солнышком. Поддерживать их, понимать их и быть милой со всеми, с кем сталкиваешься. Я вышла за Роберта в семнадцать лет и сразу переехала из отцовского дома к нему.

Мэри Роз села в шезлонг, опустила голову на садовый стол и заплакала. Для этого я рождена? Ободрять его и радовать?

Корина стояла и ждала, когда она перестанет плакать, но плач продолжался, и Корина смущенно тронула соседку за плечо. Позовите, если что-нибудь понадобится, сказала она и вышла через калитку.

Корина не пробежала и пяти шагов, как у неё перехватило дыхание, легкие говорят ей: нет, мадам, надо было подумать об этом двадцать лет назад. Быстрым шагом она идет по пустыне, тяжело дыша, останавливается, делает еще несколько шагов. Лицо болит от удара о руль, на лбу вырастает шишка. Её рвет, но немного, только желчью и водой, и она пугается, что это может быть сотрясение мозга.

Мэри Роз далеко впереди, и Корина зовет Дебру Энн, снова и снова, и каждое слово отзывается болью в груди, в пересохшем горле, в ушибленной голове.

Д.Э. и Джесси смотрят на двух женщин – одна впереди и шагает быстро, другая бредет, как старая корова, жалея, что все эти годы не слушала Поттера, когда он говорил, что распинаться целый день перед подростками – слабая физкультура, сколько часов ни проводи на ногах.

Отпусти её, Стрикленд. В голосе Мэри Роз сталь, он пронзает Корину до нутра.

Это не он, Мэри Роз, кричит она. Это другой человек.

Мэри Роз останавливается и смотрит на молодого мужчину. Корина понимает, что Мэри Роз уже близко к нему и видит его отчетливо. Да и сама она уже близко.

Видите, кричит она. Это мистер Белден.

Дебра Энн смотрит на Джесси нахмурясь, он чуть наклоняется и мягко берет её под руку. Потом выпрямляется и машет женщинам.

Слава богу. Корина делает шаг к ним.

Нет, тихо говорит Мэри Роз. Она поднимает винтовку, которую называет Старой Дамой, приставляет приклад к плечу и нажимает на спусковой крючок.

* * *

Звук выстрела разрывает день надвое. Дебра Энн и Джесси падают на землю и не шевелятся. Мэри Роз спокойно смотрит на них, чуть наклонив голову к плечу, словно раздумывает над задачей. Промахнулась, говорит она равнодушно. Промазала, дура.

Д.Э. и Джесси плачут, оба повторяют – что такое? что такое? – и хотя у Джесси голос громче и ниже, чем у Дебры Энн, он все равно звучит, как голос растерянного ребенка.

Дебра Энн! кричит Корина, встань, иди сюда немедленно.

Девочка встает, как сомнамбула, и бежит к ней, топая.

Мэри Роз выбрасывает стреляную гильзу и поднимает патрон из рассыпанных у неё под ногами. Она вставляет его в патронник, закрывает затвор и стоит неподвижно, смотрит. Следит за ним, ждет малейшего его движения. Она меткий стрелок, Корина знает. Второй раз не промахнется. И, словно угадав её мысли, Мэри Роз кричит ему: Второй раз не промахнусь.

Корина подходит к ней одновременно с Деброй Энн.

Он мой друг, говорит девочка. Я ему помогаю!

Он тебя обидел.

Нет. Дебра Энн хватается за бровь, вырывает волоски из неё и бросает на землю. Он мой друг.

Как ты? спрашивает Корина. Дебра Энн кивает в ответ. Что ты устроила, черт возьми?

Я ему помогаю уехать домой. Д.Э. проводит ладонью под носом и вытирает коричневую соплю о шорты. Ему нужна его машина, и я привезла его сюда.

Ох, детка, говорит Корина.

Я бы вернулась. Дебра Энн краснеет. Я не украла машину мистера Шепарда. Я знаю, вы её любите.

Она плачет. Никому дела нет до Джесси. И до меня.

Она права, понимает теперь Корина. Сколько же им обоим недодано. Слышится далекий гудок – то ли нефтеперегонного завода, то ли поезда за несколько миль отсюда. Ветер бросает им волосы на лицо, мешает слышать. Равнина иссохла, кактусы почернели и скукожились, сморщенные, серые стручки мескита где-то держатся на деревьях, где-то валяются кучками у стволов, а Джесси Белден лежит на земле и тихо скулит – маленькое испуганное существо, молодой человек, своими глазами видавший, что делает пуля с человеческим телом.

Ну-ка, встань, говорит ему Мэри Роз. Встань и подними руки.

Он вас не слышит, кричит Дебра Энн. Лицо у неё в пыли и в слезах, на щеке царапина. Он не слышит, голос у неё прерывается, это я виновата.

Встань, кричит Мэри Роз. Встань сейчас же!

Джесси встает на колени и, чуть покачиваясь, убирает руки за голову.

Мэри Роз, *остановитесь*, говорит Корина.

Я уже ошиблась однажды, сокрушенно говорит Мэри Роз.

Корина хватается за локоть и трясёт; ствол винтовки ходит из стороны в сторону. Мэри Роз, перестаньте. Это не тот человек.

Обеими руками она обхватывает Дебру Энн и подвигает к Мэри Роз, словно предлагая жертву. Смотрите. Она невредима. Видите?

Он нездоров, миссис Уайтхед, говорит девочка. Я за него отвечаю.

Я хочу домой, говорит Джесси женщинам. Я хочу к Надин.

Д.Э. бросается к нему, но Корина ловит её за руку и трясет. Иди в мою машину, ляг сзади и не смей смотреть в окно.

Да, тихо говорит Мэри Роз. Скажите ей, чтобы не смотрела.

Слов страшнее Корина в жизни не слышала, сейчас у неё одно желание: сесть в пыль, закрыть глаза и уснуть. Она мысленно видит Поттера, стоящего рядом с пикапом в поле, где-то недалеко отсюда. Он ушел из дома до зари – хотел еще раз увидеть восход. Если была возможность, он никогда не пропускал восход солнца. Они могли стоять на самом захламленном, самом вонючем углу нефтеносного участка, и Поттер смотрел, как раскаленная звезда выпрастывается за краем земли. Какой это оттенок красного? спрашивал он её. Небо – какого цвета? А облака? Новый роскошный день. Он улыбался. Что будем делать сегодня, миссис Шепард?

Корина не хочет хвататься за винтовку, опасаясь случайного выстрела, поэтому только протягивает руку и накрывает ладонью ладонь соседки. Что будем делать, Мэри Роз?

Слезы медленно прочерчивают след на запыленных щеках Мэри Роз, но она по-прежнему целится в Джесси Белдена, палец на спусковом крючке, предохранитель снят. Я хочу справедливости, будь он проклят.

Я понимаю, милая, но вы же не будете стрелять в невиновного.

Невиновного? повторяет Мэри Роз. Мы не знаем, что он сделал или сделает, но идиоту ясно, что ему сойдет это с рук.

Корина гладит большим пальцем ладонь, на которой лежит цевьё, потом медленно ведет палец вверх по её руке. Приклад крепко прижат к плечу Мэри Роз, рука её напряжена, как струна. Она дрожит от гнева.

Во гневе вспомни о милости, думает Кори́на. Мэри Роз, если убьете этого человека, вы никогда уже не будете прежней. И Дебра Энн тоже. И я.

Каждый день я жду, что раздастся звонок, и услышу в трубке его голос, говорит Мэри Роз. Каждую ночь жду, что кто-то вломится в дом и что-то сделает с детьми. Он *на воле*. Они его ни черта не наказали.

Я знаю. Но это не тот человек

Кори́на отдала бы всё на свете, чтобы быть с Поттером в то утро, когда он решил умереть. Не для того, чтобы остановить его – она знает, что ему предстояло, какая мучительная смерть, если бы они дали болезни идти своим ходом, – но она могла бы стоять с ним рядом и смотреть, как восходит солнце. Не бойся, сказала бы она ему. Я с тобой.

Спасибо, что терпел меня столько лет, сказала бы она, и мои дурацкие капризы. Поттер засмеялся бы и показал на птичку, суеющуюся в кустах. Видишь? Перепелиная семейка. Птенчиков видишь, их девять штук? Правда, мило, а, Кори́на?

Мило, да, теперь она понимает. Поттер понимал это до самого конца. Как она могла так не ценить мир? Как могла исключить себя из уравнения, удивляется она, – вечно смотреть искоса, столько ломать и отдавать так мало? Она будет горевать до последнего дня, но он наступит еще не скоро – для всех, кто сейчас здесь, если она справится.

Начало четвертого. Солнце и жара безжалостны, горячий ветер дует в лицо. Джесси Белден смиренно стоит на коленях, ладони на затылке, смотрит в землю – пленник, ожидавший этого всю жизнь. «Вот вернулся с войны домой. Столько лет, и стены, и двор родной». Откуда эти слова? Из какой песни, какого стихотворения, какого рассказа? Когда будет дома, постарается их найти. Если надо, перероет все полки с книгами. Дома, без Поттера, дома, с проклятым приبلудным котом, с ребенком-полусиротой, с молодой женщиной, чье лицо в серой пыли и слезах. На лице её ярость, и палец все еще на спусковом крючке. Дома – с этим молодым человеком, стоящим на коленях в пыли.

Кори́на держит Мэри Роз за плечо. Мы поедем в город, говорит она, и попросим Сюзанну еще немного побыть с детьми. Сядем у меня на дворе, выпьем чего-нибудь крепкого и всё обдумаем.

Что не так в этом проклятом месте? Голос Мэри Роз едва слышен. И почему всем наплевать на Глори Рамирес?

Не знаю.

Мэри Роз смотрит на замершего Джесси Белдена. Я хочу кого-нибудь убить.

Не его. Корина тихо смеется. Может быть, в другой раз. Она берется за ствол винтовки и отбирает её у Мэри Роз. Рука у неё дрожит от тяжести; она опускает винтовку на землю и отодвигает носком теннисной туфли. Мы с вами.

Не бойтесь, говорит Корина Джесси, Мэри Роз и Дебре Энн, прижавшей нос к стеклу в машине, – маленькой бледной свидетельнице, недоуменно наблюдающей за тем, как Мэри Роз подходит к Джесси и помогает ему встать. И просит у него прощения, говоря, как легко стать тем, что больше всего ненавидишь и боишься. Я этого не знала, говорит ему Мэри Роз, и жаль, что теперь пришлось узнать.

* * *

Они едут в Одессу медленно, Корина и Д.Э. впереди, в «Линкольне», за ними Джесси в пикапе Поттера и последней – Мэри Роз в белом седане, таком пыльном, что почти неотличим от этой серой земли. Завтра утром, говорит Корина Джесси, она отвезет его обратно, он заберет свой пикап, оставленный возле могил железнодорожников, и поедет домой в Теннесси. Там у вас сестра, верно? Да, тихо говорит он. И мама.

Они приезжают к дому Корины, Джесси ставит пикап позади её машины и сидит, глядя в ветровое стекло, пока она не приносит ему стакан с водой. Всё ещё держа руки на руле, он засыпает; но через несколько минут, когда она выглядывает в окно, кабина пуста, его нет. Она найдет его утром, отвезет обратно в Пенуэлл, даст ему денег, чтобы добрался домой.

Корина переводит Мэри Роз через улицу и передает Сюзанне. Та раз пять открывает и закрывает рот, но в итоге так ничего и не произносит. Корина знает: если сегодняшняя история выйдет наружу, Мэри Роз может очутиться в лечебнице, в Биг-Спрингсе.

Корина бредет домой, наливает горячую ванну для Дебры Энн, и девочка отмокает там почти час. На дне остаётся столько песка и грязи, что Корина удивляется вслух: когда же ты, девочка, мылась последний раз?

С мылом? спрашивает Дебра Энн.

Корина сидит на полу рядом с ванной комнатой, спиной прислонясь к двери и вытянув ноги. Всё болит: колени, зад, грудь, каждая несчастная мышца. Если еще что-нибудь у меня украдешь, говорит она девочке, полетишь у меня прямо к Сюзанне Ледбеттер. То-то будет рада до тебя добраться.

Больше не буду, говорит Д.Э. Можете потереть мне спину?

Нет, детка. Миссис Шепард хочет просто посидеть спокойно минутку.

Я не достаю, а там чешется.

Корина вздыхает и хочет встать, но спина противится. Она ложится на бок и лежит, тяжело дыша, но всё же встаёт, держась за стену, и входит в ванную. Д.Э. сидит в воде согнувшись; ссутуленные плечи и спина – все в блошиных укусах и корках. Там, где она могла достать, – длинные уродливые царапины. Везде запекшаяся кровь, воспаленная кожа. Корина берет махровую тряпочку, окунает в воду и, стоя на коленях, осторожно обтирает девочке спину. С нынешнего дня, говорит она, можешь приходить в любое время – только после десяти, – и я всегда открою тебе дверь. Девочка вздыхает и закрывает глаза. Как приятно.

А укусами сейчас займемся. Корина выжимает тряпку и кладет на бортик ванны. Приходи в любое время, мойся, смотри телевизор, а я хорошенько запасусь «Доктором Пеппером». В обмен прошу одно. Корина несколько секунд молчит и отодвигает мокрые волосы с глаз Дебры Энн. Никому не говорить, что миссис Уайтхед стреляла из ружья. Не надо нам, чтобы человек еще и за это страдал.

Д.Э. кивает и съезжает в воду, лежит на спине, воображая, что купается в озере; её каштановые волосы раскинулись по обе стороны от головы. Она никому не хочет причинять страдания.

По пятам за тучей пыли идут грозы. Будет лить три дня, канавы вдоль Лакспер-Лейн переполнятся, вода в канале за домом Корины поднимется за какой-нибудь час и унесёт всё, что не забрал с собой Джесси, – сковороду, одеяло, которое принесла Дебра Энн, когда он стал мёрзнуть, лекарство, когда заболел, и даже приятеля-кота, за несколько минут до наводнения гнавшегося в трубе за змейкой.

Проулок за домом Мэри Роз залит водой, вода просачивается под стенкой, потихоньку заливает задний двор, удлинитель, все еще подключенные к розеткам. Несколько дней она будет подходить к стеклянной раздвижной двери и задаваться вопросом: под током ли сейчас двор. Она обклеит дверь липкой лентой и будет внимательно следить за дочерью.

К тому времени, когда вода уйдет и всё просохнет, Джесси уже будет дома. Первое письмо от него придет в сентябре – одна страничка с надписью под обращением: *Продиктовано Надин*. Он опишет долгий утомительный путь до восточного Теннесси – всё равно, какой маршрут ты выберешь, южный или северный, оба противные, – и расскажет, как был счастлив, увидев маленький трейлер матери в Белден-Холлоу. Обещает писать каждый месяц и надеется, что Д.Э. будет так же ему отвечать.

Он будет удить рыбу на реке Клинч, искать работу у себя в городе, и когда деньги Корины закончатся, а работы не найдется, закинет свой вещевой мешок в кузов пикапа и поедет в Луизиану. Будет работать на нефтеприисках и нефтехимических заводах в Лейк-Чарльзе, в Батон-Руже, в Петролеум-Сити, потом поедет в Галф-Шорс ловить креветок на траулере. Оттуда – на стройку в Джексоне, потом работа в исправительном заведении в Диксоне, на ферме в северо-западной Флориде, потом в Новом Орлеане, где обнаружит, что по возрасту наконец-то пора отпустить бороду, чтобы грела в зимние месяцы. До старости не доживет – слишком тяжело работал, – но всякий раз, когда чужой человек отнесется к нему по-доброму, он вспомнит Дебру Энн и то, как заканчивал каждое письмо к ней, всё равно, длинное или короткое:

Спасибо, что ты была добра ко мне, когда я жил в твоём городе. Я никогда не забуду этого. С любовью, Джесси Белден.

Карла

Мы теряем мужчин, когда они хотят проскочить перед поездом, а их пикап глохнет на переезде, когда напиваются и нечаянно стреляют в себя или спьяну лезут на водонапорную башню и падают с высоты десятиэтажного дома. Во время клеймения, когда спотыкаются в проходе, и бычок с ревом бьет копытом в сердце. На рыбалке, когда тонут в озере или засыпают за рулем по дороге домой. В массовой аварии на федеральном шоссе, от пули возле мотеля «Дикси», из-за утечки сероводорода около Гардендейла. Похоже, что скончался от неизлечимой глупости, говорит Эвелина, когда кто-то из завсегдатаев делится новостью в часы скидок. Это обычные случаи в обычные дни, но сегодня первое сентября, и сланцевое месторождение Боун-Спрингс снова разрабатывают. Теперь будут умирать еще и от метедрина, кокаина, болеутоляющих. Из-за сорвавшейся буровой головки, плохо сложенного штабеля труб, из-за взрыва паровоздушного облака. А женщины – их как теряем? Обычно когда их убивает мужчина.

Эвелина любит рассказывать новеньким: весной 1962 года, когда было открыто месторождение газа около Уинка, одна из её официанток, закончив смену, свернула фартук и пошла с ним в бар, опрокинуть одну-другую с завсегдатаями. Когда Эвелина запирала на ночь, машина этой женщины была еще на стоянке и оставалась там почти неделю, пока не обнаружили труп. На заброшенном нефтяном участке – потому что, объясняет Эвелина, именно там всегда находят мертвых. Этот гад даже хотел её сжечь. К таким историям привыкнуть невозможно.

Эвелина мала ростом и худа, руки у неё жилистые, начес цвета спелой сливы. Новое месторождение газа будет больше, чем в Уинке, говорит она нам на еженедельном собрании. Заводите моторы, девочки. Приготовьтесь сорвать куш. Смотрите в оба – не прозевайте очередного серийного убийцу.

Семью пасешь в Мидленде, а отрываешься в Одессе.

* * *

Это семейное заведение. Украшения и косметику подбираем со вкусом. Мы носим блузки в красную клетку, в пандан к занавескам и скатертям. Юбки джинсовые, чуть над коленом. Сапоги коричневые с красной строчкой. Когда наклоняемся к столу, от нас пахнет мылом, сигаретами и духами. Кое-кто из нас уходит, но большинство остаются.

От тебя одно требуется: улыбайся, наставляем мы Карлу Сибли в первый день обучения. И сможешь хорошо зарабатывать, может, лучше всех в городе, причем не снимая блузки, ха-ха!

В обеденном салате две дольки помидора, объясняем мы ей. Заправка подается в формочке отдельно. У нас есть: ранчо, французская с голубым сыром и «Тысяча островов». Запоминай. Пиво подаём в холодных кружках, чай со льдом – в кувшине, жаркое из говядины и креветок – на нашем фирменном металлическом блюде в форме Техаса. Рукава не закатывай даже летом – обожжешься металлом, потом будут шрамы. Вот такие – поддёргиваем рукава. Видишь?

Отправляем её домой пораньше, чтобы не делиться чаевыми, но напоследок Эвелина подбадривает её. Карла, дорогая, нефтяной бум – это значит, что за вечер пятницы можно заработать месячную плату за жилье, на первый взнос за машину и кое-что еще отложить в банке. Можно внести залог, помочь кому-то из наших ребят избавиться от зависимости, выплатить за семестр в младшем колледже. Всё – на чаевые за неделю. Так что если посетитель хочет, чтоб мы улыбались, можешь позакладать правую сиську, что так и сделаем. Губки лодочкой, как резиновые. Зубки белые, как бумага, ямочки на щеках, как скобки.

После закрытия, когда столы отмыты, полы подметены и собраны приборы в таком количестве, что можно накормить всю армию США, мы выпиваем напоследок и по двое, по трое идем к своим машинам. Проверяем, не спустило ли у кого колесо, не разрядился ли аккумулятор. Мы готовы к неожиданностям: есть и провода для

запуска двигателя, и быстрый герметик для ремонта шин. В сумках у нас пистолеты и газовые баллончики. Эвелина, левша, носит в сумке маленький короткоствольный, а другой у нее в бардачке «Форда-Мустанга». За стойкой у неё старинная электропогонялка для скота – это для обычных осложнений, а на крайний случай – помповое ружье.

Два часа ночи, а на улице все еще тридцать два градуса. Недавний дождь прибил пыль, и сейчас облака, освещенные луной, светлы и пусты, как старые церкви. Движение, как всегда в эти часы, небольшое, но если Эвелина права насчет сланцев в Боун-Спрингсе или месторождения в Озоне, через несколько месяцев тут будут длиннющие пробки, и номера из всех частей страны, и проголодавшиеся мужчины с наличными в карманах. Ждем с нетерпением.

* * *

С понедельника по пятницу мать Карлы работает на заводе подшипников, но с удовольствием присматривает ночью за малышом. Новенькие первый месяц работают в обеденное время, когда наплыв, объясняет Карле Эвелина. Карла нанимает няньку для Дианы и берет четыре смены в неделю. В кладовой, где мы закусываем за складным столом, она прилепляет липкой лентой карточку к стене; на карточке её телефон и слова: я готова подменить в любой вечер и в выходные. Спасибо, Карла Сибли. Кто-то перечеркивает её фамилию и пишет: Дорогая. А под этим: Улыбайся! Потому что это ей трудно дается.

Дождаясь, когда кто-то не выйдет на смену по болезни, она пьет кофе ведрами, подсчитывает чаевые и старается запомнить, что надо улыбаться. Напоминает себе, что с последней работы её уволили – а место было славное, за баром в загородном клубе, – потому что не приглянулась постоянным посетителям. Корина Шепард не в счет, сказала ей начальство. Мужчинам кажется, что они вам неприятны. И в конце смены Карла собирает нетронутые столовые приборы и вытирает холодильник для льда, так чтобы видеть в нержавеющей стали если не отражение своего лица, то хотя бы неясные очертания темно-каштановых кудрей, широкого лба и темных кругов под глазами

— от потеков туши и от того, что ребенок до сих пор не может проспать ночь спокойно.

Торговые представители нефтяных компаний приходят на ланч, благоухая так, словно только что вышли из парфюмерного отдела универмага «Диллардс». На них рубашки поло и брюки защитного цвета. Если ехали из Хьюстона, то останавливались в Сан-Анжело: купить сапожки из страусиной или аллигаторовой кожи. Если ехали из Далласа, то заезжали за обувью к Джеймсу Ледди или в «Ласкиз». Все носят стетсоны, и у всех чековая книжка в кармане рубашки.

У них картонные тубы с топографическими картами, и после ланча они разворачивают их на столе. Новые месторождения здесь, здесь и здесь — они показывают на пастбища и на территории, в прошлом годившиеся для выпаса, — три миллиарда баррелей нефти и столько природного газа, что можно дважды сжечь всю землю. Инфраструктура готова, говорят они частным нефтедобытчикам и обедневшим скотоводам, — или почти готова. Они говорят о праве ограниченного пользования землей, об ограждении пастбищ, о прудах для сточных вод, о скважинах, о непредвиденных разливах нефти. Они говорят о недавно обнаруженных сланцах в бассейне Делавэра, о месторождении газа поблизости от ранчо «Боуман». Они продают и покупают воду и обещают запирасть за собой ворота, чтобы коровы не выходили на шоссе. Они кивают и обещают напоминать работникам, что хороший бык стоит трехмесячного жалования. Когда заключают сделку, они вынимают чековые книжки, поднимают палец, и Карла несет всем по стакану.

Она платит няне и помогает матери платить по закладной. Открывает сберегательный счет для Дианы. В свободный день едет посмотреть «Бьюик Скайларк» 1965 года, объявление о котором прочла в «Американ». Гаражи расположены сразу за границей города, шесть ангаров из гофрированного металла, через поле от них церковь Евангелия Жизни на Полноводной реке, название обманчивое, потому что ближайшая река — Пекос обычно выглядит так, как будто население округа собралось там и всё одновременно в неё покакало. Женщина объясняет Карле, что это машина её матери и стоит тут с кризиса 1972 года. Не очень приёмыстая, но восемь цилиндров и всего 5000 миль пробега. Двести долларов наличными, и она ваша.

Карла садится на водительское место – покои золотого мятого бархата, все еще пахнувшие табаком старой дамы, детской присыпкой и жевательной резинкой. Заднее сиденье такое просторное, что хоть палатку ставь, и Карла уже представляет себе, как там прыгает Диана, когда они едут по шоссе к новой жизни. Женщина дает ей ключи, один – зажигания и от водительской двери, второй от бардачка, третий от багажника. Карла включает зажигание, мотор бурчит и умолкает. Она поворачивает ключ еще раз. Мотор взрывается, урчит и трясёт её – от зада до ступни на педали газа. Ах, черт, да, думает она. За сто пятьдесят отдадите? спрашивает хозяйку машины.

* * *

Почему Бог дал нефть Техасу?
Чтобы загладить то, что Он сделал с этой землей.

* * *

Вечера – это деньги, говорим мы Карле, когда она впервые заступает на вечернюю смену. После девяти это в большинстве мужчины с набитыми бумажниками и еще мокрыми после горячего душа волосами. Карла, дорогая, говорим мы ей, они могут стоять под горячей водой, пока кожа не слезет, и все равно будут пахнуть, как старый бздёх в запертой комнате.

Мы объясняем ей, какие мужчины ничего не имеют в виду, когда отпускают шуточки, берут тишком за талию, зовут замуж, – а какие кое-что имеют. Слушай их дурацкие байки, говорим мы о первых. Смейся их дурацким шуткам. А насчет вторых предупреждаем: никогда не оставайся с ними наедине. Не говори им, где живешь. Вон того остерегайся – показываем на Дейла Стрикленда, который сидит у конца стойки и напивается в одиночку, – извращенец, на брюнеток западает. Приготовьтесь, девочки, говорит Эвелина. Дела закрутятся со дня на день.

Карла говорит нам, что папа Дианы моряк, служит сейчас в Германии, но пока заворачиваем серебро в салфетки, выдумка её

быстренько обнаруживается. Да неважно, кто он был, говорит она, какой-то из Мидленда.

А что важно? Диана уснула сегодня, и Карла успела принять горячий душ перед сменой. Показывает полароидный снимок, сделанный этим утром. У Карлы волосы с рыжиной и светло-карие глаза. Нос обсыпан веснушками, круглые щеки сохранили еще что-то детское. Черная майка не прячет веснушки на плечах. Дочка, с головы до ножек в розовом, смотрит большими глазами в объектив, прижавшись щечкой к материнской щеке. Сегодня ей исполнилось четыре месяца, говорит нам Карла. А имя у нее, как у богини. Красивая, говорим мы Карле, и до чего похожа на тебя.

* * *

Гинекологическая клиника в Санта-Терезе находится в трехстах милях к северу, прямо за границей штата, в Лас-Крусес, а тогда машина у Карлы была общая с матерью. На ней она и думала поехать, но если доберется туда, то надо будет задержаться на ночь – и как она объяснит это матери? А если остановят в каком-нибудь из городков между Одессой и Эль-Пасо? Она слышала рассказы о тамошних шерифах – что они догадываются, куда наладилась девушка, увидев её на магистрали, одну, за рулем, заставляют ехать за собой в участок и ждать там, пока они звонят отцу. Финиш.

На восьмой неделе Карла поехала в магазин органических продуктов и купила настойки коры корня хлопчатника и клопогона у женщины с пушистыми волосами и в свободном синем платье, таком ярком, что его надо было бы продавать с предупреждением о возможности судорожного припадка. Разведите в горячей воде и пейте помногу, сказала женщина. *Галлонами*. Будете писать каждые десять минут. Когда закончатся, приезжайте и купите еще.

Карла допилась до того, что сгибалась пополам от колик. Чай отдавал землей и плесенью; когда её рвало и несло, мать прыскала в туалете лизолом и спрашивала, какой дрянью она объелась. Она ходила на музыкальные репетиции и написала сочинение о «Поэме о старом моряке». На физкультуре, когда играли в вышибалы, она стояла неподвижно, опустив руки, мячи попадали ей в живот, и тренер

Уилкин кричал ей: – Что ты застыла, черт возьми? В раздевалке, в душе, смотрела на пол. «Вода, вода, кругом вода, а пить – ни капли нет»^[28]. И ни капли крови нигде, думала она. В школьном туалете она рассматривала клочки туалетной бумаги и низ трусиков. Но беременность не прерывалась, не прерывалась. Моя матка – нарисованный корабль^[29], думала Карла, а я жду пассата. Десять недель, пятнадцать... а потом стало двадцать, и притворяться перед собой уже поздно.

Женщина в органическом магазине сказала, что её зовут Элисон, и спрашивает, кормит ли Карла грудью. Карла объясняет, что акушерки не советовали, раз ей надо поскорее устроиться на работу. Элисон дает ей пяток косяков и велит воздерживаться от спиртного и метедрина. Уже осень, и свободное длинное платье Элисон – цвета степного пожара и виски. Для матери-одиночки самые лучшие наркотики – кофе и травка, говорит она Карле. Не попадайся с ней полицейским. Ни с кем не делись. Никому не говори, даже своему парню – ему особенно. Причиндалы не покупай. Сворачивай сама и прячь в коробку с сигаретами, ни в коем случае не в пластиковый пакетик.

Всё у тебя будет путем, говорит Элисон. Только не думай, что приняла уже все главные решения в жизни.

Любит ли Карла ребенка? Да, ужасно. У Дианы красивое, сильное имя и улыбка, способная растопить сердце дьявола. Днем, когда они одни, Карла не хочет спускать её с рук ни на минуту. Но материнство научило её многому. Что без сна можно обходиться гораздо дольше, чем она могла подумать. Что вдруг начинает думать вслух после девятичасовой смены; стоит только по дороге домой сделать короткий крюк по пустыне и несколько минут поглядеть на звезды. Что можно любить кого-то всем сердцем и при этом жалеть, что он есть.

Жаль, мы не знали тебя тогда, говорит кто-то из нас. Одолжили бы тебе денег при нужде. Кто-нибудь из нас отвез бы тебя в Нью-Мексико. Ничего бы не сказали всяким воинам молитвы.

* * *

Как называется мать-одиночка, которой надо вставать рано утром?
Десятиклассницей.

Приехав с работы домой, миссис Сибли переодевается в тренировочный костюм, держит внучку между колен и смотрит в её большие голубые глаза. Ну что, мисс Диана, займемся? Она кормит, купает и качает внучку, сажает на колени, чтобы вместе смотреть Орала Робертса^[30].

Миссис Сибли хранит обрывки серого мундира, принадлежавшего прапрапрадеду её мужа, – они в рамке, висят в прихожей рядом с дагеротипом владельца, – и сосновый сундук с картинами старой семейной плантации, и она, хоть убей, не может понять, как её родня всего за несколько поколений переместилась оттуда сюда и застряла в западном Техасе, где только успевай проморгаться от пыли да сохранить кровлю над головой, пока мексиканцы и феминистки завладевают миром.

Придя со смены, Карла стоит позади матери и дочери и смотрит, как голубой свет телевизора мелькает на лицах обеих спящих. Пора в кроватку, говорит она и переносит Диану в колыбель. Карла любит маму, но боится, что страх и ненависть миссис Сибли в конце концов сведут её в могилу. Что будет с матерью, когда она с Дианой уедет? Подоткнув одеяло на дочери и матери, Карла выходит на задний двор, закуривает косяк и пытается вообразить другую жизнь для себя, такую, где она проявляет чуть больше упорства, чтобы попасть в ту клинику в Санта-Терезе.

Сегодня ночью жгут попутный газ на нефтезаводе. Небо бледное, можно звезды перечесать. Если закрыть глаза, Карла может представить себе родной город через пятнадцать лет, или через пятьдесят, через сто, когда выкачают из земли всё что можно. Легко вообразить, что вся буровая техника исчезла, вышки и качалки погружены на автоплатформы и увезены в другую пустыню или на другое побережье. Город видится ей без церквей и баров, без школьного спортивного поля, без стадиона на восточной окраине, без торговцев автомобилями, сказавших во время последнего спада, что уходят навсегда – или до следующего бума. Без больницы, где родились все, кого она знает, и все умрут, быстро, если повезет.

Пусть все говорят в этом году о сланцах в Боун-Спрингсе и бассейне реки Делавэр, но когда цены на нефть упадут, парковки опустеют и поселки рабочих будут брошены – только ржавеющие банки из-под пива, да разбитые окна, да змеи под кроватями. Но тут, в городе, на окнах маленьких кирпичных домов и деревянных домиков, приходящих в упадок, еще будут висеть шторы, или занавески, или старые футболки. На дворах – опрокинутые трехколесные велосипеды, бутылки из-под «Доктора Пеппера», выцветшие игрушки, кеды без шнурков, стираное белье на веревках и подоконники, припорошенные песком. И где-то будет женщина, не пожелавшая сдаться. Каждый вечер, перед ужином, она сметает песок с кухонного стола. Каждое утро подметает крыльцо. Метёт и метёт, но пыль опять собирается.

Вы можете уехать, говорит миссис Сибли дочери, но если уедете, я не смогу вам помогать.

* * *

Как дойти от Мидленда до Одессы?

Шагай на запад и когда ступишь в говно – ты пришел.

* * *

Дейл Стрикленд уже сильно пьян, когда расплачивается по счету и встает из-за стола, где просидел почти три часа. Смотрим, как он идет в уборную, слышим, что он говорит, остановившись перед Карлой. Эй, валентинка. У тебя такой вид, как будто потеряла друга.

Одна из нас направляется к ней, сказать, что заказ для неё уже ждет на кухне. Мы тысячу раз выручали так наших девушек – некоторых уже лет тридцать. Улыбнись, говорит он ей. Чего не улыбаешься? Кусок угля застрял в жопе?

Карла наклоняется к его уху, видим, что шевелит губами. Мы никогда не узнаем, что она говорит, но Стрикленд замахивается, хочет ударить её по лицу. Бьет мимо и чуть не падает. Снова замахивается, и Эвелина кричит, чтобы кто-нибудь из мужчин вывел его к черту. Карла

стоит рядом со стойкой менеджера, раскрыв рот, как будто за все её семнадцать лет никто не пробовал её ударить.

Как вы думаете, чем это кончится? Правосудием Старого Запада? Мужчины выведут Стрикленда на стоянку и избьют так, что он носа сюда больше не сунет? Ну, прямо. Ну, вытолкают. Мы знаем, как это бывает: посмеемся, скажем, хорошо, что спьяну кулаком попасть не мог, а Эвелина не будет пускать его недели две – или пока он не извинится перед Карлой.

Никому не нужно устраивать из этого историю, говорит Эвелина. Разжигать страсти. Не дай бог разгорятся, и мужчины полезут за пистолетами, а нам не нужно, чтобы тут лезли за пистолетами. Конечно, мы все с ней согласны. Но когда Эвелина уходит к себе в кабинет и закрывает дверь, мы говорим: как приятно, наверное, Дейлу Стрикленду и таким, как он, жить с сознанием, что всё в итоге сложится для них хорошо.

А Карле, которая никак не научится улыбаться, мы говорим: это хлеб наш и масло. Нам не до этой ерунды. Но между собой обещаем, что она его больше не будет обслуживать, даже придется уступить ей выгодный столик в нашей секции, а Эвелина подсовывает ей чуть больше денег и дает несколько дней отгула, как у неё принято в таких ситуациях.

Когда расходимся по машинам, дождь уже льёт вовсю. Всю ночь громадные полотнища воды метут землю, отмывая запах нефти. Выпало дождя почти три дюйма, и с восходом солнца гроза уходит из города. Дождь перестал, мы вздыхаем с облегчением. Проверяем, целы ли окна, не повалило ли где электрические столбы. Защебетали, запели птицы, мы выходим из дома и смотрим – перед нами голубое небо.

* * *

Сколько нужно времени двум мексиканцам-нефтяникам, чтобы в людный вечер пятницы сесть за стол у Эвелины в ресторане?

Это не шутка. Эвелина подходит с двумя меню, с приветливой улыбкой и оранжевым оттенком в волосах, сияющих, как посадочные огни на аэродроме. Эй, ребята, документы выправили? – спрашивает сидящий у стойки, и Эвелина бросает на него строгий взгляд.

Собирайте-ка скорей вещички, продолжает он, и кто-то из нас смеется, кто-то смотрит в потолок, некоторые – в пол, но никто не произносит ни слова.

Наши прадеды поднимали людей с постели огнем и бичом, детей стаскивали с кровати за ноги и заставляли смотреть, как тащат их маму за волосы в поле. Кое-кто из наших отцов и братьев все еще держит под передним сиденьем кнут. Наши прабабушки изображали немощность, да так, что она вращалась в сердце. Некоторые из нас и сейчас так делают. Чтобы возразить открыто, требуется храбрость, а мы на такое не замахиваемся.

Грешны мы? Грешны дальше некуда. Если остановиться и подумать хорошенько – а мы этого избегаем, – грехи наши станут ясны и тяжки, как солнце в августе. Ну-ка, сядь в баре да хорошенько огляди всех нас, нераскаянных грешников – мошенников, лгунов и фантазеров, расистов, аферистов, убийц – и знай, что есть еще время каждому из нас спастись, честное слово. Но до тех пор – упаси тебя бог повстречаться с одним из нас на узкой дорожке.

Слушай, Эвелина, – говорит один из завсегдатаев, когда она усадит двух голодных смущенных мужчин за самый дальний от бара столик, – знаешь анекдот? Почему Иисус не родился в западном Техасе? Потому что не нашлось там трех волхвов и девственницы.

* * *

Сегодня ночью факелы над несколькими новыми буровыми площадками затмевают звезды, но Карла-дорогая стоит в пустыне и смотрит, как полная луна равноденствия восходит за градирнями нефтехимического завода. Лицо её обращено к звездам – мать говорила, что прежде их было больше, – потому что, кроме них, не на что особенно смотреть, потому что, когда в небо смотришь, это может значить, что ты жив и еще не умер. Зимой лед и снег с дождем, весной – торнадо, летом – пожары на заводе. Но небо не покажет тебе ни утечку газа, ни протечку химикалий на водоносный горизонт, ни как уберечься от молодого человека, две недели назад вышедшего из тюрьмы и ищущего, на ком бы отыграться.

Рассказывают: после того, как мужчины с ним закончили, на прощание пнув в почку, потому что удобно лежал, Дейл Стрикленд посидел на гравии, а потом поплелся к своему пикапу и уехал. А Карла подумала: пронесло. Люди думают, что на нефтяных участках сплошь змеи и скорпионы, но ни черта – это самое безобидное, что есть в округе. По крайней мере, гремучая змея даст о себе знать, когда подползает.

Почему она ему не улыбнулась? Может быть, потому, что Диана до сих пор не дает спокойно проспать ночь и Карла выжата, как тряпка. Может быть, потому, что ей семнадцать лет и она уже мать, сегодня и навсегда. Или, может быть, просто потому, что ни черта не хотелось улыбаться. И что Карла делала ночью на голом поле одна, зная, что молодой женщине там не место? Она смотрела на звезды, курила косяк, оттягивала возвращение домой после девяти часов стараний улыбнуться, таких, что сводит челюсти.

* * *

В чем разница между ведром говна и Одессой?
В ведре.

* * *

Был разукрашен, как ёлка в Рождество, говорит шериф, пришедший под вечер в ресторан, чтобы расспросить нас. Тот, кто его сбил, не поленился наехать еще раз – первый раз передним бампером, второй раз задним. И забрал его бумажник. Не представляете, как это могло случиться?

Эвелина смотрит из-за столика, где составляет расписание на будущую неделю. Может быть, вылез из машины пописать, потерял её в темноте, бродил... а другой водитель, – она пожимает плечами, – поздно его заметил. Может, взял кого-то подвезти и поспорили, кому сколько платить за бензин. Может, его вытолкнули. Может, встретил наконец кого-то злее себя, или тому было что терять. – Она опять пожимает плечами. – Всякое случается.

В общем, ему досталось, говорит нам шериф. Он всю ночь бродил по нефтяному участку и потом почти весь день. Когда мы его нашли, он с головы до ног был в рыжей глине и в клещах. Скорпионы добрались до его лодыжек, на голове шишка с бейсбольный мяч и обе руки сломаны. Врач сказал, это чудо, что он жив.

Ужас. Эвелина берёт шерифа под руку и ведёт к столу. Никому почти такого бы не пожелала.

У вас тут с ним никакого скандала не было? – Шериф оглядывает нас. Мы качаем головами. И вспоминаем рыжую глину на бамперах машины Карлы, свежую вмятину на левой двери и её упругую походку. И рады, что сегодня у неё отгул.

Вечно здесь безобразия. Эвелина даёт ему меню. Наверное, не первый раз на него наехали и, может, не последний. Трудно видеть в таком дитя Божие, – она смеется, – да и в любой из нас, если на то пошло.

А сам он ничего не помнит, говорит шериф. Вот как его угораздило.

Может, оно и к лучшему, говорит Эвелина. Нет худа без добра.

Шериф уходит, и она затворяется в своем кабинете. После закрытия она садится с нами, пьет один «манхэттен» за другим и под конец решает ночевать на койке у себя в кабинете. Девочки, говорит она нам, старовата я стала для всей этой дребедени. Когда мы одеваемся и уходим к своим машинам, она стоит в дверях и смотрит нам вслед.

* * *

Что делает девушка в Одессе, проснувшись с утра?
Находит свои туфли и идет домой.

* * *

Вечерами наблюдаем, как Карла раскладывает деньги на стопки: одна на обучение, одна для малышки Дианы, одна для матери. Когда приходит по почте диплом альтернативной школы, мы празднуем

после закрытия – разрешаем и ей бокал вина. Карла говорит, что в ноябре ей исполняется восемнадцать и они с Дианой уедут в Сан-Антонио. Может быть, возьмёт несколько курсов в одном из тамошних колледжей.

А там их не один? спрашиваем мы. Как это?

Не считая люстры над столом и полосы света под дверью Эвелининого кабинета, в ресторане темно. Мы закончили уборку, подсчитали финансы и теперь сидим в большом отсеке. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? спрашиваем Карлу. Медсестрой? Учительницей? Библиотекарем? Философом? Ха-ха! Она говорит, что хочет заниматься чем-то красивым и честным, что откроет людям правду. Ага, фантазерка, думаем мы.

Я смогу, говорит она, у меня есть способности.

А почему бы нет, думаем мы. Ведь умненькая девочка.

Вот немного денег, говорим мы в последний её день на работе. Триста долларов и мешок с вещами, из которых наши дети давно выросли. Обнимаемся, целуем – и вот еще маленький пистолет, носи в сумке. Всегда с собой носи. Он, может, никогда не понадобится – скорее всего, так, но если понадобится, стреляй, чтобы насмерть.

Счастливо, Карла, дорогая. Ясно как божий день, что ты воровка и без двух минут убийца, но мы всей душой за тебя. Будем скучать по тебе. В машине посмотри в зеркальце. Смотри, как мы становимся все меньше и меньше и совсем исчезаем.

* * *

Почему девочки в Одессе не играют в прятки?

Потому что никто не станет их искать.

* * *

Такое место. Плоская земля, плоское небо. Сколько нужно лет, чтобы буровая вышка проржавела в таком безводном месте? Как описать дорогу домой? Бурая лента с асфальтовой каймой, сшитая нитью ярости? Ветер шевелит её волосы, за нефтяным участком

восходит луна на ущербе, Карла стоит на заднем дворе материнского дома, слушает, не подаст ли голос ребенок. Вчера ей исполнилось восемнадцать лет. Сегодня вечером их сумки сложены в багажник машины, которую Карла любит уже, как любила бы старушку бабушку. Когда они вернутся в Одессу, Диана будет почти на голову выше матери. Они пройдут по городу из конца в конец, и никто не будет знать, кто они такие.

Глори

Иногда она просыпается с ножом в руке, палец уже на кнопке, – и Виктор, когда будит её, предпочитает стоять в другом конце комнаты. М'ija^[31], говорит он, чтобы не называть именем, которое она ненавидит. Просыпайся. Иногда он называет её именами любимых птиц – воробьем, простой серой птичкой, строящей гнезда где угодно, даже под качалками, у железной дороги, кукушкой, которая вообще не строит гнезд, а подкладывает яйца в гнезда других птиц. А сама кукует, кукует весной и летом. И ты бы так пела, говорит племяннице Виктор, – если бы нашла кого-нибудь, чтобы за тебя работал. Сегодня днем Глори дремлет под легким одеяльцем матери, дышит легко и мерно, и он зовет её «чибис», птичкой, которая любит петь свое имя: «чи вы, чи вы».

Пора в дорогу – голос его тише обычного. Пора убираться к чертям из Доджа^[32].

Они запланировали отъезд еще в середине августа, когда Виктор вернулся из суда и постучал в её дверь. Шляпу он держал двумя руками, воротник его лучшей белой рубашки был мокрым от пота. Перед судом он подстриг свои пышные усы и побрил голову. Он так долго отмывал руки, что кожа на ногтях стала отставать и кровоточить. Под глазами у него были темные круги, и когда он вошел в комнату Глори и положил шляпу на туалетный столик, руки у него дрожали.

Он заплатил? хотела знать она. Он заплатил за то, что сделал?

Виктор услышал, как человек в соседней комнате спустил воду в туалете и включил душ. Да, солгал он. Дейл Стрикленд будет платить за это каждый день, всю оставшуюся жизнь.

Сейчас начало сентября, Виктор вернулся после встречи с районным прокурором, и Глори снова спрашивает его, поплатится ли Дейл Стрикленд за то, что сделал. Виктор похлопывает по брючному карману, где лежат перевязанные резинкой пять тысяч долларов, в большинстве купюрами с Бенджамином Франклином^[33]. Это её деньги, о чем она еще не знает. Когда приедут в Пуэрто-Анхель, он отдаст их Альме. Вот, скажет он сестре, это на квартиру получше, на

кое-какую мебель и на школу для Глори. Он отводит взгляд от свернувшейся калачиком фигурки под одеялом и смотрит на полосу солнечного света, пробившегося сквозь щель в занавесках шириной в палец. Он оставит племянницу в заблуждении, будто Стрикленд сидит в тюрьме в Форт-Уэрте и просидит до тех лет, когда из него посыплется песок. За ворота его вывезут в каталке, говорит Виктор, с новыми пластмассовыми зубами и мешком запасных подгузников.

Надеюсь, он там и умрет, говорит она и поглубже зарывается в постель. В этом году жара отпустила рано, но Глори еще включает кондиционер во второй половине дня, после бассейна – всего минут на десять-пятнадцать, только чтобы прогнать спёртый воздух. Недавние грозы прибили пыль, дождей выпало рекордное количество. На улице, где раньше жила Глори с матерью, затопило лощину Маскингем-Дро. Дети плавали на автомобильных камерах из конца в конец города, а когда вода спала и открылись бизоньи лужи, полные ила и мокасиновых змей, повытаскивали свои камеры на сушу. За городом вода ушла в овраги и лощины. Сегодня, когда поедem по пустыне, говорит Виктор, смотри внимательнее – увидишь цветы, каких никогда не видела: лютики, паслён, белоснежные цветки кактуса.

Когда она была маленькой, лет четырех или пяти, ночью над Одессой пронеслась снежная буря. На рассвете Альма разбудила дочь, и они вышли посмотреть на кристаллики льда, покрывшие землю, тротуары и окна автомобилей. Обе впервые видели снег и стояли перед домом, разинув рты. Когда над крышами поднялось солнце, лед заблестел, заискрился. Пусть останется, просила Глори маму, но к полудню снег превратился в рыжую грязь и мокрую траву, и Глори упрекала Альму – словно мать могла запретить солнцу подняться и греть, если бы постаралась.

Глори встает с кровати и собирает вещи. Надеюсь, ему там плохо, говорит она дяде. Он кивает и обнимает пальцами пачку в кармане. Пользуйся, ленивый мексиканец, сказал Скутер Клеменс, злой, что Стрикленд не явился выполнить свою часть противной работы. Он шлепнул пачку денег на стол Кита Тейлора, а Кит, нахмурясь, смотрел в окно и молчал. Когда все подписали соглашение, Виктор встал, держа шляпу обеими руками, и представил себе, как его толстые пальцы сжимают горло этого человека. Но из всего, что понял Виктор на войне, – что дожить до завтрашнего дня это почти всегда дело

дурацкого случая, что людям, которые знают, что могут погибнуть в любую минуту, плевать, кто стопроцентный, а кто мексиканец, и что героизм – дело часто маленькое и случайное, но колоссально важное, – а самый главный урок был вот какой: ничто не приносит таких страданий, как месть. И у Виктора нет позыва к ней – при том, что он единственный знает, как страдает племянница.

Он берет пустой чемодан и кладет на кровать. Ласточка, говорит он снова, подлец будет расплачиваться за это каждый день, до самой смерти. Поверь мне.

Может быть, и правда, заплатит, не так, так эдак, – но его и Глори это никак не касается. Полицейские и адвокаты, учителя и церкви, судьи и присяжные, люди, вырастившие этого парня и отправившие в мир, в этот город, – виновны все до одного.

Они грузят свои чемоданы и коробки в кузов «El Tiburón'a», накрывают брезентом и прижимают брезент кирпичами. В начале пятого они приходят в контору мотеля; дежурный подсчитывает выручку. Отдают ключи от своих комнат – сначала молодой человек, потом девушка, которая спускалась сюда каждый день около полудня, всегда в одной и той же майке с «Лед Зеппелин», с полотенцем в одной руке и бутылкой «Доктора Пеппера» в другой, а последнее время – еще и с кассетником на ремешке через плечо. Часа через два парень пожалеет, что не оторвался на минуту от своих подсчетов, не поблагодарил за то, что всегда платили вовремя, не пожелал счастливого пути.

* * *

Виктор разворачивает на руле дорожную карту шириной в два фута и длиной в три. Складывает её пополам, затем вчетверо и еще раз, чтобы удобно поместилась у Глори в руках. Показывает на нижний край и ведёт указательным пальцем вдоль границы между двумя странами – голубой линии, которая изгибается всё затейливее по мере приближения к заливу. Виктор замечал, что с каждым новым выпуском карты линия эта становится всё тоньше, река сужается из-за отбора воды и землечерпалок. Лет сто назад пожилые дамы сидели на верандах в нескольких шагах от берега, смотрели на пароходы,

возившие пассажиров к заливу и обратно, и музыка – джаз, техано или кантри – еще долго разносилась над водой после того, как они прошли.

Виктор говорит племяннице, что в двух часах езды от Ларедо, в Лос-Эбаносе, паромная переправа. Паром может перевезти зараз человек десять и две машины. Виктор водит пальцем по местным шоссе и проселкам – обозначенные черными линиями, они тянутся по пустыне, через горы Чизос, прерываются у водохранилища Амистад и вновь возникают на другом берегу, чтобы протянуться еще на шесть сотен миль, пересекая туда и сюда границу. Виктор забирает у племянницы карту, переворачивает и показывает на изрезанный участок суши, обнимающий воду. А потом мы едем в Оахаку и Пуэрто-Анхель, говорит он. Полторы тысячи миль, и дороги такие тряские, что *nalgas*^[34] у тебя будут неделю болеть. Он взглянул на часы и смотрит на запад. Ему не хотелось бы ехать по этой части западного Техаса ночью, когда в машине Глори. Если поторопимся, успеем в Дель-Рио до темноты, говорит он.

* * *

Где-то между Озоной и Комстоком на двухполосной дороге, такой пустынной, что за час им не встретилось ни одной машины, их грузовичок начинает запинаться, когда Виктор прибавляет газу. Виктор ругается, жмёт на педаль, мотор кашляет, как старик, но еще пятьдесят миль они проезжают. Солнце уже над горизонтом. Виктор бормочет что-то о засорившемся топливном фильтре и уже присматривает расширение на обочине, чтобы остановить машину. Глори в полудреме прислонилась головой к теплomu стеклу и пробует представить себе, как выглядит город, где родилась мать, сильно ли он отличается от старых фотографий, хранящихся у Альмы в коробке из-под сигар. Волосы у неё отросли и по длине уже могут сойти за стрижку, шея сейчас блестит от пота, а ночью должно резко похолодать.

Дядя, ворча, возится под капотом «Эль-Тибурона». Глори выходит из машины и стоит на цыпочках, пока не потеряет равновесия. Очень хочется закурить, но Виктор говорит, что девушке её лет курить рано. Она подходит к кузову и опускает задний борт. Достает из кармана пачку жевательной резинки и кладет в рот три штуки. Садится в кузов,

теплый металл греет ей икры. Под лифчиком и под поясом мокро от пота, и она сильно трёт глаза. *Pedazo de mierda!* – говорит машине Виктор. – Кусок дерьма! Никогда не быть тебе классикой.

В пяти шагах от них, на гравии обочины лежит раздавленный броненосец. Над ним лениво кружат два грифа. Когда поднимается ветерок и чуть шевелит волосы у неё на затылке, Глори замечает, что он относит запах мертвого животного. Она поднимает лицо к голубому небу и глубоко вздыхает.

За ухом у Виктора отвертка; черт, бормочет он. Он пробует пережать шланг пассатижами, но когда снимает его, пары бензина бросаются ему в нос, и он отступает от мотора, кашляя и отплевываясь. Ты сиди, Глори, хрипит он, мы её починим. Еще несколько минут он копается в моторе, потом убирает голову из-под капота. Притащи мне палку фута четыре длиной и такой толщины – он показывает мизинец, – я прочищу бензопровод, где засор.

Глори влезает в кузов и стоит лицом к пустому пространству, окружающему их со всех сторон. После Озоны они не видели ни одной качалки, и не видно здесь, куда ни глянь, ни одного здания, даже маленького фермерского дома. Единственный признак того, что здесь бывали люди, – забор из колючей проволоки, который тянется вдоль шоссе, сколько хватает глаз, и раскрытые ворота в сотне шагов от них. Нет, это не здесь, говорит она себе, когда сердце начинает колотиться под ребрами. Там, на нефтяном участке, земля была гладкая, как стол. Здесь – каменистая, местами неровная, местами плоская, лысая, рыжая. Редко где кактусы – «техасские бочонки» с крохотными цветками, «рыболовные крючки», «кружевные спинки». На обочине пижма в два пальца вышиной пробилась из трещины в кальците, словно радостный звук среди бурой безжизненности, и, как и обещал Виктор, на клочке земли – паслён с желтыми цветками и жесткими темно-зелеными листьями. Через несколько месяцев растение увянет, мелкосидящие корни отсохнут, ветер сорвёт его с места и погонит, покатит по земле, мертвый и неприкаянный клубок стеблей и листьев – перекаати-поле. Нет, это другое место, вслух говорит Глори, когда черные тонкие волоски на руках встают дыбом. Он сидит в Форт-Уэрте.

Обочина узкая, и Глори поглядывает, не едет ли машина, не ползет ли змея, и где тут, к черту, найти палку. Дойдя до открытых ворот, до

решетки над ямой, она останавливается и смотрит. На металлической решетке тонкий слой свежей пыли, посредине стоит рогатая ящерица и смотрит на процессию огненных муравьев. Поодаль на колючей проволоке сидит пересмешник и поет сложную песню, какие ноты краденые, какие свои – не поймешь. Потихоньку холодает, но у Глори всё ещё течет пот между лопатками; она становится на середину решетки и смотрит вниз, немного опасаясь, что кто-то высунется снизу и ужалит или прокусит ей ногу.

После бури по пустыне разлилась вода и заполнила овраг так внезапно, что застигла врасплох семью синей перепелки, но так же быстро схлынула, и вокруг только мусор, ржавеющие банки из-под пива и стреляные гильзы дробовиков. Ноги влажные в плотной джинсовой ткани. Подошвы теннисных туфель так тонки, что их легко проколет колючка изгороди, иголка кактуса. Носки едва прикрывают свежие шрамы, исполозовавшие лодыжки и ступни. Она стоит на середине грунтовой дороги, слушает ровный стрекот цикад, смотрит, как два перекасти-поля бесцельно катятся по равнине. Ни черта тут нет хорошего, думает она, и в горле вскипает тихое клокотание – злость на дядю за то, что завез её сюда. Когда из-за куста появляется кукушка-подорожник и перебегает перед ней дорогу, Глори лезет в карман и сжимает в руке нож, с которым теперь не расстанется.

Шагах в двадцати от неё выстроились, как на смотре, мёртвые и полузасохшие мескиты. Она знает, что ветки отламываются легко, и быстро идет туда, злость подгоняет её, словно теплая рука толкает в спину: *Иди*. Когда даст Виктору палку, скажет ему: к черту, хочу в Одессу. Он вернется на работу, а она будет лежать у бассейна, смотреть, как темнеют шрамы – алые и лоснящиеся на смуглой коже, – будет ждать, когда Альма доберется до границы и сможет перейти её. Чтобы отпугнуть зверьков, наверняка прячущихся в кустах, она сильно топает ногой, и в самом деле показывается крыса, пара синих перепелок и семья луговых собачек, забравшихся было на ночь в нору.

До дерева всего шаг, и в это время Глори слышит трескучее шуршание детской погремушки, маракаса с сухими бобами – устрашающее *чика-чика-чика* – это кольца ороговелой кожи стучат одно об другое. Ползёт старый гремучник, оставляя за собой в песке мелкий след. Змея толстая и длинная, шесть футов сильных мускулов и кожи в коричневых ромбах, с черными и белыми полосами на

хвосте. Голова у неё плоская, как старинная деревянная ложка, а острые, загнутые ядовитые зубы – длиной и толщиной в палец Глори. Она уже почуяла девушку – останавливается посреди дороги и сворачивается в кольца. Змея собирает последние силы, чтобы поднять голову и выбросить язык в сторону голых ног Глори. Она пытается определить, насколько опасно это животное для неё и для десяти юных змеек, которыми она вот-вот разрешится.

Старая змея совсем слаба, и в её зубах – даже если хватит сил укусить, – уже нет яда, но Глори этого не знает. Не знает и того, что жить змее осталось всего несколько часов – столько лишь, чтобы дожидаться, когда из утробы вылезет последний змеёныш и вытянется на земле, отсвечивая золотым и черным под полной луной.

Глори стоит, сжав нож, который мог бы остановить человека, но здесь совершенно бесполезен. Она надеялась сохранить в себе гнев, чтобы отстоять свой клочок земли и драться за него, если надо, но сейчас не время, да и злости нет. Тут солнце вот-вот сядет, а здоровенная змея не дает проходу. Она смотрит на змею, змея смотрит на неё, стреляя языком, упрямо тряся погремушками. Наконец змея опускает голову, разворачивает свое длинное тело и медленно уползает в кусты. Глори считает до ста, прислушиваясь, не возникнет ли там что еще, и когда сердце перестает стучать в груди, она отламывает сук от мескита и возвращается на шоссе.

Глори и Виктор не успеют в Дель-Рио до заката. Когда она возвращается к дороге, дядя уже снял топливный фильтр и промыл растворителем. Дожидаясь, когда высохнет фильтр, они сидят на капоте, смотрят на заходящее солнце и слушают, как распеваются перед ночью койоты. Восходит полная сентябрьская луна, красивая, кроваво-красная на потемневшем небе. Тогда, в бассейне, Тина сказала Глори: попробуй плыть с ушами в воде. Послушай подольше, сказала она, и звуки с шоссе сольются. Грузовик с трубами или цистерной, прицеп, выезжающий на шоссе, качалки медленный подъём – все зазвучат одинаково. Можешь представить себе любую машину, сказала Тина; её крупные белые руки плыли рядом с телом, как два бую. А посмотри на небо. Это чудо, ей-богу чудо.

После Комстока они повернули на юг, на шоссе 277 и поехали вдоль границы, через Джуно и Дель-Рио. У Игл-Пасса дорога на Эль-Индио становится гравийной, а потом и вовсе грунтовой и идет всё

ближе к границе. Виктор ведет машину спокойно, следя в зеркале, не появится ли сзади полицейская мигалка, и поглядывает на сидящую рядом племянницу. Каково ей – девочке, никогда не бывавшей дальше пятидесяти миль от города, где родилась?

Как ты? спрашивает он.

Хорошо. Глори закатывает глаза, чмокает и выдувает из резинки пузырь размером с её лицо. Но в другой раз иди сам добывать палку.

Он улыбается, следя за дорогой, поглядывая на узкие обочины, – не выскочит ли под колеса броненосец, или койот, или вдруг рысь. На горизонте появляется свет фар, чем ближе он, тем шире и ярче. Когда полицейский проезжает мимо, Виктор смотрит в зеркало заднего вида: не остановилась ли там машина, не начала ли разворачиваться. Виктор не вернется в этот красивый край – Техас. Для него он больная конечность, её надо отсечь скорее, пока гниль не дошла до сердца, – как-то он забыл об этом на столько лет, с тех пор, как вернулся из Вьетнама, нашел работу и стал присматривать за Альмой и Глори. А теперь он размышляет о том, что возвращение из Юго-Восточной Азии должно было бы подстегнуть память. Он вышел из междугородного автобуса в центре Одессы, ожидая, что встретит сестра, – а столкнулся нос к носу со своим бывшим начальником на бензозаправке.

Он был в рабочем комбинезоне с фуражкой «Шелл», и у Виктора возникло ощущение, что расстались только вчера и не было этих лет во Вьетнаме. Старина Керби Ли не изменился ни капли. Он по-медвежьи облапил Виктора, его льдисто-голубые глаза светились радостью. Рамирес, черт! Везучая тортилья! Похоже, еще доживешь, чтобы выпить кружку «Текате»^[35] или троечку. Виктор вдыхал запах бензина, пропитавший серый комбинезон, и обнимал бывшего начальника так, что тот даже стал ежиться. А сам повторял про себя: это он в шутку, это он в шутку. Я вернулся домой живым.

Виктор не сбавляет скорость, в горле у него ком, большой, требует молчания. Он вспоминает лето, когда собирал виноград в северной Калифорнии. К вечеру пальцы кровоточили, рабочий день длился долго, но он полюбил этот край и женщину, которая повезла его однажды воскресным днем в город, и они ели шоколад на пирсе и в сумерках гуляли по парку. Будет с грустью думать о том, что случай теперь не сведёт их снова. Что не побывает больше в тех кинотеатрах, не поест мороженое «Колокольчик» и жареную лопатку. Что не будет

теперь регулярной зарплаты, не будет солнца, заходящего над песчаными холмами за Монохансом, и больше не услышит он странных некрасивых журавлиных криков, сидя на берегу мелкой, скудной реки Пекос, с холодным пивом в одной руке и определителем птиц в другой. В Мексике птицы будут более или менее те же, но река – другой. По этой он будет скучать.

Расскажи про какой-нибудь случай на войне. У Глори встревоженный вид, и Виктор на миг пугается, что говорил перед этим вслух. Может, чуть позже, обещает он.

Мы еще в Техасе? – спрашивает она, когда они проезжают через Эль-Индио, поселок без светофора, без заправочной станции, без единой вывески на английском. Виктор кивает. Да, мы в Техасе.

Расскажи что-нибудь про Техас, говорит она. Или про Мексику.

Виктор мог бы рассказать племяннице десяток историй! Да больше! Но сегодня на ум приходят только печальные. Предков вешали на столбах посреди Браунсвилла, жены и дети бежали в Матаморос, чтобы всю жизнь потом смотреть за реку – на землю, где жили шесть поколений их предков. Техасские рейнджеры стреляли мексиканским фермерам в спину, когда те убирали сахарный тростник, привязывали к мескитным деревьям и поджигали, совали им в горло разбитые пивные бутылки.

Ради забавы, мог бы сказать ей Виктор. На спор. Спьяну. Или потому, что ненавидели мексиканцев, или верили слухам, что мексиканцы объединились с освобожденными рабами и с остатками команчей и нацелились на земли белых поселенцев, на их жен и дочерей. И, может быть, иногда поступали так потому, что знали за собой вину, потому что уже далеко зашли по пути несправедливости и решали идти до конца. Но по большей части поступали так потому, что могли. Рио-Браво^[36], называл её папа Виктора, – яростная река, река злодеев и бандитов – и папа имел в виду не себя и не соплеменников. Он имел в виду тех пропащих, которые линчевали сотни мужчин и несколько женщин за десять лет с 1910-го. Техасских рейнджеров, которые летом 1956 года погрузили двух дядьев Виктора и еще двадцать мужчин в кузов, вывезли в горы Сьерра-Мадре и оставили с одним бидоном воды и коротким напутствием: «Деритесь за неё, ребята». Виктор мог бы сказать племяннице: загляни в любой овраг не дальше пятидесяти миль от границы, в любую промоину и углубление,

под любое тощее дерево, где можно укрыться от солнца, – и ты найдешь нас там. Можно дом построить из скелетов наших предков, собор из наших черепов и костей.

Но рассказывает он ей о деревне матери, о том, как море кишит тилапиями, и рыбы сами запрыгивают в лодку, надеясь, что там просторнее.

На Глори это не производит впечатления. Она надувает громадный шар из жвачки и, когда он лопается, вынуждена счищать резинку с лица. Хорошую Расскажи историю, говорит она.

С обочины выходит опоссум и стоит на дороге. Виктор притормаживает, берет чуть в сторону и рад, что под колесом не стукнуло. Ладно, говорит он, вот какую нам, ребятишкам, рассказывала abuela^[37]. Когда приедем в Пуэрто-Анхель, сходим на её могилу. Но предупреждает: история грустная.

Она техасская?

Да.

Тогда Расскажи.

Под конец войны на Красной реке, когда команчи и кайова уже потерпели поражение, но никто не хотел этого признать, группе воинов попался по дороге дом скотовода. Они взломали дверь; оказалось, что хозяина и хозяйки дома нет, только младенец спал в корзине возле кровати. Они подумали было украсть ребенка, но дело шло к вечеру, они устали. Женщину и детей они бы увезли, но с младенцем только лишняя морока. Они вынесли корзину на двор и напиговали младенца стрелами. Малютка стал похож на дикобраза... Виктор умолкает и смотрит на племянницу – на лице у неё ужас и восторг. Вот как описывала это abuela – это её слова.

Ладно, возвращается фермер с женой – они ходили на речку, стирать постельное бельё, – и видят ребёнка. Бедняжка так утыкана стрелами, что её хоронят прямо с корзиной. Об этом стало известно в полку техасских рейнджеров. Половина полка – бывшие конфедераты, а другая – бывшие синие, но на сто процентов согласны, что надо свести счеты. Они поехали на север штата и встретили женщину арапахо с младенцем. Решили, что изрешетят ребёнка пулями и будут квиты. Но кое-кому из них это казалось неправильным. Начинить ребёнка пулями – варварство, считали они, а мы не варвары. Поэтому решили, что выстрелят только раз, в лоб ребенку. Но не учли, какой

мощности у них патроны и как мал этот ребёнок. И были поражены, когда голова младенца лопнула, как дыня. Виктор снова делает паузу – это тоже слова твоей бабушки.

Теперь они были квиты, но вся история оказалась страшнее и сложнее, чем предполагалось, и никто особенно не удивился, что оба младенца стали являться этим людям. В какой бы город ни въезжали они, где бы ни становились лагерем – младенцы тут как тут. Днём мужчины убивали друг друга, уносили раненых с поля, а где-то там, с краю, уже эти младенцы, наблюдают за ними. Наступает ночь – младенцы поднимают жуткий, душераздирающий вой – и так до утра, до восхода солнца.

И матери, должно быть, умерли вскоре после детей, – и вдруг появляются около костра, и вид у них совсем не такой мирный, как у их младенцев. Они визжат и воют, шуршат юбками, вытаскивают солдат из палаток и за ноги тащат в костёр. Отвязывают лошадей и гонят на равнину, а мужчины остаются ни с чем. Некоторые кончали самоубийством, но большинство бродили, не зная, куда податься, и умирали от жажды или задохнулись во время пыльных бурь, устроенных матерями. Когда эти женщины бросали молнии, пожары в прерии распространялись так быстро, что люди не могли от них убежать. Когда на их головы обрушивался дождь и град, людей накрывал внезапный паводок, они тонули или замерзали насмерть. За пять лет все мужчины и с той, и с другой стороны погибли, и матери, сведя с ними счета, забрали младенцев и вернулись в могилы.

Тут твоя бабушка наклонялась к нам, грозила пальцем твоей матери и мне и говорила: No matarás^[38]. Давай-ка, Глори, берись за испанские книжки, если собираешься жить в Мексике. Виктор подался к ветровому стеклу и всматривается в гроздь огоньков впереди. Ларедо, говорит он. Остановимся там перекусить?

Глори не отвечает. Что за женщина станет рассказывать маленьким детям такие истории? – удивляется она. Хотелось бы с такой познакомиться.

Огни Ларедо растут, становятся ярче. Виктор ведет машину спокойно, и Глори роется в рюкзаке, достаёт плеер и кассету. Лидия Мендоза, Жаворонок границы, восклицает Виктор, и она с удивлением слышит дрожь в его голосе. *Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza...*^[39]

Глори опускает стекло и кусает губу. Запись шероховатая, слова трудно разобрать, но некоторые она понимает: *nada mas* и *esperanza*. В каждом классе начальной школы Гонзалес была, по крайней мере, одна Эсперанса, – а сейчас Глори высунула руку из окна, и ветер обдувает её растопыренные пальцы. Она рада, что жива, но много дала бы за то, чтобы являться Стрикленду до конца его дней. Надежда светит – так, может быть, пела Лидия, но Глори в этом не уверена и дядю не хочет спросить; его глаза поблескивают в темноте, да и неважно это в такую звездную ночь. Наверное, голоса женщины и легкого шуршания пальцев по струнам гитары достаточно самих по себе.

В Ларедо они въезжают за полночь: перекусить на стоянке грузовиков и вздремнуть. Но только на часик, говорит Виктор. Он хочет успеть к переправе до восхода солнца, а им ехать еще почти двести миль.

После города они едут так близко к границе, что непонятно, в Техасе они или в Мексике. Небо черное, как железняк, и названия на дорожных знаках ничего не проясняют: Сан-Игнасио, Сапата, Сюдад-Мигель-Алеман – каждым отмечено место у дороги, названное по имени высохшей речки, или местного героя войны, или фермера, умершего молодым.

Мы еще в Техасе? каждые пять минут спрашивает Глори.

Да, отвечает он.

А сейчас?

Кто его знает. Техас, Мексика – земля одна и та же.

Она рассказывает ему про змею – такая большая и двигалась, как река. Не говорит, что так была испугана только еще раз в жизни. В ней было футов шесть длины, говорит она, и толщиной с мою ногу.

Серьезно? говорит Виктор. Ты станешь легендой. Глори Рамирес – девушка, которая переглядела пятнадцатифутового гремучника.

В ней было не пятнадцать футов, говорит она. Таких больших змей не бывает.

Какая разница? Так вот и рождаются небылицы, *mi vida*^[40].

Когда они сворачивают с шоссе и едут мимо деревянных домишек спящего поселка Лос-Эбанос, звезд в небе уже мало. Возле парома перед веселой хибаркой, украшенной рекламами пива и елочной гирляндой, сидят на складных стульях пятеро мужчин. Еще один прислонился к двухсотлетнему черному дереву; вишенкой в темноте

светится огонек его сигареты. За дерево захлестнут толстый стальной трос. Он тянется через Рио-Браво и привязан к такому же дереву на том берегу. Там на пароме уже стоят человек десять мужчин и женщин. За границей здесь никто не следит уже бог знает сколько лет. В засушливые годы река местами превращается в ручеек, и коровы ходят за реку и обратно в поисках сочной травы. Мужчины и женщины работают на одном берегу, а живут на другом, и ребятам лет до десяти бывает непонятно, какой берег – их.

Сегодня большинство этих мужчин и женщин переправятся обратно, домой, к привычным голосам: воробьев, скворцов, коров, койотов, оцелотов, рыси. Услышат музыку над водой – техано и кантри, ранчера и нортеньо, – и из окна гостиной одной старухи, которая каждый вечер перед закатом ставит пластинку, наливает себе виски и садится на крыльце смотреть на закат и слушать джаз – Билли Холидей, Джона Колтрейна и несчастного парня из Оклахомы, чья труба умела *петь*^[41].

Когда Виктор и Глори въезжают на паром в Лос-Эбаносе, никто им вопросов не задает. Документы не спрашивают. Ящики с продуктами стоят на середине деревянной палубы, рядом несколько стальных труб и штабель брёвен. На брёвнах стоит тощая желтая собачка и смотрит на тот берег. Глори видит теперь, что он совсем близко. Даже после недавних дождей река не шире четырехполосного шоссе, расстояние до другого берега не намного больше, чем от её двери в мотеле «Джеронимо» до бассейна. Человек с того берега кричит, что там готовы, и мужчины на пароме начинают тянуть его, перехватывая трос. Переправа недолгая – Глори дольше заплетает матери косы перед её уходом на вечернюю смену; Алиса дольше роется утром в сумке, чтобы дать дочери горсть монет. За это время успеешь порыться в пачке счетов, чтобы найти письмо из дома, успеешь пройти по коридору и проверить, спят ли дети, залить свечи в машине, купленной на военное жалованье. Успеешь переглядеть старую змею в пустыне, подумать, что будет дальше. Когда подходят к другому берегу и один из мужчин укладывает две толстые доски, чтобы съехала машина, Виктор и Глори смотрят только вперед. На Техас ни он, ни она не оглядываются.

Они едут на юг с открытыми окнами, и солнце светит им в лицо. Глори сидит, закинув ногу на ногу. В дельте Рио-Браво, называемой

еще Лагуной-Мадре, они повернут на запад и поедут в глубь страны, где родилась её мать. Если не делать долгих остановок, они доберутся до родного города Альмы ко Дню святого Михаила. Представь себе, говорит Виктор, мы с тобой и с мамой стоим у воды, ногами в песке, на палубе каждой рыбацкой лодки горят фонари, и между ними плавают сотни свечей. Можешь представить картину, чибис?

Нет, говорит она. Большим пальцем она потирает ладонь другой руки, потом наклоняется, трогает ступни и щиколотки. Виктор говорит, что это боевые шрамы. Ими надо гордиться. Это значит, что ты доблестно сражалась, что ты вернулась домой с войны. Ты это понимаешь?

Пока нет.

Постарайся.

Она скашивает глаза, смотрит в окно, но пытается представить себе, как израненные ноги несут её туда, куда ей нужно идти. Прочь от пикапа, стоящего на нефтяном участке. Через пустыню и по дороге, ведущей к чьему-то дому. Вниз по металлическим ступенькам, чтобы внизу опереться ладонью о шероховатый бетон и опустить свое тело в воду, где она оттолкнулась от стенки и поняла, что, если медленно вращать руками, доплывёшь до чего-то твёрдого.

Глори смотрит на два маленьких шрама на середине ладоней – тело делает свою работу. За год они уплощатся и сделаются мягче. Через два года исчезнут. Но шрамы на щиколотках и ступнях станут длиннее и грубее – темно-красные шнурки, привязывающие её к тому утру. Девушку, которая поднялась и снова упала, схватилась за колючую проволоку и устояла на ногах. И шла босиком по пустыне, и спасла свою жизнь. Она не знает, как еще рассказать эту историю.

Примечания

1

«Фолджерс» – марка кофе.

Эмили Дикинсон (1830–1886). № 415.

Эмили Дикинсон. № 372.

4

«7-Eleven» – крупная сеть магазинов.

«Бенсон и Хеджес» – марка сигарет.

Уайт Э.Б. (1899–1985). Паутина Шарлотты.

Hy (*ucn.*).

Skid Row Slasher – Воэн Оррин Гринвуд, серийный убийца.

IRA – Ирландская республиканская армия.

Реклама косметической фирмы.

Разновидность перца чили.

Ах, милая, не божись (*исп.*).

Ранчера – мексиканская традиционная музыка.

Урод, ублюдок и т. п. (*исп.*).

Урод, ублюдок и т. п. (*исп.*)

А мне какая разница? (*исп.*)

«Эйвон» — компания по производству косметики. «Таппервэр» производит косметику и кухонные принадлежности.

S&H – Sperry and Hutchinson – одна из фирм, выпускавших марки для скидок на продукты, процветавшая в 1960-е годы.

Первое Послание к Коринфянам. «Ибо кто говорит на *незнакомом* языке, тот говорит не людям, а Богу...»

Додж-Сити — город в Канзасе, место действия многих вестернов. Отсюда реплика: «Убирайся к чертям из Доджа».

Песня Роя Акуффа (1903–1992).

Ред Грэндж (1903–1991), знаменитый футболист. В фильме «Скачущий призрак» (1931) сыграл себя.

Около 3 600 000 л.

Строка из стихотворения Энн Секстон.

Энн Секстон (1928–1974).

Так назывались солдаты специальных отрядов для борьбы с партизанами в подземельях Вьетнама.

Хитрый Дик – прозвище президента Ричарда Никсона.

«Поэма о старом моряке» С.Т. Кольриджа.

«...Корабль наш спит. Как в нарисованной воде рисованный стоит». Из поэмы о старом моряке.

Орал Робертс (1918–2009) – проповедник-евангелист, выступал с проповедями по телевидению.

Дочка (*исп.*).

Стандартная реплика из вестернов стала поговоркой (имеется в виду Додж-Сити, Канзас).

Стодолларовыми.

Зад, ягодицы (*исп.*).

Марка пива.

Официальное название – Рио-Гранде. В Мексике она называется Рио-Браво-дель-Норте.

Бабушка (*исп.*).

Не убий (*исп.*).

Только один раз в моем саду заблестела надежда (*исп.*).

Моя дорогая (*исп.*).

Чет Бейкер (1929–1988).